

том 1

МОСКВА — ПЕРУСАЛИМ

22 — 3

АВГУСТ 1978

**ДВАДЦАТЬ ДВА**  
**(МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ)**

Общественно-политический и литературный журнал  
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

№ 3 ("Гимел")

август 1978

СОДЕРЖАНИЕ

**ОТ РЕДАКЦИИ** . . . . . 2

**ПРОЗА—ПОЭЗИЯ**

ВЛАДИМИР ГУСАРОВ. Письмо товарищу . . . . . 3

ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ. Соберитесь и идите  
(повесть) . . . . . 13

МИХАИЛ ГЕНДЕЛЕВ. Стихи . . . . . 75

**ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА**

ААРОН АМИР. Меч и скрипка (окончание) . . . . . 82

ВЛАДИМИР МАРКМАН. На краю географии  
(повесть) . . . . . 104

**ИЗРАИЛЬ СЕГОДНЯ**

ДАН СЭГРЕ. Сионизм до и после национального  
возрождения . . . . . 135

**РОССИЯ И ЕВРЕЙСТВО**

Советский антисемитизм — причины и прогнозы . . . . . 143

**НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ**

ЛЕОНИД ПЛЮЩ. Украинцы — русские — евреи. . . . . 183

**СУДЬБЫ ИДЕЙ**

НАФТАЛИ ПРАТ. Еще раз о "русской идее"  
(ответ А. Янову) . . . . . 197

**ПРОШЛОЕ—НАСТОЯЩЕМУ**

АРТУР КЕСТЛЕР. Семь смертных грехов . . . . . 210

**ВЧЕРАШНИЕ СОВРЕМЕННОИКИ**

НАТАЛИЯ РУБИНШТЕЙН. Урок Марголина . . . . . 215

**ИСКУССТВО И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ**

ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН. Существует ли израильское  
национальное искусство? . . . . . 239

## СРЕДИ КНИГ

(Рецензии на книги М. Хейфеца, А. Зиновьева, сборник "Память") . . . . . 242

---

### От редакции

*Замысел можно объяснять, но нелепо оправдывать. Достаточно сделать лишь несколько замечаний к третьему номеру журнала перед тем, как отдать его в руки читателей.*

*Внимательный читатель несомненно заметит многочисленные переключки, сквозные нити одних идей и противопоставление других, внутренние споры и внутреннее единство, короче – все то, что превращает журнал из случайного собрания случайно пришедших материалов в идейно-художественное целое и позволяет сказать собой, как целым, нечто большее, чем арифметической суммой своих частей.*

*Авторы этого номера говорят о России и Израиле, о демократах и сионистах, об уголовниках и героях, о людях и жизни зачастую резко, беспощадно, иногда издевательски и саркастично. Печаль, ирония, брезгливость – какие бы русские или израильские впечатления не породили их – выражают, в сущности, одну и ту же нравственную тревогу. Она диктует не только политическую прямоту, но и непримиримость к любого рода "табу". Пренебрежение идеологическими запретами – первейшее условие духовной и художественной свободы, которая есть ценность сама в себе.*

*Клубок проблем, в которые мы вплетены волей истории и случайностью рождения, имеет одним полюсом трагическую действительность России, а другим – сложную реальность Израиля. Значение того, что происходит на этих двух полюсах и между ними, для всего мира – объяснять не нужно. Задача – не в объяснении, а в попытке понимания, требующей интеллектуальной отваги и моральной стойкости.*

*О чем же говорит "журнал, как целое"? Свобода и правда – единственные ориентиры в водовороте истории, политике, философии, жизни. Не идеология, не "табу", не партийные "соображения", не практические "интересы" – лишь нравственный компас способен указать путь человеку и человечеству. Нельзя прагматически вычислить, где нас ждет успех, но верность нравственному принципу, в конечном счете, оправдывается Историей. Может быть, это означает, что Сюжет ее действительно существует и что в основу его положено все-таки Добро?*

---

ВЛАДИМИР ГУСАРОВ

ПИСЬМО ТОВАРИЩУ  
(В. ГЕРШУНИ)

13/У-74 г.

Вот так теперь пишут — без эпиграфа, без лишних экземпляров на машинке, все наши “короли”, “принцы” и “принцессы” Самиздата гуляют по Лондону и Иерусалиму или вешают шторы в городе Калининне по месту ссылки, а машинки наши без всякой пломбы навалены в помещениях КГБ и возвращать их не собираются...

Комично, нелепо писать письмо, которое сам и вручу, но просто посидеть вдвоем несколько часов нет возможности, а как будет в “Белых столбах”\* — неизвестно. Когда 17 октября 69 года за тобой захлопнулась дверь тюрьмы, я еще не был знаком с Петей Якиром и не решался знакомиться. Спустя неделю-другую, когда стали таскать сравнительно мало знавших тебя, Петя сам меня вызвал.

- Что вы будете говорить?
- Скажу, что не знаком с таковым...
- Это лучше, но выдержите ли?

Не уверен, что я сумел бы выдержать подобную роль, но ходили слухи, что ты отказываешься подтвердить следователю, что являешься Гершуни Владимиром Львовичем. Разговор этот имел место 3 ноября, не поручусь за его абсолютную точность. Итак, первая встреча с Якиром состоялась не по моей инициативе; сам я, как и прежде, “не рвался ни в бой, ни в поиск” и не мечтал об исторических свершениях.

Меня не вызвали ни тогда, ни позже — “не юридическое лицо” — меня с 66 года ежегодно “лечили”. Обычно “лечение” совпадало с важной политической датой или мероприятием, иногда проходило “легко”, “по соглашению”, иногда односторонне — тяжело, как, например, в конце 73 года. Но тогда в это “мероприятие” втянулась моя, надеюсь, последняя жена, установила какие-

---

\* Психиатрическая лечебница под Москвой.

то контакты, так что с тех пор и до нынешнего дня я не страдал больше никакими недугами, если не считать инфаркта.

С ноября 69 года я стал бывать у Якира регулярно, а затем и пропадать по три дня и ночи. Это был поздний, смутный этап тогдашнего движения, сопровождавшийся посадками и увольнениями (потерял работу и я), мне предстояло заменить при Якире и Красина, и Габая, и я заменил их обоих вместе взятых по части выпивки, благо желудок у меня был вырезан, начиная все с начала. В этой фантастической обстановке, если и был кто несерьезнее меня, так это Титов с Никольским, да еще Строева, регулярно дежурившая у суда и визитировавшая от салона к салону, и тоже часто ночевавшая не дома и не с мужем. Никольский с Титовым причастны были лишь к рюмкам и стаканам, как, впрочем, и многие другие. Однако именно по настоянию Якира я закончил вчерне свои мемуары\* и отдал для ознакомления. Теперь все четыре экземпляра прочно осели в КГБ, но, кажется, кто-то все-таки снял копии, на таможне их не раз отбирали. Некоторый интерес вызвал мой очерк "В защиту Фаддея Булгарина", начатый в день исключения Исаича (Солженицына — прим. ред.) из Союза писателей. Первое письмо в Союз оказалось утерянным, единственную копию я опустил в почтовый ящик на Автозаводской (квартира П. Якира — прим. ред.), внизу, наверх даже не поднялся (ранний этап!), а в их почтовом ящике, верно, кто-то дневал и ночевал, и наш последний "утес-великан" ежевечерне был покрыт туманом... Мой очерк "И примкнувший к ним Шепилов" также успешно ходил по рукам, говорят, даже был опубликован в "Русском слове", которое до нас редко доходило. Все эти газеты, книги и журналы в СССР читают те, у кого они лишь отнимают время и отрывают от хоккея, футбола и прочих приятных занятий. Через меня состоялось первое знакомство читателя с националистическим опусом "Слово нации", я написал первый ответ, затем моему примеру последовали более серьезные и солидные мужи. Под занавес, когда готовился последний удар по "Хронике" и по Якиру, которого несправедливо, как и Красина, называют ее редакторами, — под занавес я чуть не подвел и себя к катастрофе. Помня, какую полемику вызвал манифест "Слово нации" (автор которого известен), я написал "Программу террористической группы" и за день-два до генерального зимнего шмона "подбросил"

---

\* Частично опубликованы (как и "В защиту Фаддея Булгарина") в журнале "Время и мы".

ее, написанную собственной рукой. При тогдашних пьянках мне никто не мог толком сказать — унесены ли были материалы “Хроники” до обыска, разбирал ли их кто, догадался ли уничтожить написанное от руки...

Когда месяц спустя после ареста Якира меня вызвали повесткой в отделение милиции, впечатление было такое, что меня должны тоже взять, какой-то капитан даже громко удивился, что я ухожу своими ногами, а у подъезда стояло целое стадо автомобилей. Но то ли потому, что я явился пьяным, то ли потому, что заявил: устал от всего и вполне готов уйти в личную жизнь — жениться на женщине, совершенно равнодушной к политике и общественным проблемам, — так или иначе, но меня оставили, и действительно на проводы и дни рождения я почти перестал ходить. Какие-то контакты, видимо, не отказалась иметь и выше-названная. Вероятно, и Якир — быстро и подробно потекший — со своей стороны, рекомендовал не относиться ко мне слишком серьезно.

В 71 году, летом (в мое отсутствие) у меня был шмон, причем меня представляла бывшая моя жена, разведшаяся со мной в 60-м, а съехавшая с квартиры в 54-м. Год спустя я попал в серийный шмон, проходивший в 10-15 квартирах. Забрали у меня один “Посев”, один журнал “Грани”, сборник стихов Галича (книжку), альбом с фотографиями и все, написанное от руки и на машинке. Курьезно, что изъяли брошюру 1905 года “Кто такие враги народа” (издательство “Искра”, Женева) — большевистское подпольное чтиво, которое принес мне Толя. С зарубежными изданиями меня наказал Бог — я тихо уносил их с Автозаводской, где подобной литературы была тьма-тьмущая, и так же тихо возвращал, подкладывая незаметно, а после двух генеральных шмонов решил, что возвращать необязательно, ибо читальный зал им. Якира свое существование прекратил, все равно забрали бы и это, так вот за невозврат забрали уже у меня. Обыски были длительные, но бесплодные, слона можно было бы спрятать, достаточно сказать, что твой портфель с самиздатом и Габаевской статьей о Достоевском не был тронут, и его после нашла жена при не очень-то генеральной уборке.

В конце прошлого года, с осени, я стал чувствовать какие-то тупые боли в груди, особенно покурив но предполагал, что это легкие не выдерживают табака, иногда эти боли случались и в свободный день (я работал грузчиком в овощном магазине), но я

радовался, что 73 год обойдется без "лечений", без больниц, правда, суевенная Валентина Михайловна как-то обронула:

— Не кажи гоп...

20 декабря, спустя два месяца после трагического полета Ильи Габая\*, я еле уполз с работы, а 22-го был помещен в больницу с инфарктом. Так закончилась моя "общественно-политическая и литературно-публицистическая деятельность" (если не считать тех пустяков, с которыми я тебя познакомил в прошлый раз и за которые вряд ли привлекут, учитывая наличие более серьезных идеологических и экономических проблем).

Жил и весело и трудно, бывало, и голодал, ел похлебку деда Сергея, от которой воняло портянками, пытался подработать в Воронежской области со студенческим строительным отрядом, но упал на лесах с носилками, полными цементного раствора, после чего был отчислен из отряда общим голосованием. Протестуя против некоммунистического отношения к человеку, вслед за мной ушло еще несколько, несомненно, более полезных работников. В конце концов, мне заплатили 130 руб., а те, что достроили коровник, получили по 400.

Вишневская, ныне студентка Иерусалимского университета, утверждала касательно меня, "будто голым скакал", однако на самом деле я на ее проводах не поднимался с дивана, того самого, на котором умерла Сарра Лазаревна. (Кстати, я был за день до ее смерти, она смотрела сквозь всех и жалобно звала: "Папа! Папа!" (На похоронах я не был — отъезжал в Воронеж — и даже не знал, что уже все кончилось; позвонил с вокзала З. М-не\*; она сама еще не знала, видно, и раньше отношения были несколько натянутые. А мне З. М. не раз говорила;

— Вы с Петей доплюхаетесь — поместят вас в сумасшедший дом, причем без всякой натяжки...

Уже года два не показывается Ершов, парень трусит, он и раньше при визитах поглядывал в окно и всегда просил не провожать их с Геной Герасимовым — ради конспирации... Есть и другие, старательно избегающие контактов. (Возможно, и обо мне есть такое мнение — "лег на дно"). Но нет — к Зине Михайловне не раз с авоськой бегал, и Алика гулять возил, когда она в больнице лежа-

\* И. Габай — поэт, участник демократического движения; покончил с собой в 1973 г., выкинувшись из окна.

\*\* З. М. Григоренко — жена генерала П. Г. Григоренко — участника демократического движения (ныне — на Западе).

ла, и в больницу к Алику ходил. Если к Петру Григорьевичу ни разу не ездил, так это З. М. регулирует сама, а я помалкиваю.

Несколько раз ездил на Автозавод, даже в Рязань однажды, где он (Якир — прим. ред.) отбывал ссылку в гостинице “Первомайская”, в номере “люкс”. Пили водку, закусывали зеленым горошком. Он всех корит и клянет: “Почему всем так хотелось, чтобы я получил большой срок? Все арестованные столько наговорили, что мне оставалось лишь подтвердить”. Лишенный привычного допинга, он боялся всего, боялся за Ирку, за Людку, боялся расстрела... Когда-то говаривал: “С этим? Я с ним буду разговаривать только на дыбе!” (До дыбы дело не дошло).

Ожидали, что процесс Суперфина\* будет повторением процесса Якира, и последний жаждал высылки Габриэля Гавриловича в Калугу, но Гарика ожидает 5 лет строго режима.

Автозавод резко менял стиль и ориентацию, а я все же бывал там, у меня осталось много радостного, не только смутного... Я научился более спокойно относиться ко всему, что нас окружает и что раньше так волновало — дай только Бог не посыпать себя грязью и пеплом, как Петя, пусть себе смакуют мои сексуальные сентенции и впечатления, пусть посмеиваются — с потерей шансов дать бой нелепому и унижительному режиму я как-нибудь смирюсь.

Если случится чудо (я в него никогда не верил) и у нас появится свой Дубчек, начнутся разные реформы, “всякие хренации”, я на них не клюну, как клюнул на XX и XXI съезды (веришь, я тогда даже пьяный перестал выступать — “не в один день меняется режим”), даже если новые реформы будут более необратимы, мне неприятно будет глядеть на кающихся и разоблачающих по команде. Сейчас они точно знают, что отсиживаются в кустах и сортирах. Если здесь не тронут, то на Западе тоже делать совершенно нечего: там своя компания, здесь своя... А лет мне уже не 20 и не 30, а через год — 50. Тебе там тоже делать нечего, но, если это единственная альтернатива да молчать ты не можешь, уйти в быт — тоже, то нужно смириться. Воздухом свободы хорошо дышать месяц, год, а на всю жизнь обречь себя на положение папуаса...

Сейчас самые крупные возрастные группы — это пенсионеры, которые не хотят никаких покушений на их гарантированный отдых, и молодежь, желающая (в массе) свободы стриптиза (и

---

\* Г. Г. Суперфин — филолог и историк, осужденный за передачу на Запад книги Э. Кузнецова.



это еще лучшее, чего она хочет). Всем социальным группам скучно, нудно, противно, но верхи держатся за комфорт, середина — за детали комфорта, низы — за поллитровку, и если бы сократить военный бюджет и дать верхам две дачи (здесь и на море), середине — по торшеру в каждую комнату, а низам — три поллитровки, то тем, кто захочет конституции, хором крикнут:

— Беги за визой, она давно подписана!

Ты, верно, не удивился, увидев меня на похоронах Костерина\*, ведь там были и такие, кто и до и после лишь с ужасом наблюдали за единоборством горстки “самосожженцев” со стоголовым орлом, но ведь это чистая случайность, что после годового перерыва я зашел в Чапаевский именно в день смерти Костерина, я уж не говорю о том, что из тысяч писем Исаич ответил на одно, и надо было мне оказаться этим одним. Я не жалею ни о чем, но ясно понимаю, что для меня когда-то и Репников Слава, открыто встречавшийся с иностранцами в хрущевскую эпоху, казался героем — непонятым, ненужным, но героем. И не очень удивился, когда он получил за это 10 лет. А уж Айхенвальд, Коржавин, Максимов, Вольпин, которых я знал немного, Гинзбург, которого не знал, — это уже заоблачные рыцари, но ведь они, исключая Галича и Гинзбурга, предпочли благоразумие в разных видах. При другом стечении обстоятельств более естественной и подходящей публикой для меня могли бы стать Рой Медведев, Писарев, Драбкина, даже пенсионер Анастас Микоян, в новом положении сердящийся, что у нас не хватает некоторых свобод.

А если бы я устроил дебош в ресторане не в 52-м, а хотя бы год спустя? Да я бы двумя неделями отделался, не прошел бы всех “университетов” и был бы сейчас скромным заслуженным артистом РСФСР или на худой конец, народным Киргизской ССР, покупал бы книжки о новаторстве Мейерхольда, не признавая живоگو Любимова.

Хорошо, что Рой Александрович (Медведев — прим. ред.) анализирует с партийных позиций сталинскую эру (ленинскую-то, зачем ее трогать?), хорошо, что призывает обращаться к левым кругам (я ведь дозревал в этом плане, собирал крупницы биографии Троцкого), но теперь я уже не могу вслед за ним “очень сомневаться”, что правящие круги Запада “озабочены” проблема-

---

\* Костерин — видный коммунист, репрессированный в 30-е годы; после освобождения и до смерти — деятель демократического и крымско-татарского движения.

ми политических и гражданских свобод в СССР или Китае, ибо они-де защищают интересы правящих классов своих стран. Да! Увы и ах! В интересах правящих классов так строить бюджет, чтобы военное бремя уменьшалось, а потому и хочется им, этим правящим классам, чтобы в СССР и в Китае появились свои Даниэлы Эльсберги, способные передать бумаги Пентагона в печать. Лишь тоталитарный режим способен 22 июня или 21 августа, распечатав пакет, начать операцию — не в три и не в пять, а именно в четыре утра, а “общественное мнение” можно составить задним числом! Вот почему никсоны и помпиду вполне серьезно озабочены политическими и гражданскими правами в СССР (и в Китае), Рой Александрович!

Если бы не ряд случайностей в моей жизни, то я бы тоже легко находил объяснения тому, что “реваншистская” ФРГ вдруг становится экономическим партнером моей родины (дело в Брандте!), тому, что расистский режим в Уганде “внутреннее дело” Амина (еще очень отсталый народ) и тому, что в одних случаях говорим “хунта”, а в других — “временное правительство” (прогрессивные силы привлекают). Казнят коммунистов в Чили — позор! А в Ираке — так ведь необходимо единство! Наверно, были бы и тогда недоумения и недовольство, но без покушения на основы (А что делать? Отказаться от основных завоеваний Октября?). Как и Рой Медведев, я бы не стыдился таких выражений, как “империализм” — британский, американский, а что этот империализм только и делает что отступает, так это лишний раз подтверждает — что подтверждает? Да что-то такое, всосанное с молоком матери. То, что “один из передовых отрядов империализма”, обрушился на нас 22 июня с красным знаменем в руках и в названии его партии было и “социал”, и “рабочая”, так это маскировка, мы же знаем, что своих круппов и тиссенов они не ликвидировали! Вертелся бы с утра до ночи в театре, на радио, да на телевидении, не читал бы всяких самиздатов и зарубежных книжек, воспринял бы долю советского цинизма, слушал анекдоты, шушукался по углам, но альтернатив не искал бы.

— Да что вы мне говорите, — Иванов стучач? Он славный парень, хороший товарищ, не завистливый, не озлобленный! На кого — стучач? Мне, например, нечего скрывать от советской власти! А что теперь прикажете делать? Сталина выкопать и сжечь? Кому-то это поможет? Кого-то воскресит? Что теперь — заводы хозяевам отдать? Или колхозы распустить? Этого, извините, я себе предста-

вить не могу и не хочу! Лучше отдавать пятак за метро, но наше, общее, чем копейку за это же самое Рябушинскому! Да, есть недостатки, а где их нет? А почему я в партию вступил? Голубчик, я все-таки Ленина играю, неудобно как-то, да и потом нельзя... Между прочим, среди беспартийных тоже хватает сволочей — завистников, пьяниц; партийность как-никак подтягивает, приструнивает. Что, теорию марксизма не изучаю? Так мне ведь выпастыся некогда, не то что теорию! Поставь тебя на место Брежнева, будешь делать то же самое!

Я сильно отвлекся от основной темы. Безумно и бесконтрольно я был влюблен в самого Якира, там, где не хватало логики, играло воображение. Даже дух командарма, казалось, витал где-то рядом, хотя, будь он жив, он и не подумал бы играть престижем того режима, который сам создавал. И чьи-то привилегии не раздражали бы его (он сам их когда-то принимал естественно), ни Буковский, ни Амальрик не были бы для него “нашими”, он сам таких к стенке ставил без юридических процедур за белогвардейский блеск глаз и белогвардейское бесстрашие, которое у красных встречалось редко, исключениями были Троцкий, Дзержинский, может быть, сам Якир, Блюмкин, еще плеяда латышей, так ведь они и были такие же властители и палачи, как адмирал Колчак, при всей их личной боевой безупречности. Порой у меня создавалось впечатление, что Пете Якиру дорог риск сам по себе (недаром в больнице на Пироговской он целыми днями резался в сикку). Он любил “выходить из дому” — даже тогда, когда ехать было совершенно некуда и незачем, просил отвезти его куда-нибудь, и все только для того, чтобы посоревноваться с опергруппой дикими перебежками и переездами. Много он задал славным чекистам славной и бесславной работы, которая, однако, стоила денег, и за это надо было кому-то платить...

На третьем трамвае мы выезжали к Павелецкому от Автозаводской, прокуролесив час, чтобы оторваться от машин чекистов, а они тут-то и выныривают из какого-то проулка, и Якир с горечью восклицает:

— Да что у меня — рация в ж..., что ли?

А как-то в воскресный день (кажется, 23 февраля) мы вышли, обошли все стоянки, все машины, потом набили в магазине карманы бутылками и долго еще бродили по улице и по скверу — нет никаких следов опергруппы, Петр Ионович чувствовал себя графом Монте-Кристо, разжалованным в управдомы.

Было такое время, когда Ваня Рудаков искал риска по личным мотивам (они, как правило, вплетаются в любую нашу жизнь, не избежали этого и мы с тобой). К корреспондентам Ваня ходил, когда ему вздумается, дневал и ночевал, дул водку с Дэвидом Бонавиа, уходил от "Давидки", еле ворочая языком. Казалось бы, грех не использовать такие налаженные контакты, но Якир, стоило ему заполучить что-нибудь заслуживающее внимания, обязательно отправлялся сам, с упоением отрываясь от "хвостов" для того, чтобы с неизвестного конца в неожиданный момент подойти к дому, достаточно укомплектованному сотрудниками КГБ, а затем вернуться домой, где тоже круглосуточный пост.

И не стоит закорачиваться на уничижительных формулировках: "уголовник", "авантюрист" — что ни говори, он один тянул воз в смутное время... Помню, я мысленно сравнивал его со Стенькой Разиным и Емелькой Пугачевым. Что ж, Емельян Иванович покаялся и причастился, за что ему сначала отрубили голову, а потом уж руки и ноги. В наш гуманный век Петру за раскаяние сохранили и руки, и ноги, и лихую голову... Андрей Дмитриевич (Сахаров — прим. ред.), показывающий "настоящий класс", не провел до этого 17 лет в лагерях (с 14-ти) и вообще другой человек по всему своему укладу — если его очень уговаривать, выпьет рюмочку разбавленного и подогретого коньяку. Нашего же великого вождя мы не раз заставляли мертвецки спать, и даже не всегда в комнате, а бывало, и в коридоре, где линолеума тогда еще не было. А наведывались в эту квартиру многие, бывал там и Абрам Исаакович Гинзбург, заместитель постпреда Азербайджанской ССР. Есть евреи, православные священники, почему не быть номенклатурному работнику? Насколько мне известно, А. И. Гинзбург не имел неприятностей ни по службе, ни по партийной линии. А однажды я видел на кухне человека, недавно приехавшего из длительной заграничной командировки. Правда, обычно все разговоры велись тет-а-тет, но ведь и техника усложняется и совершенствуется. Говорили Пете про это? Несомненно, и не раз. Он отмахивался: ну да, мы же не делаем ничего аморального, только публикуем "Хронику", а там факты (потом нашлось несколько сомнительных фактов, но ведь и аппарат маленький, и в командировку — уточнить — никого не пошлешь). Недавно случай свел меня с одним человеком, который авторитетно заявил: "На радио "Свобода" каждый второй — чекист" (Некомпетентным его не назовешь). "Ну и что?" — подумал я. Дело они делают так, что миллионы на жужжалки уходят, а если еще и на

стороне прирабатывают, так пусть их Всевышний судит... "Политический вертеп" — называли квартиру Якира. Может, он и хотел остановиться, да не мог, поздно было. Что толку, что Красин остановился? Все равно взяли для придания суду значительности и для намека — "детки" бунтуют... Хотя В. А. Красин не имеет даже отдаленного отношения к ледоколу "Красин". У нашего "ледокола" уже на процессе над Надей Емелькиной коготок увяз — при мне он назывался из Щербаковской, на суде в первом ряду сидел, а у нас научились академика Сахарова от дверей вышвыривать, не то что из зала. Вернувшись, "реабилитированный тунелюдец", он мечтал о противовесе "Вече", чтобы был литературно-философский журнал с конституционно-демократических позиций. Теперь он честно говорит: "Продал душу дьяволу", отсюда и ссылка в двухкомнатную квартиру, отсюда и помилование для Нади. Аккуратно подстриженный Якир помалкивает, только подвыпив цедит: "Сволочь Солженицын еще допрыгается, довыступается (была осень), Сахаров тоже. Ведь и я думал, что моим прыжкам не будет конца".

Прости, что пишу несладко и много, но хочется как-то охватить прошедшие годы — скоро пять лет, как тебя лечат за то, что бросился на огнедышащую и смердящую амбразуру.

Умоляем тебя Володя, легче, спокойней! Петр Григорьевич только читает книги и газеты, а на провокации не реагирует, даже когда несколько недель назад один псих ударил его по физиономии (мало ли уголовников-принудчиков, которые за обещание свободы что хочешь сделают). Легче на поворотах. Наши чекисты сейчас на покое иконы собирают, недавно меня просили достать Библию для старика Чернышева, помню, он полностью согласился с письмом Раскольниковова. Сейчас почти никто не "выступает", само слово это стало бранным — народ на распутье, а система действует само по себе и доводов не принимает. Многие говорят: "Только нобелевским и ленинским лауреатам осталось выступать, а у меня семья"... Не с кем сводить счета, даже в личном плане: "Особа" ловко выбрала время, чтобы отказать тебе в моральной поддержке, в сочувствии. У одного — двое детей, а у другого — трое, и по телевизору они не выступали, тот литовец — "ленинградского разлива", согласился с тем, что он больной, и теперь на свободе, а этим летом, почти наверняка, выйдет П. Г. Григоренко — за домашним телевизором он будет в сто раз безвреднее, чем за казенным...

ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ

## СОБИРАЙТЕСЬ И ИДИТЕ!

(Главы из повести)

*Страшнее страшных пыток  
и схваток родовых  
меня гнетет избыток  
познаний путевых*

*А. Межиров*

1

Им, конечно, следовало меня убить. Или — оставить в абсолютном покое: какая-нибудь работенка со средней заработной платой, мелкие благодеяния, позволяющие прикупить жилье — и машину...

Нет, я не переоцениваю своей значимости, это они виновны в переоценке моих и своих возможностей. Это у нас от вдохновенности. Иначе все давно бы кончилось: не там, так здесь. И я бы непременно заткнулся! Я бы, поверьте, никогда не открыл бы поганого клеветнического рта. Ничего не пишу — и не писал бы вообще, ежели бы...

Ежели бы да кабы, да во рту росли грибы.

Мой знакомый фельдфебель Фридман рассказывал, что грибы во рту расти могут — он сам видел. Лежит в блиндаже труп, во рту у трупа — земля, а в земле — грибы. Фридман считает — шампиньоны.

Вот вам и сослагательные наклонения: овеществленная мечта автора поговорки.

Допускаю — может быть, она не поговорка, а пословица.

Разозлили они меня на свою и на мою голову... Кстати, если у кого-нибудь возникло впечатление, будто я душевно нездоров, страдаю маниями величия и преследования моего величия, — впечатление придется изменить. Несколько раз я обращался к

незаинтересованным психиатрам. Здоров. Даже нет у меня признаков нервно-психического истощения, которые признаки обязаны были проявиться, — принимая во внимание бытовые и семейные обстоятельства, трудности устройства на новом месте.

Так что повторяюсь: разозлили меня, вовремя не утешили — значит, извергну я накопленную за последние десять лет и н ф о р м а ц и ю. Ей-то я постараюсь придать общественный интерес, но и свои творческие возможности — не скую. Я знаю силу слов, я знаю слов набат. То есть, на самом деле я не согласен с мнением поэта-футуриста: он полагает, что слова могут, а я уверен, что не могут. Орфей-певца за его произведения даже в подземное царство впустили, мертвую жену чуть было обратно не отдали. Но, скажем, Пушкину не разрешили полечиться за рубежом. Я уж не говорю о Мандельштаме. И лишь в этом, уничижительном смысле, я процитировал строки поэта. Сам же — пишу. Знаю, — а пишу.

Я намеревался сочинять нечто совершенно иное. Но как я давно занимаюсь словами и даже умею изредка обмануть вдохновение (оно мне про любовь, а я ему — о героических успехах всякого народа), — то пока из меня полезет, я постараюсь успеть рассказать об Анечке Розенкранц. Ее зовут не Анечка, а вдохновение мне на этот раз обмануть не удалось (оно мне — Анечку, а я ему — грязную политтайну... Да не тут-то было!). Неизбежно придет время для тайн, а если оно еще не пришло, то грех мне этим приходом — да не воспользоваться...

## 2

Анечка Розенкранц была окололитературный бабасик, а затем — боролась за репатриацию евреев из Советского Союза. Один психолог-популяризатор называет такие выבריки “грубым прогномом поведения” Согласен — для Анечки это не подходит. Грубо. Вообще-то я знавал одну активистку борьбы за мою репатриацию, которую представляли так: “Познакомьтесь, это — Лана. Валютная проститутка”. Лана ходила с большим золотым национальным символом между грудями, называла себя **Илана** — по древнееврейски и подписывала некоторые письма протеста. За письма ее стала задерживать милиция, получив приказание КГБ. Но преследования только усилили решимость Иланы бороться за выезд. Особого ущерба КГБ ей нанести не сумел, так

как одна из американских еврейских общин взяла Илану под свою опеку и принялась посылать ей доллары.

Но как же с Анечкой?

Дунька ли она Панаева, бросившая мужа, перешедшая к Некрасову, вводившая в эрекцию даже самого Добролюбова? И все это безобразия происходило на фоне гоголевского периода русской литературы, повестей из народного быта, разгула николаевских жандармов, наконец, на фоне сиреневой с картинкой парижских мод обложки журнала "Современник" ... Да, разумеется. Но Анечка не такова, хотя насчет Добролюбова — это на нее похоже. Вводила.

Или какая-нибудь Жорж Занд в брюках, крикливая профура? Нет, никогда! Анечка терпеть не может брюк и очень-очень тихая.

Или, например, моя знакомая Лиля Ландесман. Ее изредка навещал милый друг Ванюха Разин — актер высшей категории, наволакивал за собою тучу поэтов-демократов, абстракционистов, тайных агентов и чтецов запрещенной к изготовлению литературы. А муж Лили — человек обеспеченный — ставил много водки, тресковой печени и колбасы из мяса.

Я по молодости Лилю не оценил, хоть и обомлевал от Ванюхиных рассказов:

— Она мне говорит: Ты, Ванечка, настоящий алкоголик. А почему? — спрашиваю. — А у тебя даже сперма пахнет коньяком!..

Так.

Но Лиле Ландесман было за сорок, и я — приведенный — стал волочиться за ее дочкой Светой — с мамиными линзовыми синими глазами.

Волочился-волочился, читал стихи смертельным голосом, сквозь который голос должна крепко проступать мужская<sup>1</sup> сила, боль и напевность. Почитал — и потопал в другую комнату, где заприметил зеркало: надо ж посмотреть, был ли у меня в чтении достаточно **поэтский** вид. Лиля пошла за мной: у нее свой подход к моему перемещению. Стою я возле зеркала, достал расческу, создаю на лбу непокорную прядь. И чую, что подошла сзади Лиля — я ее в зеркале у зидел. Подошла и говорит:

— Витя, вы гениальный поэт.

Я продернулся весь, а Лиля продолжает:

— Какая **сила**, какая **музыка**, сколько **аллитераций!**



Да откуда ж она знает, что именно этим и прекрасны мои стихотворения? Как она **понимает!**

— Я вам почитаю...

— Витик, не надо на "вы"! Неужели я такая **взрослая?**

— Нет, я так... Я **тебе** почитаю то, что написал только сегодня, перед тем, как идти к тебе... Где-то так:

Завоет лес, встряхнется и завоет...

— Не надо сейчас, Витик... Я как-то уже ничего не воспринимаю...

— А я всегда воспринимаю стихи!

— Я не такая сильная, Витик...

И дышит на меня тресковой печеню.

Я опять принялся за непокорную прядь — застеснялся.

— Ты очень **красивый мужчина.**

Я повернулся к ней, собираясь сделать твердое и скорбное лицо — но не успел. Какое там лицо! Лиля стала разворачивать мне ширинку, приговаривая:

— О, я хочу **взять тебя всего в себя...**

Ширинка была готова. За слегка закрытой дверью в гостиную муж слабым голосом цитировал сто тридцать третий экземпляр запрещенной периодики. Ванюха, приветствуя мою негу, запел любимую песню "А дело было на бану". Петь-то он пел, но мужа прижал тяжким плечом к стулу, чтобы не произошло мордобития. Чтобы он, Ванюха, не оказался в необходимости мужа поколотить.

Лиля приспустилась на коленки... И тогда громко влетела в комнату любви дочка Света — вся темно-розовая. Не пропала моя волочишня даром, — вернее, пропала...

— Мама (даже не мама, а **мама**), иди туда... Папа очень нервничает.

### 3

Вдохновение начинает обманывать меня, а я категорически отказываюсь. Поэтому, уцепившись за что-нибудь, вернусь я к Анечке Розенкранц, так как к ней к кому мне больше вернуться: Лили — нет, Ванюхи — нет, тайных агентов... Нету, нет никаких агентов — ни тайных, ни явных. Некому стихи почитать. Осталась одна Анечка и грязные политтайны. Так не угодно ли вам разоблачить перед нами эти замечательные тайны? Не угодно.

Вцеплюсь-ка я, пожалуй, в сто тридцать третий экземпляр за-

прещенной периодики. На нем уже ни хрена не видать — такой он сто тридцать третий, тусклый и сложенный в микроквадратики. Чувствует его обладатель скрытую радость, — а использовать ее не может: ничего не понятно, стерлись буквы. Знает, что кого-то вызвали и подвергли, а кого, куда и чему — не видит. Но догадывается...

Отвечал за периодику от первого до последнего экземпляра Святослав Плотников — первая Анечкина настоящая любовь. Он, Плотников, не один отвечал, а может, и не отвечал, но он защищал права человека и был — первая любовь. (И, забегая вперед, путая милую мне паутину: “родился (ась) — жил (а) — умер (ла)”, — вторгаюсь я поддельным мемуаром в Анечкину жизнь): у Плотникова я ее впервые увидел, а она — увидела меня, но не узнала...

Был Святослав Плотников жильцом московской однокомнатной квартиры с прихожей и полукухней-полуванной на Сивцевом Арбате угол Ново-Басманной, что по Кузнецкому мосту. Проминал след на след у его подъезда один из трех постоянно прикрепленных к его делу тайных агентов. Тянулись к центральной аппаратной КГБ три кабеля — один потолще, два потоньше. Все три с плотниковской стороны заканчивались микрофонами, а с государственной — магнитофонами. Через вечер, как закон, дребезжала под его окном машина с вращающейся антенной — записывала беседы по вибрации стекол...

(И сам я не знаю, чего хихикаю. Завидно, что ли? Ко мне-то всего один кабель был прикреплен и агент — непостоянный. А машина, так та только разок подкатывала — да и то я не уверен.)

...Мы уточнили у агента номер квартиры — поблагодарили, поднялись на второй этаж и постучали — звонок был для посторонних. Открыл нам кто-то невнятный дверь — и отступил в двадцатипятисвечевый сумрак. Посмотрел я на потолок — в центр сумрака, и не увидел ничего. Очень потолок высокий. Осмотрел прихожую — и увидел большой шкаф без дверцы, но с полками. На полках стояли камни и кости вымерших животных. На каждом предмете — тэбличка; прочесть не смог. Посмотрел на пол — и развеселился: на вершок пепла и окурков, утрамбованных плотно.

Вместо невнятности появилась девушка — бледная, в черном прямом платье с вырезом, босая. Глаза. Рот. Нос... Крупный нос, не по моему, антисемитски-вульгарному вкусу. Но такая трепетная, культурная, невесомая! Анечка...

— Проходите, ребята, — чуть-чуть присела она на звуке “р”, но самую чуть — без провинциального карканья: москвичка, ироничная, грустная, колеблемая... Еще разок, все вместе: Анечка!

В комнате табачных отходов по сравнению с прихожей — вдвое, но лучше утрамбовано. Стоит тахта на десятирех. Над тахтой горит плафончик. На тахте сидит Плотников — в носках, полном пиджачном костюме, волосы вроссыпь. А вокруг, по всем по четырем стенам, — книги. Толстые, старинные, полуразрушенные: три или четыре советских энциклопедии — большие и малые, собрание сочинений В. И. Ленина под редакцией Н. И. Бухарина, предательской рожей к публике брошюра Л. Д. Троцкого “Уроки Октября”, а возле самой тахты, чтоб рукою дотянуться — полка с юридической литературой: уголовные, уголовно-процессуальные, трудовые, исправительно-трудовые кодексы союзных республик, судебные медицины и судебные психиатрии, “Нюрнбергский процесс” и “Процесс право-троцкистского блока”, сборники административных актов и постановлений...

От непредставимой обычному **незадействованному** человеку жути постоянного присутствия посторонних говорил Плотников негромко и внятно, без интонаций, но выделяя напруруб все знаки нашего с вами препинания: даже точку с запятой от простой точки можно было отличить.

Еще не с нами он беседовал, но с неизвестным по телефону, время от времени учитывая конспектики в специальный одностраничный блокнот с исчезающим текстом. За это-то время и успел я разглядеть его библиотеку несатытым оком книжника.

Поговорил, пробежал по конспектикам, запомнил — и отодрал листок от блокнотной основы. Все исчезло.

— Здравствуйте, — сказали мы.

— **Здравствуйте**, — ответил Плотников.

— Мы пришли... — начали было мы.

— Я знаю, — прервал Плотников. — За последнее время участились случаи попыток сталинистов помешать нормальному отправлению правосудия. Бюрократическая машина, нуждающаяся в коренной перестройке, не в состоянии по самой своей сути служить интересам граждан. Разумеется, никто из нас не занимается подрывной деятельностью (он препинулся и добавил) в кавычках. Мы лишь пытаемся помочь гражданам во всех тех случаях, когда их права ущемляются. Присаживайтесь — за стол, — добавил он.

Стол, поглубже в комнате, неосвещенный, был покрыт коврового типа скатертью. Лежал на столе обычный писчебумажный блокнот и тут же — узорное металлическое — серебряное? — блюдо, наполненное бумажной гарью. Написали мы в блокноте, что нам было необходимо. Плотников прочел и свое написал. Вот тогда из небытия снова вытворилась Анечка, с трудом открыла спичечный коробок и сожгла всю нашу переписку. А потом присела у самой тахты, изогнулась и положила головку на необутые ноги Плотникова — в носках с желтоватой задубелой пяткой.

— Восстановление норм законности не может в существующих условиях идти без изгибов и обочин, — говорил Святослав. — Однако важно вовремя заметить эти обочины, а не пытаться сделать вид, будто их не существует.

Девушка Анечка глядела снизу вверх в подвечья Плотникову — как положено. Использую я окончательно права поддельного мемуара и скажу, что Анечка по чистой правде слушала, — чего он, Плотников, первая любовь, говорит. А кроме нее и тайных агентов, этого никто не слушал: все посвященные читали и сами писали. Крутились пятисотметровые бобины в центральной аппаратной, мотали ихние кишки на ус выпускники специального факультета: сопоставляли, анатомировали, делили на установочную, текущую и оперативную части. Плотников-то для них и говорил, чтобы не расстарались сотрудники и выпускники на обыск или киноаппарат в потолке — из-за молчания, из-за грозных двусмысленностей. Потому что, если не давать работы выпускникам, то неизбежно заработает другой отдел — и придется Плотникова сажать. Найдут всякие книги, рукописи, гарь с блюда соберут, восстановят — и посадят лет на пять. Не хотели этого выпускники, не хотел этого Плотников. Никто этого не хотел. Он — говорил, они — записывали на бобины. Придет время: выпускников — на повышение, Плотникова — в Потьму. А пока — Анечка слушает.

4

Анечкина мама — районный врач, Анечкин папа — экономист со страстью к поэзии Иосифа Уткина.

Анечка, начиная с девятого класса, писала стихи, и те стихи обсуждались и зачитывались на занятиях литературной студии Дома Культуры работников связи, где руководил поэт Георгий Айрапетян, автор сборника "Родные причалы".

О Бог и Мать, студийная литература, корневая богатая рифма и бедная глагольная! Ругайте меня на все мои сухие корки, а я о ней, о студийной литературе еще напишу — это только начало...

Айрапетян говорит: в поэзии главное — настроение, а я говорю — новизна.

Айрапетян говорит — Твардовский, а я говорю — Вознесенский. Пенсионер, что самого адмирала Колчака видел, согласен с Айрапетяном: Ленин, — шепчет пенсионер-очевидец, — Ленин и печник!.. Анечка со мной согласна.

Вечер поэзии: скоро в печать пойдём! Не пойдём. Пойдём в стенгазеты и в самиздат; никуда не пойдём — но уж в печать — это точно, не пойдём.

...И вновь лезет из меня поддельный мемуар — застудийный, позапрошловременной, из другого периода, — когда Анечка еще маленькая была и страшно худенькая. Тогда ее возили папа с мамой в Крым, на курорт. И купали ее голубые позвонки в зеленой прибрежной воде, — не обессудьте за цветовую гамму, — я сам из студии буду родом.

До четырнадцати лет Анечка в одних трусиках могла на пляже обитать, без никакого лифчика... И подкрепляется мой поддельный мемуар конвертом со знаком всемирного фестиваля молодежи и студентов в Хельсинки. Обратный адрес: Садовое Кольцо, 144а, кв. 66. Розенкранц Ане. Вещественное доказательство № 1. Клянусь говорить правду и только правду, ничего — кроме правды.

## 5

Если я скажу, что все девичьи беды и неурядицы начинаются с выпивки по чужим домам, то вы меня на смех поднимете.

Как поднимете — так и опустите. Я сказал.

Было на столе двенадцать бутылок сухого вина — потому что от водки юноши сразу начинали блевать, а девушки водку не пили. Сидел в уголке Абрам Ошерович Тираспольский — автор неопубликованного романа "Гетто не сдается". ("Немецкий оберштурмбаннфюрер Отто Бауэр шел в комендатуру. Внезапно перед ним открылся люк канализации. — Руки вверх! — сказал Изя и спустил курок".) Абрам Ошерович практически ни одной буквы не выговаривал, но писал разборчиво... Так он и сидел — в студии, в редакции комсомольской газеты, на этой дурацкой квартире, где пили сухое вино из двенадцати бутылок: специфици-

чески полувоенный (френч), ростом — метр пятьдесят, мелкокурчавый — по прозвищу Хеминхуей.

А я — рядом с ним — читаю, напираю:

По томным раклам пробегает реклама  
хароновой охрой.

По темным рег ланам, срывая регламент,  
проносятся окна.

Хуже всего было с закуской: сухое вино зажирали селедкой и супом. Так Анечка на всю жизнь испортила желудок... Я, например, пил — не закусывая. Тем и спасся. "Половое чувство можно интенсифицировать острой и деликатесной пищей: черной или красной икрой, балыком. Неплохо выпить рюмку хороше-го коньяка", — указывается в первой советской книге по сексологии. И далее: "Для того, чтобы прорыв девичьей плевры был как можно менее болезненным, рекомендуется подложить под крестец мягкую, но достаточно эластичную подушечку".

Анечке прорывали в подъезде — раз пять и все не до конца. О пище я уже говорил.

И началась какая-то дрянь: праздновала Анечка радость падения, пьянела от одной рюмки столового — нервы. Товарищи ее тоже праздновали: Анечка, как известно, блядьего вида не имела, оттого всякая мимолетная склонность ее расценивалась юношами как победа. А вскоре начал с нею жить прозаик Валя Чаговец — с шишкой на темени. Он много матерился и Анечку приучил: его Анечкины матюки возбуждали. Она сильно повзрослела, приходила на сухое вино в красном платье и черных чулках. Так ей было хорошо, трагично, бездомно!..

Обида? Что есть обида в приделах литературных?!

На дне рождения Абрама Ошеровича Валя Чаговец схватил Анечку за груди, что ее всегда оскорбляло, толкнул на стенку, поднял, опять посадил и ткнул лицом в винегрет с постным маслом. Анечка начала плакать, а Валя за волосы выбросил ее в дверь.

Гости Валу пристыдили. Тогда он вышел к Анечке в подъезд, где она валялась и рыдала, выбил Анечку на улицу, словил мигом такси — и отправил Анечку в неизвестном направлении.

Час-полтора допивали, скидывались на еще, посылали Абрама Ошеровича в круглосуточный аэродромовский ресторан: "Ты, блядь, именинник, блядь... Гости, блядь, хотят выпить!!!"

И вернулась Анечка: платье красное было частично черным, а чулки черные — красными: от разбитых вдребезги коленок.

— Вы тут пьете, еби вашу мать, а меня уже три раза изнасиловали...

— Так быстро? — спросил Добролюбов.

— А ты вообще молчи, импотент!

Так на кого же обижаться?..

Ох, как бил Валю Чаговца Ванюха Разин — просто за подлость, за общее предательство, словами неопределимое, а Анечка его отдирали, собирала Валю с полу по кускам, складывала, подобно сказочной царевне, поливала живой и мертвой водою, — и он, наконец, оживал; еще лежа на полу, цеплялся жидкими руками за Анечкину шею: "Люблю тебя больше себя, сделай мне что-нибудь, я не могу так больше", и Анечка ему: "Валя, ударь меня, сильно ударь, чтобы мне было больно, укуси меня до крови..."

Спели? Спели. Кроме правды — все ничего.

## 6

Марк Левин был первый русский поэт нашего времени. Он был Лермонтов, Марк Левин, — сосланный, выданный из жизни. "Собаке — собачья смерть" — повторено было и по его адресу, а он не умирал, — улыбался и писал, сотнями строк, легко и по-ночному, будто бы великим переводом с европейского, — а сам Марк в стороне: разве ж он виноват, что там почти в рифму не пишут и размера не соблюдают. Все было против Марка: вплоть до самой статистики российской, что, невзирая на массовый убой, лишь на день, на час, на минуту позволила Марку Левину стать первым... Нет, не стану об этом — сам на той же статистике въезжаю в русскую литературу нашего, извините за выражение, времени.

Он, Марк, только разок приехал из своего города в Анечкин город — навестить двух-трех друзей. И то было Анечкино вознесение. Вознесение то было Анечкино: сидел перед нею не Валя Хеминхуей, держа в зубах сборник "Гетто родных причалов", а два-три друга Марка Лермонтова — подписатели письма в ООН Центрального Комитета при Совете Министров, фрейдисты-неомарксисты — у вдовы несправедливо утопленного в параше. Пили растворимый кофе с коньяком (наконец-то коньяк!) — и Марк читал:

Был полон оком ледяными коньями...

И заводили в конюшне лубянской рысак для вибрации стекол, и труженики Череповецкого металлургического комбината сдавали народному контролю сверхплановые кабели — один

потолще, два потоньше. Они, передовики, сдавали, но Анечка уже читала свое лучшее:

Осенняя капель,  
вели уйти в деревья,  
в российские деревни,  
в сквозную акварель.

Ночевал Марк Левин с Анечкой на квартире своего друга Плотникова, который Плотников ночевал у вдовы парашоутопленного, которая вдова Анечку на этот поэтический икс-о-клок пригласила и Марку сосводничала, — потому что видела в Анечке пародийное самое себя, а в Марке — мужа своего... И ничего больше не могла она сделать ни для себя, ни для мужа.

Тайный агент протелефонил контролеру своих действий: “Объект у тети, санкционируйте смену местопребывания”, отключили в целях экономии электроэнергии все кабели, машину вибрационную усыпили — только осень была в стекла. И учила Анечка Лермонтова всему, чему довелось ей научиться на Абраме Ошеровиче Добролюбове по прозвищу Чаговец.

Пора, пора закруглять круг — дабы начать новый.

Как только рассвело, ушел Марк на вокзал, оставив Анечку во сне. Проводил его временнообязанный тайный агент — и вернулся к подъезду, ждать смены. Давно проснулись труженики Череповецкого металлургического, но спала Анечка на будущей своей тахте, спал Плотников на раскладном диване — через комнату от вдовы...

Не желая окончательно впасть в литературно-студийную прозу, я не стану их всех будить, умыть, водить в нужный чулан и кормить яйцами в мешочек. А то я совсем было собрался привести рано встающего Плотникова в утренний сизый дом — и предъявить ему Анечку непокрытой: с двумя коричневыми точками и одним черным равнобедренным треугольником.

Что мешает мне рассказать о их знакомстве? А не знаю я, как они познакомились... Поблагодарила Анечка Плотникова за ночлег — и удалилась. Через неделю опять они встретились: послушали вместе оркестр “Мадригал”. И еще через неделю составил главный куратор дела Плотникова небольшое извлечение из оперативного материала — специально для отдела, принимающего решения: “Розенкранц Анна Давидовна, ПЕРВИЧНЫЙ ПОДБОР.”

— Ай да Слава! — сказал принимающий решения по данному вопросу. — Он у нас как, может?



— Ты знаешь, я думаю, что уже жила раз на свете, совершила что-то страшное: может, убила кого-нибудь. И поэтому теперь так мучаюсь...

Молчит Плотников.

— Домой не вернусь — это точно. Если ты меня выгонишь, пойду спать на вокзал... А когда полностью расплачусь за прежнюю жизнь — все будет хорошо... Да, Слава?

Молчал Плотников, не мог он заставить себя говорить что-то такое, стыдное, не для бобинного употребления. Но нельзя же все проклятое время молчать. И нельзя писать в темноте — тихо согретому, обволоченному вытянутыми Анечкиными руками. Более того! Нельзя никак объяснить ей, почему надо молчать, ничего настоящего не говорить, — а писать на фантомном блокноте с одним листом или, в крайнем случае, на блокноте реальном, для гостей.

— То, о чем ты говоришь — так называемый метампсихоз. На четвертой полке справа стоит древнеиндийская философия — утром посмотришь, если тебе интересно.

— Ой, мне интересно!..

Идут-шуршат пятьсот магнитных метров с одной бобины на другую. Завтра утром проснутся выпускники (нужный чулан и яйца в мешочек) — да расшифруют весь Анечкин древнеиндийский метампсихоз. А вибрационки сегодня нет — не ее день.

Молчит Плотников, молчит, угрелся. И как всегда после второго часа ночи задыхалась над ним сука-Мнемозина...

Ни за что он не лежал бы вот так, не молчал, и блокноты использовал бы как все люди. Он, правда, был смелый и честный.

— Компромиссы никогда не окупаются! — цитировал, а будто бы свое говорил.

...Судили плотниковского друга народным судом Октябрьского района, открытым процессом: распространение заведомо ложных измышлений, позорящих советский государственный и общественный строй. Стояли друзья подсудимого у перегороденных мусорами дверей открытого процесса и пытались в окна заглянуть. Строжайший приказ получили мусора: никого не пускать, но ни в коем случае не применять физического воздействия! Этот приказ не их личный капитан издал, а сам полковник Джеймс Бонд — в дакроновом костюме, банлоновой сорочке и при часах фирмы "Бон и Мерсье".

Но на третий час процесса ушел один мусор внутрь, в зал — охранить мать подсудимого от проявлений справедливого гнева присутствующих граждан. Тотчас вызвали по рации заместителя — только приказ о неприменении ему не Бонд объявил, но капитан. А это совершенно другое дело. Капитан сказал: “Ты там, Леша, триндюлей не выдавай, а то будет провокация”, тогда как полковник Джеймс произнес: “За малейшее повреждение эпитетов — утоплю в параше”.

Схватил Леша невесту подсудимого за шиворот и завалил на асфальт.

— Как вы смеете так обращаться с женщиной!? — взволнованно спросил Плотников. И сразу ударил его Леша кулаком в лицо, обрушил и, не давая подняться, зачал обрабатывать сапогами по почкам — как учили старшие товарищи. Остальные мусора подумали, что приказ переменялся, сунули Плотникова в “газон” вверх карманами и повезли в районное отделение. Только через сорок минут по московскому времени прикатил туда на “мустанге” полковник — такого провала он не испытывал со времен Великой Французской революции.

— Я надеюсь, Святослав Александрович, — вы не в обиде на организацию, которую я здесь представляю, — под языком у полковника дотаивала секретная таблетка, позволяющая сохранять любую мину при любой игре. — Как вы могли убедиться, ненависть и отвращение к перевертышам-диссидентам настолько велика, что никакие приказы не в состоянии погасить пламя мести народной.

Бонд говорил что-то вроде правды, а Плотников понял его наоборот.

(До того дня, когда потрогают ваши почки сапогами — никаких возражений слушать не желаю! И не делайте презрительного лица — я вам не полковник Джеймс Бонд, мне голову заморочить трудно.

Лешины сапоги — наш с вами экзамен. И ничто иное.)

Только в полной темноте решался Плотников раздеваться до гола, раз в неделю ходил в гости к одному профессору на дачу — там принимал душ; ни единого лишнего движения сделать не мог — подмести, помыть посуду, ел, отвернувшись к стене, в нужник ходил только при полном нетерпении, а лучше — на улице, а еще лучше — у знакомых.

В два часа ночи лизнула его желтым языком сука-Мнемози-

на, и бил его Лешин сапог, а он уделался как маленький, цепляясь за голенище, как последний декабрист, — и смотрел на него полковник светловолосый, Джеймс Бонд, покуривая сигарету “Кент” со знаменитым микронитовым фильтром.

— Аня, сделай кофе, пожалуйста. Там, на кухне, ты знаешь...

Поднялась, не одеваясь пошла на кухню, уронила с лязгом ложечку, надбила чашку. Убью, убью, всех убью, сначала всех — потом себя, сапогами по почкам, по процессу право-троцкистского блока...

— Аня!!! Не шуми! Зажги свет... Нет!!! Сначала закрой дверь в комнату, потом зажги...

Господи, что случилось? Ничего не случилось. Господи, что случилось!!!

Неведомо откуда прошли по противоположной окну стене медленные белесые световые квадраты — троллейбус? Служебный автобус? — скорее всего. В такое время троллейбусы не ходят.

## 8

Исторический фон, исторический фон, как много дум наводит он.

Не могу без гнусной шутки, плачу, мешаю собственному художественному процессу, процессу право-троцкистск...

Заткнись, сволочь, в параше утоплю. Вы здесь пьете, а меня уже три раза изнасиловали!

Сняв дакроновый костюм, банлоновую сорочку, Бона и Мерсю, оставшись в одном нейлоновом белье, полковник Джеймс Бонд играл сам с собою в бейсбол на закрытой площадке общества “Динамо”. Неожиданно мяч выскочил из полковничьих рук и заговорил:

— Полковник Бонд, полковник Бонд, вас вызывает шеф!

Полковник оделся и пошел к шефу.

— Чего делаешь? — спросил шеф.

— Служу Объединенному королевству Великой Британии и братской Ирландии.

— Есть особое задание. Время — конец шестидесятых—начало семидесятых. Место — известное. Шифр — Россия. Не справишься — в параше утоплю.

...— Добрый вечер, дорогие друзья, гости нашего ресторана! Я уверен, все вы довольны нашей фирменной национальной раз-

блюдовкой. А сейчас — перед вами выступит эстрадный ансамбль под руководством заслуженного артиста Узбекской ССР Дизи-гиллеспиева! Композиторы: Ян Френкель и Оскар Фельцман!! Солист — Муслим Магомаев!!! РОССИЯ...

Я люблю тебя, Россия...

— Да что ты мне рассказываешь, я там был — на Даманском! Они нас так засрачили, что мы не знали, куда деваться... Да что ты мне говоришь?! Ты приказ №2 знаешь?! Ну, первый — мобилизация всеобщая, угроза непосредственного атомного нападения, — а второй: знаешь?! Это значит — всех младших командиров сменить к брежневой матери!! А то дашь солдату патрон, а он его в сержанта зафенделячит, понял? И — открыть немедленно склады со спецпайком. У нас охраняли ребята, так их приводили к доприсяге о сохранении Государственной тайны СССР! Там, понял, семга, курва, балычата, сырокопченая колбаса, мароканская сардина, с шестьдесят восьмого — чешское пиво! Ну, так это, когда приказ номер один, а когда ни хера, никакого, курва, приказа, а они поперли — сытые, в дублях, в треухах ондатровых, понял!? А я второй год на комбижире, у всего полка — язва, кровью серут, понял!?! А командир — сержант Запырыч, у него только утром на губе инцидент: он солдату арестованному дал лед скалывать: пока, говорит, не сколешь, — никакой еды, никакой теплой одежды. И дал ему специальный такой лом, — мы его "радость" называли: он его для нас держал на складе — ни хера острия нет и тяжелый, как падла... Говорит: "Так работай, чтобы лом у тебя в руках поплавился!" Ну, он лом на хер закинул и пошел курить. Запырыч приходит — лед весь на месте. "Солдат, где лом, почему не работаете?" Лом, — говорит, — поплавился!..

Дорогая моя Русь — (и все это в ритме слоу-рока, солист Элвис Пресли)

Нерастроченная сила

Неразгаданная грусть.

— Не надо мне никаких конфликтов. Какую бы жидовскую морду народов СССР мы не взяли: украинскую, литовскую, эстонскую, грузинскую, армянскую — все одно: хренственно! Поэтому не будем повторяться.

Сколько раз тябя пытали —

Быть России иль ня быть.

Сколько раз в тябя пытались

Душу русскую убить?

— Гусак — он полностью за нас! Там так: напишет, блядь, студент какую-нибудь парашу на стене — сразу приезжает немецкий танк из демократической Германии — и дает снарядом вдоль улицы, понял?!

Ты вовеки непонятна

Чужеземным мудрецам.

— ... Тому объекту — тридцать чет, с конца войны, блядь, стоит. Ночью звонит телефон, солдат докладывает: "Товарищ командир, застрелил нарушителя, проникшего в запретную зону". Все законно — стреляет без предупреждения. Ну, все вольтанулись — там такого вообще никогда не было. Солдату сразу отпуск на месяц без дороги. Через две недели другой в карауле — обратно нарушитель! Ну, стали следить, что за херня-прекрасная маркиза. Стоит наш с автоматом — идет по той стороне дороги немец. Солдат автомат на вскидку: "Ганс, ком, сука!" Немец мандражирует: "Найн, найн..." "Ком!!!" Тот подходит, куда, блядь, денешься. "Ком!" Как тот чудик переступил через полосу — солдат в него полмагазина.

Я б в березовые ситцы

Нарядил бы белый свет.

— ... Они к вечеру набухают в общагах — и сразу драка. Умывальник — драка, туалет — драка, со второй смены придут — драка. А мы поставили им такой аппарат экспериментальный — и сразу тихо как в гробу. Все ласковые, сонные, вялые — сцы ему в морду, ничего не скажет, понял! Скоро пустим в массовое производство.

На "бис"

Я люблю тебя, Россия!

Полковник Бонд за отдельным столиком (без микрофона в столешнице) ел блины с беконом.

Я б в березовые ситцы...

Поет Шурочка-ненормальная с непоправимым повреждением головного и спинного мозгов: на вечере художественной самодеятельности больных психоневрологического диспансера. И Яков Яковлевич Лишенин включил Шурочкино бытие в свое неадекватное отношение к действительности. "Выдать, — написал он на имя Ленина с копией главврачу, — товарищу Шурочке сто миллиардов валютных рублей за талантливое исполнение патриотической и прекрасной песни. Я. Я. Лишенин, Герой Мира и Дирек-

тор Вселенной.” А на прошлом вечере, когда Шурочка песню покойного композитора Аркадия Островского “Пусть всегда будет солнце” пела и танец маленьких лебедей танцевали при этом — ничего такого выдать не хотел!

— Господи, какая гадость! Слава, я больше не могу это говно слушать! Как они могут петь в три часа ночи?

— Мы все равно не спим — в те же самые три часа ночи...

— Поцеловать тебя тихонечко? — и ты заснешь...

Ты вовеки непонятна

Сионистским хитрецам!

— Не надо, я встану, мне надо записать что-то...

— Ты же утром будешь больной совершенно!

— Аня, спи, я не буду света зажигать.

Нащупал Плотников в темноте фантомный блокнот, ручку.

“Попытка использования властями жупела национализма и шовинизма не нова: в годы Великой отечественной войны и сразу после нее к этому же методу прибег Сталин. И теперь — налицо стремление направить возмущение населения...”

Кончилась фантомная многоцветная страница. Отодрал — и все, сами понимаете, исчезло.

## 9

Поздно просыпается улица, носящая имя Давида — царя-псалмопевца.

Первым очнулся старый человек — владелец пролома в полутора-тысячелетней стене у самого исхода Давидовой улицы. Пролом зовется кофейней “Сильвана”, а человека имя утеряно: прозвище ему Абу-Шукра. Шукра на его языке — спасибо. Проснулся — и сказал старый человек “спасибо”. Спал одетый в приросший к нему то ли пиджак, то ли сюртук, черные узкие портки. Только туфли парусиновые пришлось надеть — и можно идти разжигать примус под ведерным медным чайником, закладывать в стаканы листья свежей мяты: на каждый такой стакан по мятному пучочку, по три ложки сахара, четверть абу-шукровой горсти черного чая. А второй примус — для кофейного дела, основного в “Сильване”: пьется кофе из малых стаканчиков; берет Абу-Шукра жестяной ковшик с длинной ручкой — финджан, — засыпает туда обильно кофе, сахар — так что остается место на ложку-другую воды. Теперь надо не дать смеси вскипеть: лишь тронет ее жар до первого взбаламута — готов кофе. Пей.

Стоят в проломе плетенные из обрывков каната сиденьца на низких деревянных ножках — всего числом пять. Но есть еще и приступка из кирпичей, так что для посетителей места хватает: не все садятся, некоторые пьют стоя. Сидят только мужья вон тех женщин в черных с золотом доземельных платьях, привезших из Самарии продавать в Иерусалим овечий сыр и овечье же кислое молоко. Мужья жительниц Иерусалима еще спят, а сами жительницы, в платьях того же покроя, но цветных, расшитых красной, желтой и синей ниткой, несут к своим лоткам, прилавкам, навесам или к таким же самым проломам зелень, фрукты, огурцы, коренья. Несут на головах, не прикасаясь руками. Тяжесть, а им ничего — привыкли, не гнутся, только наплывает на глаза подбровный излишек кожи. Мужики встанут часов в девять-десять, накинут плат на голову — куфия, — и в ближайшие кофейни: глоток сладкой и тошной водки-арака, кофе для вида и — гашиш. В кальян, в сигарету, в трубку...

А мы — я, Рами, Шуки, — идем в пролом по имени “Сильвана”. Нам рассиживаться некогда: служба. Повыцвела на нас темно-зеленая форма, но ботинки еще без пыли во швах. Матерчатые ремни в полном комплекте, что на неуставном наречии зовутся “бардачная упряжь”. У каждого — американская винтовка, с которой могучие союзнички вьетнамскую войну продули, позорники. А для нас винтовка хороша, воевать надо уметь!..

Абу-Шукра нашу тройку выучил за неделю, что мы здесь без смены — каждое утро с шести до четырнадцати. Я — кофе. Рами и Шуки — чай с мятной травой. По сигаретке: вчера американские туристы фотографировались с нами и подарили по пачке “Парламента”. С кофе отлично идет. С чаем — еще лучше, так Шуки считает. А Рами — один черт. Рами — профессионал, командир группы.

— Попили? — он спрашивает. — Двинулись!

Платим по два израильских фунта, говорим “шукра”.

Раскрылись алладиновы лавки на улице псалмопевца, полезли в них первые туристы.

— Шведка беленькая, смак! — восхищается Шуки. — Похожа на русскую, Ави?

Я — теперь Авигдор, можно сократить до Ави, хоть такое сокращение подходит более к имени Авраам.

— Нет, дорогой!..

— Свяжись... — бурчит Рами. — Время.

Я, радист, выволакиваю пол-антенны из американского же передатчика.

—...второй обход, порядок, будем сейчас у Стены, прием ...  
—...порядок, все.

Там, где стоял Иерусалимской Храм — Стена. Она же Западная Стена, Стена Плача, что, конечно, все знают. Рядом с нею чуть ли не полгода чинят канализацию. Стену на нашем участке стерегут два деда их местного ВОХР'а с автоматами без магазинов. Резервисты в собственных туфлях и носках — вместо армейской шерсти и кожи.

Проверяют деды сумки, изредка — карманы. В случае тревожном — зовут нас: для этого есть в ихней будке телефон-вертушка.  
— Как дела?

— Порядок... — отвечает младший дед.

Приближается давешняя шведка — в шортах, без лифчика, с огромным красным мешком-палаткой. Скорее всего, была в Эйлате у Красного моря, загорала и перепихивалась на нудистском пляже, а теперь осматривает Стену и прочие мечети и церкви.

— Слышь, удержи ее, слышь, дед, — не выдерживает Шуки. — Мы ей организуем личный досмотр!.. Мисс, плиз, опен ер прай-вет фор зе секьюрити чек!

— Заткнись, — говорит Рами.

Шведка проходит. Деды только потолкли пальцами ее мешочнице, а возиться заленились.

— Надо смотреть, как положено! — Рами злой, как собака, со вчерашнего вечера: баба не дала. — Я за вас проверять не обязан! Когда рванет возле Стены — это на вашей совести будет... Думаешь, араб придет с четками и Кораном? Вот такие блядуги и проносят, туристы, шмонька их матери!

Деды расстроились. Один даже порывается бежать за шведкой.  
— Перестань, — вмешиваюсь я.

Рами смотрит на меня в упор, но придаться не к чему: берет на голову, ботинки зашнурованы до последнего глазка, и конец шнурика спрятан — все по уставу. Но Шуки — недаром профессионал.

— Так, — произносит он, и я знаю, что сейчас будет. — Ави, ты сидишь здесь до вызова (час!), а мы продолжим обход вдвоем.

Имеет право, шмонька его сестры! Придется час нюхать канализационные работы и помогать дедам лазить по сумкам...

Рами и Шуки уходят, а я ставлю винтовку между колен, берет снимаю — и под погон, сажусь на ступеньку. Стена внизу, и возле



нее по случаю буднего дня человек десять: семеро с женской стороны и трое — с мужской.

Деды сочувственно глядят на меня, предлагают закурить, пожевать лепешку с острой набивкой. Трушу с ними туристов и местных около получаса, дышу дерьмом. Мэра бы сюда на день, оборота жирного!..

— Я пойду к Стене, — деды приятно удивлены: молодой, из красной России, а в Бога верит, а сколько времени в Стране, а откуда, а сколько лет...

— Так я пойду.

До Стены метров сто. Получаю при подходе шапочку из черного картона, кладу винтовку наземь и прислоняюсь лбом и открытыми ладонями к пегому камню. Не верую я сегодня ни в Отца, ни в Сына, ни в Святого Духа, ни в нашего Того, что сотворил небо и землю, сломал меня пополам, так что от хруста собственного станového хребта ничего другого не услышишь...

Нахожу я в кармане ручку и клок писчий, пишу записку Сломашему — для запикивания в щель между камнями Стены. "Спаси, Господи, всех, кого люблю: ..., ..., ..., ... и Анечку Розенкранц".

— Слава, я вчера днем, когда тебя не было, читала воспоминания о Пушкине. Как ты думаешь, царь Николай все-таки трахнул его жену?

— Слушай, Аня, там что, больше ничего не написано?! Что за идиотский детский интерес — кто кого трахнул...

— Солнышко, не сердись, я просто так, я думала, что ты знаешь, ты же все знаешь...

— Хорошо. Давай как-то поедим, придем в норму. Сегодня в семь придут Липский, Розов, возможно, Минкин...

— Слава, ты двинулся. Зачем тебе эти с и о н и с т ы ?! Нет, все правильно, надо уезжать, если чувствуешь себя евреем, но они страшно противные!

— Видишь ли, Аня, если всерьез, то это все не так просто. Тебе сегодняшнее ночное песнопение не дало разве толчка?! Национальное пробуждение — это не очередная выдумка. Мы как-то не создаем, что оно — здесь, часть нынешней жизни.

— Слава, а что им от тебя надо?

— Они придут ... в гости. Аня, я тебя как-то просил...

— Что, Слава, что?

— Сначала подумать, а потом — говорить.

Плотников знал Минкина по всяким ученым компаниям. Двух

других — видел, но не беседовал. Вот и фамилии их завершали читанные по nereкомендованным к употреблению радиовещательным станциям письма со странным для Плотникова повтором: "Мы, советские евреи, желающие выехать в государство Израиль на постоянное место жительства..." И далее — что требуется. А что требуется?

Их, писем, вдруг стало так много — по всем адресам, по всем каналам, шла невидимая Плотникову возня. Нет, не возня, но — некие пертурбации, смещения, откровенный вызов полковнику Бонду — так, будто советские евреи, желающие выехать на это самое постоянное место жительства и поддерживающие их сенаторы — о существовании полковника не подозревали... Когда хотел Плотников признаться честно, что интересно ему во всем этом деле, то вылезал на поверхность вопрос, стыднее которого не придумаешь: "А почему их не сажают?"

Ни одного закона не зная, ни одной книги не читая, лишь живя на свете, где человек сам себя три раза в день ест и приговаривает: "Вкусно", нельзя было понять это. А читая и зная — еще невозможней. Плотникову, и никому другому, следовало выяснить, что происходит...

10

До семи часов вечера, до прихода гостей-сионистов, еще далеко. Плотников пошел давать урок английского языка — средство к существованию, Анечка утрамбовала покрепче новую порцию табачных останков возле тахты и прилегла.

... 9 мая 1965 года праздновала страна двадцатилетие победы над фашистской Германией. Анечке было шестнадцать лет, вечером должна произойти вечеринка — поэтому до вечера предполагалось сидеть дома, чтобы не испортить прическу, не испачкать ноги, не вспотеть понапрасну. Но проснулась Анечка бессмысленно рано, так что сколько она ни возилась, опустел промежуток между тремя и семью — как сегодня. И она вышла пройтись на час, может быть, зайти к подруге.

Отпраздновали свое люди, отгуляли уличную часть дня победы. Закрылись все временные ларьки с бутербродами и ситро, неслись миллион миллионов бумажек, промасленных от съестного, тронутых помадой — поев, вытирали женщины губы, — обертки от мороженого и несколько бумажных флажков-наколок с цифрой "20" и артиллерийским салютом.

Прохожих — один на квадратные сто метров. Анечка зашла в сквер имени Скворцова-Степанова скурить сигарету: дома ругались. И от дальнего края аллеи, при начале которой она сидела, направилась к ней группа из трех человек. Анечка восприняла их как двух мужчин, ведущих за ручки ребенка, и еще внутренне сострила: “Дружная семья гомосексов...” Но приблизилась тройка, и ничего смешного в ней для Анечки не осталось: мужчины были в черных костюмах без покроя, белых рубашках и пластмассовых галстуках. Промеж ними был инвалид, одетый так же, только брюк ему не требовалось: он был вправлен концом туловища в кожано-металлическую тележку на колесиках. Три бесприметных лица: два на одном уровне, третье — много ниже. И куча медалей на них, ни одного ордена. Молчали награды на мужчинах, но на инвалиде побрякивали: он был и для опущенных рук сопутников слишком глубоко расположен, и при ходьбе, ходьбе в ногу, отрывался от асфальта, повисая, — отсюда и бряк.

Подошли к Анечке, расцепили руки. Один мужчина достал коробку папирос “Ялта”, другой — спичечный коробок в позолоченном футляре. Дали инвалиду закурить-прикурить. Папиросу держать ему сложно: не рассчитано туловище на равновесие, и как только поднимал инвалид руку ко рту, тележка его грозила завалиться набок. Уцепившись одною пятернею за Анечкино колено, он быстро курил, а сопутники — смотрели. Никогда такой руки на своем колене Анечка не видела: смуглая, с ровными пальцами, ногти розовые и прямоугольные. Но не цвет и не вес Анечку поразили, а **объем**. Рука была объемной, так Анечка почувствовала; без единого следа влаги, без дрожи. И по всему объему — равномерно теплой.

Папиросу инвалид докурил, но руку с колена не снял, полез выше: Анечка даже не то, чтобы уклониться попыталась, а только чуть поджалась. Тогда взяли сопутники Анечку со скамейки, откатив в сторону инвалида, отвели на траву, положили и подняли Анечке юбку. Она лежала, не шевелясь. Один взял ее за руки, развернул вверх и прихватил неразжимной связкой, второй ноги ее за щиколотки принял и раздвинул. Инвалид подкатился к ней и стал выбирать из сиденья, что-то расстегивая и отцепляя. Не смог. Оставили Анечку сопутники и освободили инвалида: один приподнял его за лацканы пиджака от земли, а другой снял тележку. Вновь взяли Анечку за конечности, а инвалид разоблачался из тряпичных сатиновых закруток, веревочек. Обнажился

и влез на Анечку, начал притираться. Стянул ей трусики, задышал, потрогал за все. Но молчала его плоть, не каменела. Тогда отпустил Анечкин рукодержатель одну ее руку, подвел ее пальчики к инвалидскому мясу. Инвалид отшвырнул Анечкину щепоть, задвигался резче. Так перемещался, покуда не забрызгал ей бедра.

Сполз, завернулся, спутники возвратили его в тележку.

— Спасибо, дочка, за день победы...

А вокруг — белый еще день, в любую секунду могли появиться прохожие. Но не появился никто. И они ушли.

— ...Слава, Боже мой, мне такой страшный сон снился. Я тебе изменяла во сне.

— Ну расскажи... Подожди, не надо, напиши здесь, что помнишь, я тебе потом объясню.

— Слава, я не помню... Там было, когда я маленькая гуляла в саду...

— А, все понятно. Сад, деревья — фаллические символы.

— Слушай, может быть, нам тоже подать документы?

— Как, как?

— Подать документы на выезд.

— Аня, в комнате на надо разговаривать.

— А что я сказала? Спокойно подать документы и уехать. Здесь все-таки невозможно жить — я на улицу боюсь выходить, видеть эти рожи...

— Помимо всего прочего — я не еврей, как ты знаешь.

— Фигня! Я еврейка, у меня даже родственники там должны быть.

— Ты же только утром говорила, что сионисты противные.

— А при чем здесь сионисты? Мы уедем и будем жить по-человечески. Я пойду работать и учиться, а ты будешь писать.

— Если уедем, я писать больше не буду...

— Ну, будешь преподавать английский.

Ни единого слова я не напишу, все вслух, расскажу все, что знаю, вслух, писание — в задницу, текущие события, пусть текут без меня, или работать там по проблемам советологии, они же там ничего не знают, создать, наконец, методик, я английским свободно владею, но там же, в Израиле, национализм, но можно же в Америку, Германию, окурки только в пепельницу, в самом деле — жениться на ней и уехать, еврейская жена не роскошь, а средство передвижения, пусть они свои микрофоны туда протянут, подонки, убийцы...

— Мы еще обсудим, Аня, это не к спеху, это — последний звонок, пойми.

11

Как какой-нибудь Тургенев, пробуждая любовное чувство героини, сволакивает ее в весеннюю канаву с талой водой, так и слова Плотникова о звонке совпали со звонком натуральным — в двери. Звонят — пришли посторонние: агенты или сионисты. Агенты не приходят никогда, — пришли обещанные Липский, Розов, Минкин.

Три табуретки принесены из кухни: на тахте могут сидеть только хозяин и Анечка. Но Анечка — не сидит, а заносит в комнату, путаясь и спохватываясь, некоторую посуду, сахарницу, сухарницу с полудомашним тортом: коржи из магазина “Полуфабрикаты” — крем собственного верчения.

— Как ваши дела э-э-э, Михаил? Борисович? Никаких просветов?

— Михаил без отчества. В Израиле все по именам: министры, военное руководство... Есть даже один генерал, так его по прозвищу называют.

— Совершенно верно. Но насколько я знаю, фамилию там образуют из отцовского имени: такой-то ибн такой-то, как у братьев Стругацких... Нет, нет, без вашей подсказки! Я сейчас попытаюсь сам проникнуть в тайны еврейской ономастики... Михаэль...-бен-Барух?

— Точно.

— И еще раз: Хаим бен-?

— Нафтали.

— Анатолий значит Нафтали? Будем помнить... Арон Григорьевич, как вы расшифровываетесь? Григорий — это Цви? Ну, тут надо знать язык, на тыке не выскочишь.

— Для вас это вопрос года, вы языки схватываете на лету.

— Схватывал — в прошедшем времени... А если схвачу, произведете меня в еврея? По знакомству разрешите мне миновать обряд инициации... **Гиюр**, так кажется?

— Гиюр нам самим не помешает. Ахад-Гаам сказал, что Иерусалим сначала строится в сердце, и лишь потом можно совершить восхождение на Землю Отцов.

— Гаам... Он же Ашер Гинцбург. Читал. Не скажу, чтобы это было слишком глубоко. Такой, знаете, наш простой советский Заратустра... А вы читали, конечно?

— Как в одном анекдоте — местами. Приедем — там прочитаем. А пока самим приходится все время что-то писать. Без глупины...

— Понятно. Хорошо, что вас всех с работ поувольняли. С такой текучкой, как у вас, на одни жалобы три четверти суток уходит... Кстати, Михаил Борисович, я ваш последний коллективный протест слушал: очень характерно... как там? "Мы готовы на все, чтобы вернуть себе право жить со своим народом"...

— Мы хотели, чтоб знали: никакие семафоры нам не указ.

— Ага. Так в чем заключается гиюр, кроме обрезания крайней плоти?

— Вам надо побеседовать с Терлецким или Ханькиным.

— Ханькиным?! Он что, тоже теперь еврей? Такая, я бы сказал, старославянская фамилия... Ханька, ханьга: напоминает арго...

— Он еврей по матери, значит — настоящий еврей. Кстати, прошел все дела: обрезание, Библию... Ходит всегда в шапочке, с кистями, молится в синагоге и дома.

— Занятно. Вот я ему Аннушку отдам на краткосрочные курсы, а она мне потом преподает иудаизм своими словами... Аннушка, хочешь сделать обрезание?

— А ты не боишься, что я от тебя уйду: честным еврейкам нельзя жить с инородцами.

— Аня, ты превосходишь своей... э-э-э... евреистостью наших гостей. Это невежливо.

— Гости, в смысле — Слава, я больше не буду.

— Ладно, все будет хорошо. Скажи же мне теперь, не раздуываемая, как ты будешь на еврейском, а?

— Хана. Я буду Хана, дорогой Слава.

— Очень даже. Я знал, но как-то не среагировал. Хана... Например, Хана Ханькина. Давай, Аня, мы тебя отдадим Ханькину в жены...

— Он теперь не Ханькин, а бен-Ханукия.

— Ханукия? А, знаю, такой праздничный светильник. У меня есть великолепнейший альбом с иудейскими древностями... Аня, дай, пожалуйста...

— Что?

— Чем писать.

Не прикоснулись сионисты к Анечкиному пирогу, чаек лишь помешивали: неголодные пришли, покупали пищу в продукто-

вом сертификатном магазине на Большой Грузинской — голландский куриный суп с мерными грибами, вырезку, пепси-колу.

Их появление было неотъемлемой частью нашей борьбы за права человека. Плотников их действиям готов был помочь. "Свобода эмиграции? В этом смысле они часть процесса. А до максимализма ли теперь... Часть — так часть. И они — выезжанты, **отказники**, по-настоящему интеллигентные люди. Им удалось найти единственно возможную точку несоприкосновения с Лешинной кирзой и полковничьим бейсболом: наука, техника! Они давали Леше свою техническую мысль, что все равно не спасет Лешу от распада и развала в 1984 году. И недалёковидные и тупые Леша с Бондом платили им зарплаты, присваивали почетные звания во всех областях знаний, печатали для ученых альбомы Пикассо в финских типографиях... В научные библиотеки отправлялся Альберт Швейцер и Тейар де-Шарден; сионисты могли никуда не ехать: разве что из кооперативной квартиры в закрытую лабораторию. И то, что они все-таки едут: само по себе достойно уважения.

Ученые нашли в себе силы отказаться от Лешинной поддержки — и повели за собой многие тысячи других. Понятно, не все эти тысячи таковы, как наши уважаемые гости. Есть, понятно, люди, стремящиеся улучшить свое материальное положение и избавиться от антисемитизма — что совершенно естественно. Есть евреи, не вошедшие в русскую культуру: из Прибалтики, Грузии. Но авангард — здесь. Да и в провинции именно научно-техническая и гуманитарная интеллигенция приходит к одному и тому же — необходимо выехать в Израиль на постоянное место жительства...

Так, по имеющимся сведениям, в крупном южном городе подал заявление в Отдел Виз и Регистрации заведующий кафедрой марксизма-ленинизма.

Боевики, демонстранты — будем же откровенны! — сели слишком рано и поспешно: результат отчаянности и непонимания происходящего. Он, Плотников, знал кое-кого: была у боевиков ненависть, а национальную идею они не схватили в достаточной степени.

Национальные движения, разворачивающиеся во времени и пространстве, не по баласту своему характеризуются. Хотя это и смахивает на марксизм, что еще недавно преподавал сионистствующий завкафедрой, можно сказать, что именно количество

участников национального движения говорит о его качестве и силе. Нравится, нет ли, но именно массовость нацборьбы и создает макроисторические метаморфозы...

Что-то такое думал и примерно так же писал Плотников, объясняясь с гостями, — и гости писали свое, соглашались. Плотников пообещал найти способ предоставить для кружка отказников свой альбом древностей Иудеи, о котором альбоме упоминалось. Вынести его просто так нельзя: агенты засекут, могут задержать. Криминала в альбоме никакого нет, но не стоит водиться... Также и гости считали важным не дать КГБ возможности обвинить еврейское движение в сотрудничестве с "антисоветчиками".

— Самое опасное теперь — придать нашему делу антисоветскую окраску, — написал на гостевом блокноте один из бенов. — И у нас есть такие Александры Матросовы... Прут грудью на танк!

Договорились, что альбом принесет Анечка, затаив его в широком пальто.

...Жечь, жечь, наговорили полное блюдо, а стекла не дребезжат, дело плохо кончится...

— Аня, ты меня слышишь?

— Да, солнышко...

— Право на свободную эмиграцию — важнейшая составляющая демократии. В целом можно сказать, что власти постараются избавиться от большинства тех, кто изъявил желание уехать, воссоединиться с родственниками. Вопрос — в так называемых откатниках — прежде всего крупных ученых. "Утечка мозгов" нежелательна для государства, и в этом смысле его можно понять, но не простить. Конституция недвусмысленно говорит о праве каждого гражданина самостоятельно избирать место своего проживания. Уважайте собственную конституцию!

— Слава, давай я выброшу...

— Что?

— Бумажки... Надоело жечь...

— Аня!!

— Я же ничего не сказала!

Жечь, жечь, жечь.

## 12

Жгли. А гости спустились по лестнице, обошли почти заставившего двери тайного агента — и позалезли в Михаила Липско-



го "Волгу". Михаил Липский, тридцати пяти лет, был кандидат технических наук, один из создателей неизвестного мне заказа № 4. Только одно знаю — заказ этот ездил, и потому представитель заказчика после успешных испытаний сказал: "Дали колеса Родине — значит, Родина даст вам колеса". И дала.

— Он приятный парень, Слава Плотников, — немножко с шизом, — Розов, добрый и полный.

Минкин радостно засмеялся. Он вел себя дурносомехом, прыскал на одному ему смешное слово; даже научные доклады зачитывал, растерянно улыбаясь. Его смешила забавная тугота и сложность, с которой люди писали и читали книги, делали чистую науку и примитивные заказы под номерами. У них, людей, были такие серьезные уморительные рожи, такие важные жизненные обстоятельства — вроде демократии и сионизма...

В шестнадцать лет Минкин кончил школу, в двадцать два — институт. Пошел в аспирантуру, начал клепать диссертацию по теоретической физике. Мог бы и не по физике, а по химии, зоологии, гистологии. Он в неделю-две вникал в самозамкнутое сплетение любого вида знания, усваивал его язык, манеру — и начинал смеяться, придерживая ухваченное за хвост-корень. Минкина веселило то обстоятельство, что людям, дабы войти в свое дело, надобно было провалиться в него целиком: не только головой и руками, но и чуть не гениталиями. Преподаватели буддизма сами становились буддистами, исследователи и любители икон переходили в христианство. То была советская национальная черта, от которой черты он, Минкин, был свободен — не из принципа, а за ненадобностью.

Вот только вчера он беседовал с философом-персоналистом, собирающимся уезжать. Дал Минкин философу повысказываться минут сорок, потом ухватил его за мягкий корень и потянул на себя! Персоналист побрыкался-побрыкался и перестал.

— Вы бы, Леонид Моисеевич, написали что-нибудь для нашего журнала (Минкин с приятелями литературного толка выпускал время от времени машинописное обозрение "Евреи". Тираж — пять экземпляров, а литераторам лестно), обосновали бы необходимость и неизбежность выезда в Израиль с точки зрения персонализма, — сделал Минкин приятное человеку.

Философ задумался, наморщился, расправил наморщенное, опять съежил... Как можно проявлять себя настолько неосознан-

ными движениями, раскрывать наголо свою персоналистическую персону!

— Я, пожалуй, не смогу сейчас... Это работа на месяц, а я заканчиваю всякое неотложное. Перед отъездом хочется привести в порядок рукописи... Писанина и писанина. А вы сами напишите! Я вижу, что вы в курсе дела, а я в еврейских специфических проблемах не разбираюсь, как-то не дошла голова...

И Минкин написал статью в два вечера, прямо на машинке — печатать на ходу научился. Называлась: "Параметры и функции еврейского национального движения в СССР — пределы свободы выбора".

Едет "Волга" через всю Москву — по двум новым районам надо развести пассажиров и возвратиться к себе, в центр. Большая Москва — только в метро это незаметно: ориентиры назад не отходят. В наземном же транспорте едешь на короткие расстояния, такси — дорого. Только пешим ходом ночью — или таким чувством, как у одного моего приятеля, можно воспринять московские размеры:

— Я часто иду с пьянки в шведском посольстве часов в двенадцать и думаю: Господи, какая она гигантская, а я такой маленький и не умираю!

(Куда, куда я вылез со своими приятелями и мемориями?! Под самую их машину... Скорость в Москве повышенная, собьют — и будешь сам виноват...)

— Езжай, шеф, езжай!

Липский вел внимательно, небыстро: любое нарушение — и спровоцируют все что угодно: под колеса сунут кого-нибудь, столкновение со смертельным исходом, врублюсь в ихний спецгрузовик...

— Когда ты машину думаешь продавать, Миша? — интересуется Розов, свою давно загнавший и теперь завидующий осмотрительности Липского. — Потом получишь на сборы десять дней, отдашь задаром и купить ничего не успеешь.

— Фима, держи свой оптимизм в руках! Ты продал, а я тебя теперь вожу. Если и я продам, кто тебя будет возить, гебисты? Еще минимум год, до приезда Президента, будем сидеть, как миленькие.

Минкин, машиной никогда еще не владевший, представил себе, как Мишка и Фимка заставляют гебешников везти их к синагоге, в противном случае угрожая написать жалобу в американ-

ский конгресс — и захохотал.

— Арон, ты — самый веселый еврей СССР! Тебя можно использовать в фильме для Брюссельской конференции: как радостно живут отказники, терпеливо дожидаясь конца срока секретности! И никакого Вергелиса не потребуется: все наглядно и документально.

— Суровый ты, Миша. Настоящий вождь многомиллионных масс израильского народа. Миша — это Герцль сегодня! Прочим между, Слава пришлет к тебе свою наложницу — звезду русской демократии: не вздумай ей у себя микву устраивать, а то она увидит, что ты тоже необрезанный!

— Я еще не окончательно озверел. Это явные стукачи, разве ты не понял?

... Миша, ради меня, перестань, — стонет Розов. — Бред! Плотников столько делает сам, что стучать ему не на кого, только на самого себя! Как тебе это в голову пришло?!

— Он стукач! Я еще никогда не ошибался.

Минкин заржал так, что Розов, прервав стон, пискнул: он, Минкин, представил себе Славку Плотникова и его наложницу в форме, с погонами, но, как обычно, босиком, с этим их параноическим блюдом, загнуться можно! Они стучат в это блюдо...

— Миша, я умру от тебя! Миша — это майор Пронин сегодня! Миша, какие у тебя усталые глаза...

### 13

Они все стучат: Фимка и Арон, кусок дерьма, остряк-самоучка, и Ханькин, которого КГБ назначило евреем, Терлецкий, и те, что приезжают из Киева, из Минска, и все эти провокаторы, что устраивают демонстрации, а демократы — вообще настоящие работники ГБ. А те, кто звонит из-за границы, на самом деле не звонят, все организуется здесь, на Лубянке. А эта Сонечка Мармеладова, Анна-Хана, блядища, спит по заданию: стучат друг на друга...

Как она вообще может общаться с такой вонючкой? Вонючий борец за свободу вонючего русского народа: ближе к земле спустился и перестал мыться. Надо им внести новый пункт в Декларацию прав человека, специально для местных условий: "Каждый гражданин имеет право не принимать душ и не ходить в баню".

Он был чувствителен на человеческие запахи: пот подмышек, пот ног, женская и мужская слизь, неделю не мытая голова. Час

без малого не мог Липский войти в нужник после жены, с ужасом принохивался к детям. Благо, квартира была большая. Боялся, что приблизится к нему кто-то, заговорит — и рванет кариезом изо рта...

Полковник Джеймс Бонд прислал к Михаилу Липскому людей пять лет назад: когда Липский-отец окончательно вышел на пенсию и поместил в связи с этим воспоминания в журнале "Отечество".

Они приперлись в полвосьмого утра — в такой час Липский последний раз вставал в день защиты дипломной работы. С тех пор день у него был ненормированный. Они, сволочи, знали из результатов оперативных разработок, что утром он никуда не годен! А сами были свежие и плотные, с университетскими значками; небось, спать ложатся в десять вечера и усыпают без книги...

Они ровненько вошли в его кабинет, где он и ночевал — за редкими сексуальными исключениями. Один — Есенин такой моднячий, с удлиненными в меру волосами, в мохнатом пиджачке под твид из народной Польши — нагнулся над его, Липского, расклеенными глазами, вытащил из нагрудного карманчика удостоверение, — а Липский без очков ничего не видел! Но по запаху определил их, гебистов, бесплотную вымытость: не пахло, даже утренней зубной пастой, даже комбинацией здорового стула и молочного завтрака — чистота, кто понимает! И это подлое протягивание удостоверение незрячему (знают!) без стекол человеку — как только потянулся за очками, удостоверение спряталось, — Липского разозлить не могло, ибо ничем не пахло. Протягивающий завис над кроватью, не давая приподняться, а второй, склонив голову на плечико, переступал вдоль книжных полок.

— Вставайте быстренько, Михаил Борисович, — сказал удостоверявший личность. — Мы из Комитета государственной безопасности. Хотим с вами побеседовать.

Ежели бы он сказал что-нибудь грозное, знакомое по ненапечатанным запискам жертв произвола, какое-нибудь "попался, который кусался", или насчет веревочки, которой конец приходит! А он сказал свою банальную кагебистскую пошлость. О подобных рассказывали Михаилу знакомые, с присовокуплением своего блестящего, иронического, оскорбительно-смелого ответа. Ну, например: "Если вам угодно побеседовать, то я предпочитаю беседовать у себя дома! Если же речь идет о задер-

жании или аресте (забыл, какая разница...), будьте любезны предъявить ордер”.

Ага, а потом — придраться к ордеру: не подписан, не указана причина задержания или ареста (какая разница?!), пойду только в случае вынесения меня на руках, применяйте насилие, коли есть у вас на это право...

— Я не могу идти, не позавтракав...

— А вы думаете — мы позавтракали? С половины седьмого на работе. Ну, мы вас угостим — в наших краях: там у Петра Андреевича полный термос кофе, а у меня — бутерброды в портфеле... Петр Андреевич, у тебя кофе на всех хватит?

Петр Андреевич — книголюб, интеллигент гебешный! — кивнул:

— Там литр, не меньше.

— Ну, быстренько, по-солдатски, вы в армии были? Там на сборы дают от одной до двух с половиной минут; попадете — придется трудно, будете вечно взыскания получать, а в вашем возрасте и положении будет вам неудобно перед молодыми бойцами... Идите, идите умойтесь, мы подождем.

Какая армия?! Гниды, твари, какая армия!!! Я никуда не пойду, они не имеют права, там все спят вместе — в одной большой комнате, срут вместе по команде, мне говорили, ах, так вот что они решили со мной сделать, и за что? За разговоры...

— Видите, когда хотите — можете быстрее нашего. Наденьте пиджак. Может быть, придется вечером домой возвращаться, будет прохладно.

— Я должен что-то сказать жене.

— Скажите. Что-нибудь сочините: на работу срочно вызывают.

— Ай, да что вы выдумываете! У меня так не бывает.

— Что значит — не бывает? Вам жена не доверяет? Так по утрам на любовные свидания не ходят, да и мы на девушек не похожи... Пришли знакомые — иду гулять! Не надо ее волновать.

Петр Андреевич вытащил с полки последний полученный том “Библиотеки всемирной литературы”, полистал.

— Это только что вышло? А я еще не выкупил... Надо зайти в подписные. Вы все тома получаете? Нет, у вас же и в других изданиях... А я все: только недавно начал библиотеку собирать.

Удостоверитель юмористически кивнул в его сторону:

— Надо идти, а то Петр Андреевич нас с вами замучает! Пока все книги не пересмотрит — не уйдет. Я очень люблю читать и

читаю довольно много, но вот этой страсти книжной — нет! А он ползарплаты выкидывает...

Сказал жене — смрадной и бледной, — что идет гулять. К ней утром, пока не надушится, совершенно подойти невозможно...

Сели в машину. Своей у Михаила тогда еще не было, но он-то отлично знал рвотную смесь носков и бензина! В этой, серой и матовой, не пахло ничем. Ничем. В машине, оказывается, дожидался шофер.

Сели на заднее сиденье, стандартно. Михаила — в середину. Сейчас. Сейчас он воспримет их спортивно-палаческий дух! Нет. Михаил уставился на в меру сверкающий полуботинок Петра-библиофила, на его японский узорный носок; заранее поганясь, потянул ноздрями. Ничего. Есенин тоже не чувствовался. Как это у них получалось?

Они сидели впритык на заднем сидении. При движении должна была начаться мерзостная стыковка ляжками — с мужчинами для Михаила непереносимая. Но Библиофил и Крестьянский Поэт сверхъестественно сохраняли невидимое микронное расстояние, — учитывая повороты, торможения, развилки.

А это как получается?

Ехать было — семь минут, не более того.

У ворот — не главных, а каких-то боковых, Есенин и охранник махнулись, не глядя, бумажками: белую на белую. В пути сквозь вестибюль, до лифта, в самом лифте, в коридоре — ничем не пахло. У конечных дверей Петр Андреевич, шепнув нечто на ухо Есенину, смотался — пошел выкупать “Библиотеку всемирной литературы”. Есенин пропустил Михаила в комнату, сказал: “Я извиняюсь, минутку, доложусь... А вы располагайтесь”.

Кабинет?

Отражало стекло на письменном столе. Под ним — открытки: виды городов, с первым мая, с восьмым марта, фотография плачущего толстячка месяцев восьми. Обои: желтые цветочки и золотые листики — туманные. На стене, против окна, — портрет Сергея Мироновича Кирова. “Ах, огурчики да помидорчики, — завыло в Михаиле: он даже притопнул, заездил плечами, — Сталин Кирова пришел в коридорчике!!!!”. Едва удержавшись, остановив песенку, продолжал осмотр. Киров был нестандартный: вместо коричневого с тусклым маслом реалистического товарища, висел акварельный с подмывкой и подтушевкой, обвод — штриховой. Экспрессионистический, почти условный... Ах, огур-

чики!!! В коридорчике!!! Нет, что я смотрю, идиот, это же психологическая атака, оставить одного, они наблюдают каким-то образом, надо не дать им понять, вернее — дать им понять...

Но пришел Есенин.

— Сказал начальству, что мы с вами поладили отлично, спокойно приехали, поговорили о литературе. Сейчас, говорю, будем кофе пить. Так он нам дал домашнего печенья. У него жена готовит — сказка. Я был у него на дне рождения — не мог оторваться от стола. Ничего покупного, все свое, и какое! Сейчас сопрем у Петра Андреевича его знаменитый кофе, — я знаю, где термос, — и все выпьем сами. А что, пусть не опаздывает!

— Я бы хотел, — сказал Михаил, — перейти к делу, по которому меня и привели... Я, как вы понимаете, не чувствую особого аппетита...

— Михаил Борисович, вы же сами говорили, что без завтрака не можете. Что ж вы такой ненастойчивый! Сказали — завтрак, а потом — дела, а теперь?.. И я проголодался; давайте, давайте, быстренько перекусим. Вот бутерброды: вам с колбасой или с сыром? Выш выбор. Я хозяин, вы гость...

Ну конечно, он же видит, что у меня очко играет, и смеется... Надо есть, кроме всего прочего...

— Простите, как ваше...

— Сергей Александрович.

Вот, еб твою мать, он же явно издевается, какой ужас, между прочим, я разве сказал ему, что он похож? Что я вообще успел ему сказать? Ничего!!! И ничего не скажу... А о чем они могут меня спрашивать? Все между собой знакомы — так можно задержать любого из научного мира и шить ему дело. Кто им тогда бомбы делать будет?

— А фамилия?

— Я же вам показывал удостоверение! Что ж вы такой невнимательный, несобранный...

Он меня учит жить, засранец...

— Вы похожи на своего популярного тезку.

Сергей Александрович засиял — и процитировал:

— Ах и сам я нынче чтой-то стал нестойкай...

— Итак, вы предлагаете **подзаправиться**... Тащите кофе!

Так и только так: свободно, на его языке...

— Оглянитесь, Михаил Борисович; видите сумку?

За Михайловым стулом стояла большая спортивная сумка с надписью "Аэрофлот".

— Я и в самом деле невнимательный. Прямо под ногами...

— Конечно.

— Давайте, быстренько, открывайте — там термос. Возьмете себе крышечку — она не нагревается, а у меня свой рабочий стакан.

Ну и что теперь делать? Не брать, сказать: "Сами возьмите"? Это кретинизм, пацанство, он будет смеяться — и правильно делает...

— Ну, как кофе?

— Что? Простите, ради Бога, я забыл вам налить... Привычка, я всегда завтракаю один, задумался...

— Ерунда, Михаил Борисович! Я же понимаю, каково вам теперь...

— Да, не слишком приятно...

— Ничего, все пройдет, как с белых яблонь дым. Поговорим — вам легче станет. Самое плохое — держать обиду в себе, ни с кем не делиться, злопыхательствовать в компании неудачников, бездарностей. Искать сочувствие там, где искать его просто противно. Конечно, там посочувствуют — пришел блестящий молодой ученый и проводит с ними свое время, разговаривает! Для них это свадьба с генералом.

— Что?!

— Кофе слабенький. Я дома варю турецкий, сразу с сахаром, густо, хорошо.

— Я вас буду вынужден просить не говорить гадостей про моих знакомых! Что преступного в том, что люди встречаются и беседуют? Пора уже перестать преследовать за убеждения!

Годится, я собрался! Он, дебил, считает, что я настолько примитивен...

— Михаил Борисович! Я нагрубил вам, оскорбил?

— Дело не в грубости...

— Давайте, быстренько, скажите мне: я вам грубил, оскорблял?

— Я говорю...

— Михаил Борисович! Да или нет? Быстро, по-мужски!

— Нет.

— А теперь точно так же: быстро, правдиво, положи руку на



сердце — этих сморкачей вы считаете своей компанией? Это ваши друзья?.. Я знаю, что вы им друг, а они вам?

— Какое это имеет значение...

— Я ждал, что вы так ответите — не захотите говорить неправду: вам претит вранье, а сказать правду малознакомому человеку — трудно. Так?

— Естественно, что трудно разговаривать, почти... Вы, может быть, скажете мне, в чем причина вызова?

— Какого вызова? Вас кто-нибудь вызывал, задерживал, арестовывал?

— Меня вытащили из постели...

— Вы меня простите, Михаил Борисович, но мне стыдно за вашу ложь! Зачем учиться врать, если всю жизнь вы прожили честно... Я обратил внимание, что даже жене, вы не могли, физически не могли, сказать неправду. Я это понимаю. Мы всегда считали вас сильным человеком. Я сам напросился на беседу с вами... Все-таки больно разочаровываться в людях...

— Да, я не привык врать...

— Зачем же привыкать?! Давайте, быстренько, скажите мне, как вы только что сказали о так называемых друзьях: правду. Вас арестовали, задержали?

— Меня...

— Михаил Борисович! Да или нет?!

— Нет!

— Спасибо. Вас вызвали?

— Меня...

— Не надо, не к лицу это вам!

— Нет!

— Приехали, слезайте... Вас.. ну давайте, быстренько, скажите сами! Мне ли вам слова подсказывать!

— Меня... пригласили.

— А зачем такой сарказм?.. Вас насильно привезли сюда?

— Нет, конечно!

— Все, теперь вы — это вы, а не какой-нибудь ... шмаровоз! За вами заехали и пригласили. Когда будете писать заявление, так и напишете.

— О чем вы говорите?! Что писать?!

— Михаил Борисович, вас пригласили. За вами заехали и пригласили — без угроз, без рукоприкладства, упаси Божи! Заехали и пригласили — добровольно. И вы добровольно ответили на при-

глашение. Я не стал бы вообще заострять на этом внимание, но вы любите точные формулировки... То, что я сейчас сказал — это ваши слова?

— Что вы сейчас сказали?!

— О том, что вы согласились принять приглашение сотрудников Комитета государственной безопасности побеседовать с ними за чашкой кофе. Вы согласны?

— Не понимаю, к чему эта казуистика...

— Михаил Борисович, я тоже не понимаю, к чему эта казуистика. Вы же сами все это сказали — я просто повторил, чтобы не было ошибки, пререканий... Я правильно повторил ваши слова?

— Сергей Александрович, мне надоело!..

— А мне?! Вы просто пользуетесь своим превосходством в умении дискутировать. Это, знаете, не по-джентльменски... Давайте завершим нашу дискуссию без взаимных обид, а? Чтобы мне ничего не казалось, скажите быстренько — я правильно повторил ваши слова?

— Практически...

— Михаил Борисович, вы мне обещали, нехорошо! Да или нет?

— Да.

— Вы бутерброд не доели, да? Вы, наверное, хотели с колбасой, а взяли с сыром! А я как раз люблю больше с сыром. Давайте договоримся: вы ничего не делаете и не говорите, не спросив у меня, а то получается, как с этим бутербродом: и вам плохо, и нам неприятно. Договорились?

И впрыгнуло в дверь есенинское начальство — малое и по-балетному стройное. Цвет кожи — светлый коньяк, нет, не коньяк даже, а экспортная шпрота: выдержанная, сухенькая... И рядом лимон. Все знало начальство о своем цвете, — потому была на нем ярко-лимонная шелковая распашонка с короткими рукавчиками, с тончайшей белой змейкой и зеленым крокодильчиком под левым соском. Михаил Липский любил под такую шпроту ржаной хлеб с маслом. Начальник и об этом знал: брючата на нем — хлебно-ржаного цвета со сливочным пояском.

Все было хорошо у Сергея Александровича с Петром Андреевичем. Одно мешало: глаз у них был беспокойный, как будто без зрачка, без центровки. А у аппетитного их начальника глаз был черный, зауженно выведенный к вискам — и смотрел на Михаила.

— Доброе утро, Михаил Борисович!

— Доброе утро.

— Мое имя-отчество: Рэм Тихонович. Как вы, конечно, знаете, в конце двадцатых, да и где-то до середины тридцатых, давали такие имена...

— Я знаю.

— Ну вот. С печеньем расправились? Могу дать еще по штучке. Сергей Александрович облокотился на Михайлов стул:

— А мы, Рэм Тихонович, только с бутербродами успели покончить — заговорились...

— Я что хотел, Сергей Александрович... Доешьте, пожалуйста, свою порцию печенья, а потом зайдите ко мне. Покуда я вас поэксплуатирую, Михаил Борисович успеет написать заявление. Вы только объясните ему, как шапку писать.

— Так я уже готов, Рэм Тихонович... Михаил Борисович, вы сами напишете, только запомните, пожалуйста: в центре листа большими буквами "Заявление", а в правом верхнем углу: "Председателю Комитета государственной безопасности".

Боже мой, Боже мой, что я им напишу? Они даже не сказали, в чем дело, я понятия не имею, что им известно, но — как это ни банально — им, по всей вероятности, известно все... Нельзя ничего писать, почему я сижу, как...

— Я не обязан писать никаких заявлений! Все, что я хотел сказать, я сказал. Если у вас есть вопросы — спрашивайте, я отвечу.

— Михаил Борисович, а ведь мы с вами договорились: сначала подумать, посоветоваться, а потом языком трепать!

— Сергей Александрович, возьмите себя в руки! Вы не первый день работаете... А то Липский воспользуется вашим возмущением — и напишет в ООН жалобу, что его оскорбляли в гебухе. Вы ведь так нас зовете, я не спутал?

— В чем меня обвиняют?!

— Вас? А кто вам сказал, что вас обвиняют? Вас кто-нибудь запугивал? Допрашивал? Оказывал на вас давление? Может быть, Сергей Александрович, который сидит здесь с вами с восьми утра, пять часов подряд, и угощает вас своим завтраком, вас ударил?! Я ему завтра не дам отгула за то, что он потратил на вас весь рабочий день! У него и поважнее дела найдутся... Если вы недовольны — возьмите бумагу и ручку и напишите — в прокуратуру. Мы организация поднадзорная, нас проверяют регулярно, будьте уверены! Всегда проверяли.

— Я не знаю, что вам писать...

— А вы не ждите подсказки! Это только в антисоветских кни-

жонках пишут, что следователь-чекист заготавливает заранее протокол и дает подписать невинному страдальцу! Я вижу, что вы и в эту ложь поверили, Михаил Борисович?

— Я не верю антисоветским книжонкам!

— Не верите — правильно делаете. Прочли их, поняли, кто и зачем их сочиняет, распространяет, размножает — отлично! Садитесь и пишите, а в конце добавите, как собираетесь жить в дальнейшем. А подсказывать вам никто не будет.

— Что вы хотите знать, я вам скажу, дайте мне понять...

— А вы еще не поняли? Все. Сергей Александрович, подпишите ему пропуск, пусть идет на все четыре стороны!

— Я ничего не сказал такого, что...

— Все! Вы меня простите за грубость, Михаил Борисович, но я вас приблизительно лет на двадцать старше: вы мне надоели! Я с вами беседую пятнадцать минут, а Сергей Александрович — пять часов. Представляю, как вы ему опротивели. Я бы не выдержал, у меня нервы давно измотаны! Сергей Александрович, пишите пропуск Липскому, и пусть его уведут отсюда: нам надо работать, а не баклуши бить.

— Что мне будет...

— А вы надеетесь, что я вам угрожать буду?! Гораздо более опытные провокаторы старались от меня добиться незаконных действий — и безрезультатно. Идите к своим единомышленникам, возьмите у них на прочтение какую-нибудь стряпню — там все написано: вас, бедняжку, отправят без суда и следствия в Сибирь на лесоповал! А мы позже дадим вам возможность убедиться, что и это ложь. А пока убирайтесь отсюда!!! Сергей Александрович, где его пропуск?

Четыре дня подряд ходил Михаил Липский в есениново обителище — без будильника вставал в семь. Два раза свои бутерброды принес, а два раза — Есенин опять угостил. Он, впрочем, только позавтракать и поощрить забегал: дела, дела, совсем замотался. А Рэм Тихонович ел домашнее печенье у себя в кабинете — больше не угощал, обиделся на Михаила. И Петр Андреевич ни разу не появился: как ушел в магазин подписных изданий, так и пропал навсегда...

(Все у нас по три раза — как на спартакиаде народов СССР. А у Бонда-полковника трех попыток не дают. И двух не дают. Одну. В лагерях тоже все с одной попытки: первая, она же по-

следняя. Не знаю, возможно, в жизни и не так, но в гебухе и лагере — так. С первого взгляда, с первого разговора...

Знают они нас, знают, а мы и себя не выучили за длительный и неприятный период. Брезгуем? И после первого, горького, раза — строим по всем правилам броню и ждем: "Ну, троньте теперь!"

А никто не трогает. Никто не играет с нами в остроумную любимую нашу игру, никто над нами умственно-моральную победу одержать не хочет. Такая победа — наша с вами ценность — в других местах не котируется.

Кто читает, те слова, что написал он, Михаил Липский, в заявлении? Что узнать хотел полковник Бонд? Кого наказать, кого словить, кого упредить? Кто учил Сергея Александровича и начальника его Рэма Тихоновича?)

...Выполнил Михаил заказ № 4, получил от родины колеса. И аж до самых колес пешком колесил по городу — искал Есенина, Библиофила, Шпроту, чтобы увидеть их **не на работе**, понять, как они живут **теперь** — когда он свое заявление уже написал. Но так никого ни разу и не встретил. Нет их...

Зови меня по второму разу! Зови, подлец!! Не зовет.

Готовясь ко второму разу, перестал встречаться с **упомянутыми** в заявлении, — чтобы не о чем было более упоминать. Нашел других, подал с ними за компанию документы в Отдел Виз и Регистраций, получил отказ, подписал сотню обращений черт знает куда, полтора года не работал, беседовал по домашнему своему телефону с Нью-Йорком, Лондоном и Амстердамом, ходил по неизбежности на демонстрацию к Приемной Верховного Совета — и ждал. Ждал, чем кончится эта страшная провокация в масштабе всей страны: **они** поуменьли со времен расстрелов собственных маршалов и директоров промышленных предприятий. Фимка — завербован, Арон — тем более, никто на самом деле к самолету в Ленинграде не подходил: **они** пытались организовать панику, чтоб мы все поддались на их спектакль, ни одного звука — только выезд. К родственникам, к дядям, тетям, бабушкам — нате вам характеристику с места моей последней работы и вызов от моего двоюродного брата из сельскохозяйственного поселения "что-то такое Ям", хуже всего, что я никак не могу запомнить его имени, а если вспоминаю, то не понимаю — кто брат, а кто — поселение... И вроде это не я Миша Липский, но другой человек, которого человека никакой Есенин не решится угостить своим приплюснутым бутербродом: он, бутерброд некашерный, и я,

советский еврей, желающий выехать в Государство Израиль на постоянное место жительства, вашего едова жевать на стану!

А если позовут — я знаю, как с вами, скотами, разговаривать.

14

Анечка, Анечка, давай мы с тобой пристроим под пальто заальбомированные иудейские древности — полное оханукение, никуда они не лезут. Сгибать — жалко, да и не сгибается альбом. Но сколько там идти, пару метров, пока агенты смотрят, а в метро зайти в туалет — и достать, спокойно нести в руках, он же завернут. От метро до дома Липского идти придется пешком — остановка от дома в пятнадцати минутах.

— Аня, иди спокойно. Задержат — я тебе говорил, как себя держать. Напоминаю: не вздумай сопротивляться, но сама не иди. До тех пор, пока не начнут тебя толкать, тянуть. Запомнила?

— Запомнила, запомнила, все запомнила, солнышко. А если б ты вез патроны?

— Ты когда-нибудь так пошутишь — и к нам придут с обыском на предмет обнаружения складов оружия. Шути понятней для народа.

— Славка, у тебя хорошее настроение! Я вижу. Это надо отметить — за два года знакомства я тебя впервые воспринимаю в хорошем настроении!

— У меня всегда хорошее настроение, уважаемая Аня. Это я кокетничаю — делаю мрачный вид.

— Да-да, я ж тебя совершенно не знаю...

— Аня, большой привет тебе — и передай примерно такого же размера привет знакомым.

— Большое спасибо. Имей в виду: на обратном пути я покупаю бутылку. Если твое притворное хорошее настроение сохранится до моего прихода, — мы будем пить. Я накидаюсь и буду к тебе приставать!

— Точняк — он же верняк. Ну все, солнышко, иди, а то будет поздно...

Садиться в метропоезд надо с умом. Чем больше пересадок — тем больше ума. Но и безо всяких пересадок надо рассчитать, в какой вагон садиться, чтобы при остановке оказаться ближе к необходимому выходу. При обилии пересадок эта раскидка еще тоньше и многослойней. Московская ловкость, никому более не доступная. Мне — по крайней мере.

Анечка — профессиональная москвичка, точно сочла и сэкономила около шести секунд... Вот я смеюсь, но сейчас перестану, ибо вижу Анечкину слабую спинку под конспиративным пальто, альбом тяжелый в газете “Труд”, токмо моему бесстыдному и внимательному взгляду заметный скос высоких Анечкиных каблуков — чинить надо? А походку Анечкину не опишу: мастерства не хватает. Так дайте же мне мягкую куклу, я, не забывайте, бывший актер кукольного театра имени Клары Цеткин, — я надену куклу на руку (внутри горячо и сыро), надену, говорю, и покажу. Лучше, извините за выражение, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я расслаблю кисть так, чтобы ее костяное присутствие зрителям не мешало, и, перемещаясь вдоль сценической грядки, буду покачивать ею — продольно и поперечно, стараясь, дабы покачивания, совпадая, переходили одно в другое. Время от времени нужны мелкие подрагивания, но это требует не меньшего умения, чем описание: должно учитывать пропорции куклы. На четверть миллибалла сильнее дрогнешь — и в соотношении кукольно-Анечкиных размеров возникнет эпиплетическая отбойная шатка.

И таким образом доведу я Анечку до искомого дома и подло покину, сведя с кисти, в громадном бетонном дворе с гаражами, с малыми лампами у множества подъездов; и только издалека смогу сочувствовать ее поискам: как она тыкается от дверей к дверям, засматривает на бумажку, где у нее записан номер квартиры, прикидывает, в каком подъезде да какие номера, и так минут десять, сведя на нет достигнутый в метро выигрыш времени.

Дверь — на двери три замка разного типа и никелевая табличка: “М. Б. Липский, канд. тех. наук”, а свободное место занято недавно нанесенными вавилонами; это, Анечка, то же самое, только на языке **иврит**.

— А, добрый вечер, вечер добрый... Хана, да? Прошу, — и на Михаиле голубой с широкими белыми дополнениями спортивный костюм из посылки, сандалии на босу ногу, ногти блестят — педикюр. -- Это сюда повесьте, пожалуйста, а это возьмем в комнату, вперед, вперед, не оглядывайтесь, здесь не убрано, когда жены нет — я не убираю, лентяй патологический. Жена? Она с детишками уехала в Лазаревское, чуть отойти, страшное нервное напряжение, — мы прямо сюда, ко мне, что вы пьете, когда пить не хотите, кофе у меня здесь, из кофеварки, варить по-всам-

делишному так и не научился. Это? Приемник “Хитачи”, пришлось купить — иначе невозможно Израиль слушать, — значит, так: сейчас посмотрим, что у нас есть, так — есть у нас с вами, дорогая Хана, самая немножечка настоящего вермута, Фимка, черт, выпил, вы помните Фимку? Толстый такой, — и еще у нас с вами, дорогая Хана, есть французский коньяк и — виски. Хотите виски с пепси-колой?

15

...Об уборке не думать. Относительность идеи чистоты и порядка ясна всем непредубежденным. Пример: если я всегда буду ставить ботинки, скажем, на стол, но только **всегда**, а не в качестве исключения, то вскоре этот так называемый беспорядок превратится в **разновидность порядка**. Это будет мой порядок — и не более того. Другой пример — пыль. Если никогда не вытирать пыль ниоткуда, то постепенно пыль органически войдет в структуру предметов, на коих она располагается и — образуется порядок. Таким образом, если я сейчас поддамся странному желанию вытереть пыль с книг, то вместо того чтобы навести порядок, я существующий уже порядок — нарушу. Ведь не полезу же я подметать за тахту! Туда и добраться невозможно. Или стол вытирать — безумие...

Итак, если я уберу пылинки только с одного места, а в других местах их родственников оставлю нетронутыми, то, разрушив порядок существующий, создам беспорядок. А беспорядку придется бороться длительное время, чтобы снова превратиться в порядок. А может, и не превратиться: я не проводил структурный анализ обстановки в моей комнате. Кто знает, возможно, уничтожение пыли на книгах приведет к непоправимому разрушению структуры — и все-все рухнет, превратится в хаос...

Отсюда мы можем вывести тщету всех нерадикальных революций и прочих недостаточно насильственных изменений. Они правы: либо все, либо ничего.

Что-то я шутив не в меру. Анька всегда замечает — женская наблюдательность, связанная с большей активностью подсознания. Женщины живут более рефлекторно, бабья система запретов легче поддается снятию: легкомысленные, ветреные, резвушка — как говаривали в прежние времена. Ну, Анька, мягко говоря, не резвушка. У меня здесь особенно не порезвишься. Уехать



с ней — дать развернуться? Ничего не выйдет. Внешней смены обстановки будет недостаточно. Все говно, кроме мочи...

Плотников пропустил визит к профессору с душем, но решил — то есть, что значит — решил? — согласился выкупаться дома: отметить празднично приличное настроение. Но в ванной, отделенной от кухни ситцевой шторой, среди двух разлохмаченных зубных щеток, трех Анечкиных трусиков телесного цвета, полотенца с потемневшей бахромкой, полупустой пудреничной баночки с надписью “Фармацевтические заводы Закопане” и почти полностью отсутствия мыла, — запели ноги тоской. Тотчас попало зеркало над умывальником: зарос и волосы жирные. Как там у Ходасевича: разве мама хотела такого, желто-зеленого, полуседого и мудрого как змея? Мама пропала в больнице — маразм и смерть, а мудрость — наврал Ходасевич: плохой цвет лица не есть свидетельство мудрости. Несчастный дурак из колодца двора завывает сегодня с утра. И лишнего нет у меня башмака, чтобы бросить его в дурака. Все башмаки заняты и стоят на столе. Все черненькие и все прыгают. Поток сознания, известный также под именем “цепи ассоциаций” — высшая мера западной литературы. Никогда я не мог этого всего читать: все говно, кроме мочи российского происхождения. Сколь ни примитивно, а так оно и есть. “Проснувшись, Грегор обнаружил, что превратился в насекомое...”. Тоже мне, передовая мичуринская агробиология!

Из ванной уходить было нельзя — такое жестокое поражение превратило бы Плотникова на месяц в калеку. На улице раздалось три автомобильных сигнала подряд, и Плотников вошел в полный ужас. Делая вид, что ничего не произошло, он зажег колонку, открыл душ, переступил через бортик ванны, зажмурился. С год назад он погасил бы свет, но в последнее время это было еще хуже. Что-то вывернулось в Плотникове, и нормальная боязнь темноты заменила прежние дурости; лучше всего — комнатный вариант сумрака, но в ванной лампочка без абажура.

Облился, намылил подмышки и лобок. Затем наплатил мылом мочалку, — а мыла осталось! — протерся. Смыл медленно. Вылез. В наклонном зеркале промелькнул его, Плотникова, мелкопузырчатый бок. Вытерся, но от ванного пара опять стал скользким. До двери — далеко. Просеменил по мокрому полу — открыл. Пар вытянуло, а пол — мокрый? Половая тряпка — отставное полотенце с дырками — туточки!

На цыпочках сделал шаг — и вступил в тапки. Зачем же к двери шел босиком? Начал осушать пол, но получилась какая-то гадость: по мере работы пол обрастал мелкими спрессованными грязевыми лепешками, из которых торчали волоски и раздавленные обгорелые кусочки спичек. Что за скотство?! Оказывается, сходила прибухшая к тапкам лажа — смокла и липла к полу. Собрал лепешки пальцами, стал сбрасывать в отлив. Одна присобачилась, он тряс пальцами, пугаясь отброса, как паука. Долго держал кран открытым, пока не проникли все кусочки; по полотенцу-тряпке прошел, нагнулся — ноги в кухне, все остальное в ванной, — смочкал воглую ткань, бросил ее обратно в тамешний таз. Все? Нет, еще одеться. Забыл заготовить чистые трусы и майку, а выйти голым — на за что, умру, потом при случае предъявят мне мое ну в народном суде Октябрьского района: вот как развлекаются предатели, вот до чего можно дойти в своей ненависти к первому в мире государству... Пришлось возвращаться с полдороги, извлекать из другого — бельевого — таза то, что было направлено в стирку. В комнате разжился чистым, сунулся туда-сюда — и решился: выключил свет (это же секунда!), содрал одно, судорожно надел другое. Еще мгновенное хлопанье по стенке, возле выключателя (где он, гаденыш?!) — и теперь уже окончательно все. А голову помюю завтра. Одному нельзя: глаза по необходимости закрыты, открыть их, пока не смоешь мыло, плохо. А мыло смывается с шумом, закладывает уши — неизвестно, что вокруг тебя творится. А там — профессор стоит у полузакрытой двери и расспрашивает о произволе: думает, что за шумом водяным ничего не слышно. Господи, Господи, он не знает, как я ему благодарен...

И сразу благодарность на Анечку перешла: Плотников сообщил, что первый раз за два совместных года он так долго остается один — без нее. Он-то никогда не отвыкал быть один, он, Плотников, всю свою дорогу один, но один с Анечкой и один без Анечки — иное, иное. Самые поздние магазины закрываются в десять, а без четверти закрытие — никого уже не пускают. От Липского до Плотникова при любых замедлениях — тридцать пять минут. Где-то в пол-одиннадцатого быть ей дома. А сейчас — пол-одиннадцатого. Она, конечно, купит вино; он, Плотников, вина бежит, а водку пить Анечка не может. Собственно говоря, какое там питье — так, чисто символически, главное — по стаканам разлить. Осталось еще два маминых стакана: соединение красного

и белого хрусталея, золотая каемочка. И один бокал с тусклыми цветами — от жены, неполная порция чешских рюмок, нестрочные чашки в разных одеждах.

Стучат. Два года, если кто приходит, Анечка дома...

Пришел Володя Полторацкий советовать. На самом деле не советовать, а спорить. Спорить с Полторацким Плотников не мог: Володька был автодидакт, доперший, так сказать, своим умом до инакомыслия. Плотников знал таких человек десять — все почти в лагерях и дурдомиках. А Володьку уже выпустили на время — он сел в шестьдесят шестом: психуха общего режима, криминальная зона, тюрьма, политзона, сто первый километр... Опять он в Москву прорвался!

Что там ни говори, система взглядов вырабатывается на отталивании от системы предыдущей: сначала ничего, затем один день Ивана Денисовича, потом — самиздат и так далее — вплоть до самостоятельного поведения. На неизбежной базе Ремарка, вообще литературы, импрессионистов и постимпрессионистов, Андрея Рублева, Марлена Хуциева, "Свингл Сингерс". Володька же Полторацкий был наоборотник: девятнадцатилетним следсарем после школы рабочей молодежи он раздобыл у соседа коллекцию ресторанных карточек-меню за 1915 год: сосед был какой-то недорезанный, пенсию получал и подхихикивал:

— Бывало, выйдешь на перерыв с капиталистического предприятия (соседу было семьдесят пять), зайдешь в торговую точку и купишь на завтрак булочку с колбаской. Булочка беленькая, мягенькая, под пальцами пружинит, на зубах корочкой хрустит, а колбаса — вку-у-усная, а капитализм — гнетет!..

Два месяца шлялся Володька по ресторанам высшего и первого разрядов — воровал меню. Набрал, сел дома и сравнил — цены, выбор и покупательскую способность (способность он добыл в библиотеке). А сравнив, написал синтаксически-примитивную заметку в заводскую многотиражку. Многотиражка называлась "Тепловозник", а заметка — "Прежде и теперь". На шестой день после отправления заметки в "Тепловозник" Володьку прямо из цеха забрали к Есенину: пришли с ордером, который ордер он, Володька, не потребовал — не знал о таких делах.

Кабинет был другой. Сергей Александрович стихов не цитировал. Он привел Володьку к себе для пятиминутного разговора о рабочей чести русского парня:

— Вовчик, — сказал Сергей Александрович, — между нами, девочками, без булды, у тебя вон руки в мазуте, здесь все курносые, — на хуя попу гармонь, когда есть кадило?

Володька посмотрел на него в упор, — и заходил глаз есенинский по сложной кривой.

— Ты чего, Сергей, в глаза не смотришь? — еще в машине было договорено, что беседа “на ты”, — между земляками.

— Набрался вчера до оебенения, так по утрянке голова как искусственный спутник... Та то все до сраки, Вовчик: ты скажи мне по-честному — на хуя тебе эти жиды?

Володька чуть было не спросил, о каких таких жидах говорит землячок, но сработала его автодидактическая голова, и он предложил Сергею Александровичу — дыхнуть.

— Че ты? — нахмурился Есенин.

— А ты ж сказал, что выпил вчера: вот я и говорю, дыхни!

— Вовчик, — своим голосом сказал Сергей Александрович, — не выдрючивайся...

— Слушай, чего ты матюкаешься?! — не выдержал Володька. — Матюкаешься — а сразу видно, что не умеешь... В институт тебя обратно отправить надо!

— Задержанный Полторацкий, закройте рот!!! — вошел в кабинет Рэм Тихонович.

— А вы на меня не кричите!

Сразу перестал раздражаться Рэм Тихонович. Внимательно осмотрел он Володьку — задержанного Полторацкого — и сказал:

— Я тебя, фуфло, в подвал на цепь посажу. Бандитская гадина, шизофреник.

Появились два особых человека, сволокли Володьку по десятку лестниц — каждая последующая темнее и замусоренней — в какие-то подасфальтные коридоры, закинули в камеру: непонятный дощатый помост в углу, простейший стол, залитый чернилами, — и кресло, обтянутое сальными цветами... Володька, не осматриваясь, направился к креслу. И явился длинный, плоско-широкий, стриженный гладко назад.

— Сядь сюда, — и указал на помост.

— Прошу предъявить служебное удостоверение, — догадался Володька.

— Говно собачье, сядь сюда.

— Будете грубо выражаться — ударю! — И ударил бы, и умер

бы там же, не отходя от кассы — в результате сердечного припадка, резко-злокачественной опухоли. Но раскладка была иной: в камеру прибыл мужик более тихого вида, бормотнул длинному в ухо — и тот отвалил, улыбаясь.

— Старший следователь Еремин Николай Антонович. Антисоветская агитация и пропаганда. Расписываться на каждом листе. Когда вы впервые познакомились?

А через сутки следствия выяснилось — ни с кем Володька не познакомился. Тогда отпала необходимость расписываться на каждом листе, и родителям сообщили, что их сын в припадке параноидной формы шизофрении отправлен прямо из цеха в больницу, — какие именно странности вы замечали за ним в последнее время, не ел ли он собственные выделения, не проявлял ли полового интереса к животным, птицам и маленьким детям, — сроки лечения устанавливаем не мы, а болезнь, мы ее лечим по нашей методике, нет, нет, он сейчас в неменяемом состоянии, вам тяжело будет, не стоит, я думаю, через два-три месяца, да-да, любые продукты, кроме спиртных напитков, он ведь пил — нечего стесняться: я его лечащий врач, алкоголизм и привел к вспышке, не знаю, не знаю, мы вам сообщим в письменном виде, все понимаю, все — еще молодой, сможет вернуться к жизни.

И никаких тебе британских парламентариев и американских корреспондентов, а родители — никому не скажут. А кому вы предлагаете сказать? Что вы предлагаете сказать мамаше-учетчице и папаше-электрику, если нет у них бибисей, а сплошная “Правда” и “Труд”...

Лучше бы он, дурак, как все, — морды бил прохожим. Забрали бы в отделение, дали, как положено, валенками с песком — и выпустили утром. А так семь лет дома не был.

Начали с советов: Володька рассказал Плотникову, что одному украинскому националисту, когда в тюрьму переводили, усы сожгли: повели брить, он отказался. Тогда скрутили его надзиратели, а ответственный зажигалку достал — и держал у отказчика под носом, покуда не обсмалил до нуля... Все лицо обжег.

При Полторацком невозможно было писать в блокнотах — только говорить: громко, облегчая работу вибрационному агрегату, пугая выпускников специального факультета. За одну такую историю можно было схватить полные семь и пять по рогам: это не отказ в защите докторской по литературе Возрождения и даже не процесс в Октябрьском районе. Но делать-то что-то надо?!

Надо. Запустим в запрещенную периодику... Слушай, Володя, а он — не бандеровец? Ты, Слава, на меня не обижайся, но за такой вопрос...

Кое-как помирились.

— Слава, смотри: получается так, что мы играем в их игру. А они свою игру знают получше нашего! Вот в лагерях гонят на политзанятия: человек думает — да пошло оно к черту, пойду посижу. Не слушать, не выступать, само собой, а посидеть... А им и не нужно, чтобы ты слушал — им нужно, чтобы ты сидел на их занятиях, вроде ничего не случилось! На свободе тоже никто не слушает, просто так сидят, куняют. Ты понимаешь, что я хочу сказать?

— Володя, милый, я понимаю. Но это — как сказать? — то ли верно, то ли нет. На тех же политзанятиях можно задавать вопросы, уличать их во лжи, в невежестве... Они не соблюдают ими же созданные правила, так? Им их же правила мешают. И если мы заставим их соблюдать ими же установленные законы, этого будет, ой, как много!..

— Я знаю, что ты имеешь в виду! Но давай возьмем выборы...

— Давай возьмем выборы.

— Что ты смеешься? Если ты пойдешь на выборы, зачеркнешь там ихнего кандидата и впишешь Андрея Дмитриевича, его, по-твоему, выберут?

— **Формально** это метод. Мы принимаем за действительно существующую форму Совет депутатов трудящихся. Представь себе, что несколько десятков! сотен! тысяч! человек проделали то, что ты предложил. Они станут перед дилеммой: либо признаться, что никакой демократии нет, либо соблюсти собственные заповеди... Когда какой-нибудь болван мне говорит, что, я занимаюсь **анти-советской** деятельностью, я всегда спрашиваю: а можете ли вы привести пример моих действий или выступлений против системы Советов?! Ты понял?

...Что я могу ему сказать, что он от меня хочет, неужели недостаточно всей моей периодики, кабелей, вот уеду — скажу подробнее, резче. Сказать ему в лоб, в морду его крикливую, так называемую правду? Володя, прости, я сдохну в лагере, я не виноват, что не занимался спортом, не рубил дрова и — что ты еще делал? — не умею работать на рачочно-строгально-шлифовально-дробильно-сверлильном станке. Я чувствую в нашем с тобой споре пародию на "классовое сознание": в кавычках, в кавычках! Если мне нач-

нут жечь усы — не потребуется никакой гласности: я скончаюсь в самом процессе этой парикмахерской процедуры. Зачем тебе мой малоаппетитный труп? Я сделаю все, что ты просишь, но не проси! Ты — такой, а я — такой, и не заставляй меня, — а то не к кому будет тебе приходиться и спорить, и советоваться по правовым вопросам: похоронят меня, Анька одна уедет...

— Слава, я же не болван — все понимаю. Но так никогда не будет: они тебя все равно посадят, они с тобой не дискутировать собираются. Будешь им вреден — посадят. Безо всяких Советов депутатов!

— И тогда всем станет ясно, что происходит!

— Слава, ты что?! Кому станет ясно? От всей вашей группы остался ты и...

— Володя, я тебя прошу не быть ребенком! Что это за терминология? О какой **группе** ты говоришь? Какая-то неприятно знакомая формулировка... Группа!

“...Я его просто больше не пущу в дом, пусть Анька скажет, что меня нет; нет, она права! — расписаться и подать немедленно документы: меня выпустят быстро, я им достаточно надоел. Я, кстати, не первый из либералов, что уехал... Нет меня, Володя, прости — я тебе оттуда письмо напишу. Ох как плохо, где она гуляет, где ее бутылка, солнышко...”

— Ну ладно, Слава, я пошел.

— Будь здоров; ты не сердись, что я завопил...

— Слава!

— Есть такие высказывания, что в этой комнате противопоказаны.

— Схватил. Знаешь, как уголовники говорят: **фильтруй феню**.

— Как это понять?

— Примерно, как ты сказал: следи за своими выражениями.

— Красиво. Надо запомнить... Но и ты не забывай.

— Бывай. Ане поклон от поклонника.

— Ишь, как заговорил — каламбурами!

— До свидания, старик.

...Анечка придет — вина принесет. Анечка придет — приставать будет. Разве мама хотела такого? Сколько лет прошло, а я ее фотографию боюсь на стену повесить...

раилевич работал в ранней зрелости начальником одного из конструкторских бюро при заместителе наркома танкостроения тов. Зальцмане. Видел Сталина, как я — вас. Был субъектом эпохального случая, который случай я сейчас же и расскажу — сделаю нашим общим достоянием.

Председатель Государственного Комитета Оборона вызвал к себе осенью 1942 года наркома танкостроения тов. Малышева (заместитель, как сказано, — тов. Зальцман: историческая правда), вызвал к себе и спросил:

— Почему ты такие плохие танки делаешь?

— Не я, товарищ Сталин, — отнекивался нарком, — это Зальцмана упущение! Не дороги ему наши интересы...

— Что ты имеешь в виду, подлец? — спросил Председатель.

— Ташкентский герой он, — сказал нарком в предсмертном настроении. Нечего сказать, — плохи танки. Но Председатель любит народную мудрость, понимает ее истоки. Все одно загремел, а вдруг — проскочит?

— Позови начальника конструкторского бюро Липского, — сказал Председатель секретарю и загадочно усмехнулся: любил Председатель народную мудрость, как правильно предполагал тов. Малышев. Но больше этой мудрости любил Председатель превращать человека в их собственные, человеческие, экскременты — так, чтобы ничего, кроме курящейся горочки, не оставалось. Этим лишний раз подтверждал для себя Председатель ошибочность идеалистического мировоззрения.

Ввели начальника КБ тов. Липского.

— Мне будет приятно, — сказал Председатель, — если ты, дорогой Борис Израилевич, примешь посильное участие в нашем дружеском споре с твоим руководителем товарищем Малышевым. Вопрос в следующем: я позволил себе поинтересоваться, почему танки, за выпуск которых товарищ Малышев несет полную ответственность, такие хреновые. В ответ товарищ Малышев впал в великодержавный шовинизм, затем — выявил себя великорусским держимордой, свалил ответственность на твоего непосредственного начальника и брата по крови тов. Зальцмана. Мне хотелось бы знать твое мнение, товарищ Липский. Я думаю, что бывший нарком Малышев — агент гестапо, обманом втершийся в наше доверие. А ты как думаешь?

— Не в моих правилах умалять вину врагов народа, подобных гестаповцу Малышеву, — ответил Борис Израилевич. — Но если



я правильно понял вашу мысль, товарищ Сталин, дело не в разоблаченном враге, а в результатах проведенного вами дознания: мерзкий предатель Малышев под напором неопровержимых доказательств назвал своего сообщника — эсэсовца Зальцмана! Как гласит народная мудрость: есть евреи и есть жиды!

Помолчал Председатель, обдумывая поражение, нанесенное ему представителем избранного народа. Взял со стола мраморную забалбаху — пресс-папье и дзызнул ею тов. Малышева по башке.

А доктор технических наук Борис Израилевич Липский отправился обратно по месту работы. И Малышев вскоре выздоровел. И Зальцман благополучно на пенсию вышел.

Никого не сужу, никого не сужу — на слове не поймаете!

Мы ж с тобой, Анечка, никакого Зальцмана и Борис Израилевича знать не знали, слыхом не слыхивали, видом не видывали — у нас взгляды на жизнь не совпадают...

Налил тебе Миша Липский виски и пепси добавил. Что там пить — один глоток. И ты сделала четверть глотка — и последовал перерыв на долгое время, а Миша Липский лобзал тебя на овальном диване, лобзал и заводился, не видя ни грудей твоих, ни родинки у расхода спины, ни голубизны подкожной за коленками, ничего. Видел Липский только одно: как проникает он в тайны Есенина и лимонно-шпротного начальства, в самую их глубину, в немыслимое по своей недоступности круговерчение — и понимает, чем и как они его победили, заставили заявить на имя Председателя их Комитета... А это проблядь, стукачиха, ей все равно — кому давать, — и я пойму, пойму, пойму, догадаюсь — откуда позор мой и лязганье в сердце, откуда мокрота ладоней и бесконечные слова в кислой пенке. А ты, демократический божок, я т-тебя сделаю, храбрец, смотри! Вот, помойка твоя подо мной, — я вас всех пойму, сначала всех — потом себя...

Анечке было неудобно сказать мужику, что она его не хочет. В таких случаях сопротивляться глупо и противно. Если он не понимает, что она, Анечка, на него совершенно не реагирует, сухая, — пусть ему будет хуже. Она лежала, засматривая поверх Михайловых молочных плечей.

Михаил через минуту вскочил, надел свое бело-голубое, очки перекошенные поправил, закурил. Анечка спокойно присела, допила согревшуюся смесь, надела трусики-лифчик — взяла сигарету, втянулась в колготки — прикурила: Михаил дернулся по направлению к зажигалке, но не успел. На комбинации деге-

нерат оторвал бретельку — нечеловеческая, блядь, страсть! Анечка откопала в сумке английскую булавочку, закрепила. Юбка, свитер, сапоги. Сапоги надо завтра нести чинить.

Молчит — усталый, но довольный, подонок!

— Уже почти двенадцать, — сказала.

Михаил проверил ее по своим часам, забродил по комнате.

— Я боюсь, между прочим, сама идти. Может, ты меня все-таки подвезешь?.. А то получится, что ты меня не только изнасиловал, но и убил.

Они его поймали. Сейчас она пойдет в милицию или закричит, высунется в окно, в дверь. Сионист-насильник, зверь агрессивный. Нравы хозяев из Тель-Авива.

— Кто тебя насиловал?!

— Ты. Ты не видел, что я тебя не хочу? Зачем ты лез? Я с тобой драться должна?!

Да нет, ничего не будет, куда там она пойдет, в милиции разве что обрадуются, для проверки еще разочек шпокнут всей бригадой. Немытое демократическое ссдружество. Она не самая, так сказать, чистоплотная женщина в мире. Их давно знают, не поверят... Я, кстати, тоже изменник родины, но котируюсь иначе: Арон правильно говорил, что никакого зла к нам не испытывают — уезжают? И черт с ними! А не выпускают из-за своих оборотских принципов...

— Мне не следует ехать так поздно... Если хочешь, я дам тебе на такси.

— Галантный ты... Хорошо, я вызову.

Пошла как у себя дома к телефону, что-то она его заприметила быстро, ага, она знает, где он стоит.

— Не стоит вызывать отсюда. Телефон прослушивается.

— Что ты говоришь? Господи, кому ты нужен...

Я? Что ты знаешь, проститутка, кому я нужен, стикуха. Я? Ты сейчас уйдешь, а мне будут звонить члены английского парламента с Лубянки, все евреи братья, в будущем году в Иерусалиме, проститутка!

— Ты знаешь, Хана, когда я агитирую женщин ехать в Страну — всегда говорю, что там женское белье прекрасное. Помогает! А тебе и не знаю, что сказать, — белье у тебя и так в большом порядке...

Комплимент. Божечки, вот тоже несчастный, чего он так боит-

ся, они его специально не отпускают. А он с ума скоро сойдет: закомплексованный до предела.

— Ладно, агитатор, пока. Не бери в голову, бери сам знаешь куда... До свидания, Миша, не обижайся — ты очень хороший. Приходи в гости. Мы, наверное, тоже скоро подадим.

— В добрый час. Я приду, проконсультирую...

— Ой, Миша, у меня к тебе просьба... Не бойся, не бойся, ничего сложного: у тебя бутылка вина есть? Причем непочатая...

— Я не знаю... Сейчас.

Позвякал в баре кабинетном, побрел в кухню — обыскал холодильник.

— А коньяк не годится?

— Годится... Подожди, он из магазина или из "шопа"? Мне нужен простой народный коньяк — или вино.

Простое народное нашлось в шкафу, в кухне: румынское каберне.

— Подойдет?

— Да, Мишенька, спасибо — выпьем за тебя, — чтоб скорее отпустили...

— Ну, счастливо...

— Оставь. Раньше надо было целоваться. Тебе не стыдно?

— В смысле?

— В смысле смотреть теперь Славке в глаза.

— А, перестань, ничего не было...

— Договорились. Не протрепись во время агитаций и консультаций, какое ты у меня белье видел.

— Подожди секунду, я тебя повезу...

— Мишенька, не надо, я не боюсь, это я со злости сказала.

— Я поеду!

— Никуда ты не поедешь — тебе же не хочется, скажи правду.

— Ты не пойдешь одна.

— Пойду. Никто меня не тронет, кому я нужна. А белье под пальто не видно.

— Ты обиделась...

— Наоборот, обрадовалась: ты похвалил мое белье... Пока!

Передачу пропустил? Нет, вполне можно послушать. Длинненький "Хитачи" с двумя динамиками — двадцать шесть сертов.

"...в стране моего прежнего проживания я материально был очень хорошо обеспечен, имел квартиру, телевизор, машину.

Но желание воссоединиться со своей землей и близкими людьми привело меня к мысли о приезде сюда.

Я и моя семья живем в Холоне. Это небольшой город неподалеку от самого крупного города Страны — Тель-Авива. Тут надо сказать, что мы не замечаем никакой разницы между маленькими и большими городами: везде идут одни и те же кинокартины, в магазинах имеются все продукты. Если вы хотите побывать в тель-авивских театрах или посетить музеи и достопримечательности Иерусалима, к вашим услугам широкая сеть общественного транспорта; впрочем, наша семья недавно приобрела машину...”.

Мы передавали интервью с новоприбывшим Шмуэлем. Читал: Иекутиэль-бен Мордехай. Вы слушаете радиовещательную станцию Израиля из Иерусалима. Передаем краткую сводку последних известий.

Министр иностранных дел Израиля Аба Эбан...”.

“Хитачи” работал как Бог. У них передачи неплохо построены — надо будет организовать акцию: серию писем с просьбами. Попросить рассказать об израильской электронной промышленности, о музыкальной жизни... А то у них нет программы типа “Отвечаем на вопросы радиослушателей”. Это важно — имеет смысл.

“...наши силы открыли ответный огонь. Как сообщает представитель Армии обороны Израиля; на нашей стороне пострадавших нет”.

Нет — и отлично. Армия там маленькая, но технически оснащенная.

17

Текут две речки — Ворскла и Мерла. Я в них рыбу ловил. Там, где речки те сходятся, становятся они похожими на Анечку: будь Анечка блондинкой с голубыми глазами и другим носом. Но они все равно похожи — плечами, пупком и нежными ногами.

Посольство Королевства Нидерландов — голландское посольство. Придёмте все! Всем надо попросить деньги на визу, нету денег. Они давились в окошечко за номерками на прием к послу или к его секретарю, что совершенно не важно: кто там из них дает деньги. Кончились моральные победы — они победили, и требуется перед окошком недвусмысленная физическая победа, бой, бой, в Израиле — говорят и пишут в письмах — всех немножко забирают в солдаты. За такое поведение в очереди неголланд-

ской, а в другой, давно бы убили, не доводя до отделения внутренних дел. Шнобель бы оторвали, ребра бы из ушей спиральями полезли бы!.. А в голландское посольство пускают только наших, сплошные шнобеля — оторвать некому. Длинные голландцы ван-дер-что-то лишь лыбятся, и секретарша посла — старший лейтенант Комитета государственной безопасности того государства, что так скоро мы покидаем, — имеет нас за государственно-безопасных. Говорит: “Господа, господа, спокойнее. Господин посол примет всех: не сегодня, так завтра, не волнуйтесь, господа, привыкайте к демократии!” Знаем мы эти дела: кто войдет — тот получит, а кто поверит секретутке и привыкнет — тот не получит. Нужно купить пианино, кухонный комбайн из восточной зоны Германии, ковры, велосипеды по числу членов семьи, псевдоподержанный полированный гарнитур, простыни, простыни, транзисторный приемник “Океан”, транзисторный приемник “ВЭФ-12”, электробриту “Эра”, кубинские сигары, ложки деревянные сувенирные, самовар большой и самовар маленький — сувенирный же, лодку надувную, польскую палатку, фотоаппарат “Зенит”, водку для возможных таможенников и старых друзей.

Список не кончен, — но Анечку уже пропустили в посольство: законный муж Славка получил законный отказ — ждите, когда поднакопятся демократы (так оно и будет). А пока надо отдать ван-дер-послу приблизительно тысячу метров рукописей на микроплентке: возьмет, никуда не денется.

Две реки, Ворскла и Мерла, текут, стараясь походить на Анечку. Втекает Анечка неназойливо промеж кустистым и бурым одесским пузом и твердым боксером из Каунаса, натывается на производство капроновых бытовых сеток из Кутаиси — и запутывается. Не реки, так рыбка. Скалит Анечка зубки на стоматолога из Львова — спекулянтские рожи, зачем они едут, это им не Советский Союз, в Стране всем работать надо, на жульничестве не выедешь, в партию не вступишь — не поможет. Им придется трудно, но это ничего, их дети станут настоящими евреями. И потому пускают их в Страну Веселых Солдат, Страну Одноглазых и Суровых Даянов, Библейских Ковбоев, Бесплатных Апельсинов!

...Бедный Славка, не нервничай, ты, как еврей, — умный и сильный, Славка, солнышко, целую, нечего прощаться, скоро увидимся, иди домой. И о чем, господа, разговор, наше времен-

ное пребывание на несомненной чужбине несколько затянулось: ныне же, во исполнение пророчества, о котором рассказывал мне бен-Ханукия, мы уезжаем. И стоит ли прощания такая встреча? Это я не для нас с Анечкой спрашиваю, а для легкого замаха кулаком — после драки. Отвечаю: нет силы, что остановила бы нас! Пусть стоматологи, пусть капроновые сетки: все, все станет на уготованные нам свои места. Нечего вспоминать, кто был на какие речки похож, ибо через двое-трое суток стану я похож на все имеющиеся у моего государства речки. А если речек мало — выкопаем!

Как легко забывать, вот что значит — наносное, мне не присносущное: прав ты, бен-Ханукия, и я прав, и все мы правы. До сих пор были не правы, а теперь правы.

Таможенная проверка. Проверяйте, проверяйте, фоньки, ничего вашего не возьмем!

Анечке даже чемодан не открыли — знали, все передано голландскому послу, а камешков — нет, металлов — нет... Октябрь наискосок сквозь стекло, Славка расхристанный — сквозь стекло. Об этом писывали — плохо, талантов нетути, но писывали, так что я писать не буду, я с тобой, Анечка, поеду, со второй попытки. Шмонайте меня еще раз, будьте настолько любезны, я еду с вон той молодой дамой в слезах. На повторный курс понимания, расставания и прощания. Решил более внимательно осмотреться в материале. Повторение — мать учения, фоньки! Анечка, я согласен: не с чем прощаться, сам испытал. В случае каких-либо осложнений — скажешь мне, я тебя обучу повторному прощанию... Острою я, острою, остроумно себя веду — не понадобятся Анечке мои уроки. Прощание, расставание: ах, как похоже на неверно понятого Мандельштама, я тебе его пришлю, когда он выйдет в "Библиотеке поэтов" (большая серия) .

...Слава, иди наконец домой, я постою, провожу — мне еще раз прокатиться нетрудно: я один теперь, бессемейный, сочту своим приятным долгом помочь. Миша Липский проконсультировал, а я — сопроводил. Не слушается меня язык: бен-Ханукия говаривал, что Моисей тоже был косноязычен, а из Египта народ вывел! Давай, я буду косноязычным Моисеем, а ты, Анечка, будешь нашим народом, и я тебя выведу... Времени нет — в другой раз.

Над слиянием Ворсклы и Мерлы разошлись под самолетом

облака, раздвинулись по всей глубине. Анечка посмотрела в иллюминатор и увидела самое себя, лежащей внизу.

18

Мы все утро и весь день пытались стреножить ее, — а она не давалась, страшная школьница в бело-зеленом, полосами, платье. Она притворно затихала, зажмурилась — лишь догорали, скворча сажей, автомобильные покрышки. Тогда и мы отступались, доставали одинаковые белые пачки “Тайм”, закуривали. Наш перекур прерывался на пятой-шестой затяжке. Школьница взлетала, вопила слово “Фаласты-ы-ын”, и на каждом из этих ее “ы” в нас летели камни, разбивая очки, зубы, отшибая памороки. Ежели бы штабс-капитан Яари имел право на приказ открыть огонь — все было бы иначе: на расстоянии нескольких десятков метров, да еще сквозь противосолнечные стекла, да еще с дюжиной кровоподтеков на теле мы можем палить в кого угодно, даже в нее, в Рамаллу — сумасшедшую стервь... На расстоянии в несколько десятков метров пуля, выпущенная из моего легкого стрелкового оружия, попадая в грудь, проходит насквозь, унося за собой кусок спины, размером с суповую миску. Но в женщин стрелять нельзя, и мы шли на нее в контратаку, заслоняясь центурионовыми, александромакедонскими щитами, либо чем попало, с дрекольем казенного образца, мужья, решившие во что бы то ни стало доказать дрянной бабе, кто в квартире хозяин. И подбежав почти вплоть, успевали заметить, что не баба она, не женщина, что ей то ли двенадцать, то ли четырнадцать лет, что локотки ее остры, что колени — торчат, и не бить ее надо, а облить холодной водой, закатать в теплое одеяло, чтоб не могла трепыхаться — и отнести в ее детскую кровать, не мужем быть, но отцом: не обращая внимания на расцарапанные ее коготками щеки, на ее плевки, повторять обалденело: “Ну что ты, дура, что ты...” Покуда не уснет.

Мы успокоили ее к шести вечера. Пришлось заткнуть ей глотку кляпом, закоротить ее лапы наручниками, связать ноги ее собственными чулками. С восьми вечера до восьми утра был объявлен комендантский час.

Рамалла временно запаялась.

И я поперся к ротному командиру подпоручику Дану — просить отпуск на четыре часа, съездить в Иерусалим. Не домой, к жене и детям, а к Анечке на улицу Нарциссов, где снимала Анеч-

ка комнату у торговца воздушной кукурузой. Мне предстояло дать кукурузнику в рылятник, но повернуть дело так, чтобы это мое подсудное действие заставило его одновременно перестать к Анечке колотиться, не повышать квартирную плату до конца года и разрешить ей пользоваться холодильником на хозяйской кухне.

Подпоручик Дан и унтер-офицер Мандельбойм пили кофе с молоком и спорили, как лучше всего избавляться от вражеских трупов на позициях в пустыне. Мандельбойм считал, что трупы надобно хорошенько смочить бензином и поджечь. Штука неприятная, но радикальная. Так поступают сирийцы и египтяне с нашими трупами, и нечего нам ваньку валять. Унтер-офицер Мандельбойм в гражданской своей жизни преподавал в университете литературу восточноевропейского еврейства ХУ–ХУ111 веков. Подпоручик Дан был кадровый военный, молодой парень – “цуцик”, по выражению Мандельбойма. “Цуцик” утверждал, что трупы необходимо закапывать – и по возможности глубоко в песок. Его опыт заключался в двух войнах, тогда как ординарный профессор Мандельбойм побывал на трех.

На мой приход никто из спорящих не отреагировал. Мандельбойм приводил веские доказательства:

– Ты ж не проверишь, глубоко его закопали или не слишком. Солдат его сверху присыплет, ты и не заметишь. А к ночи он у тебя начнет лопаться под носом, – так ты тогда поймешь!..

Тут-то Мандельбойм заметил мое интеллигентное присутствие:

– А, **русский господин** (по-русски с майданек-катыньским акцентом), как делишки? (древнееврейский). Как ты освоился в Стране?

– Полный порядок.

– Полный порядок, **что?**

– Полный порядок, командир!

Это мы с ним так постоянно шутили, изошрялись на тему типичных диалогов новобранца с ефрейтором-занудой.

Подпоручик Дан слушал меня молча. Я никаких прошений подавать не могу, коли не вижу признаков грядущего ответа, – однако подпоручик был неподвижен. Где-то на восьмой причине он прервал меня:

– Сейчас пойдет в Иерусалим “командкар”. Доедешь до Нив Яакова, а оттуда есть автобус в центр. Обрато – в десять! Догово-



рись с шофером: он возвращается. Никаких попутных не тормози. В порядке?

— Сто процентов!

— Привет.

“Командкар” шел со скоростью сто двадцать километров в час. От Рамаллы Стреноженной до Нив Якова ехали мы пятнадцать минут.

Попутная надыбалась сразу: излюбленный автомобиль иммигрантов из СССР “Вольво”. Он взял меня охотно, сам распахнул дверцу, сказал: “Садись, пожалуйста, солдат” — с таким проносом, что я не стал притворяться, а ответил на родном:

— Спасибо вам большое.

“Вольво” жил в новом районе возле Дворца Наместника, в Нивах Якова навещал интимно мать-одиночку из Черновиц, сам приехал из Риги, ни хера порядка нет в государстве.

Анечка попала на улицу Нарциссов (угол улицы короля Георга), сбежав из трехжильцовой государственной квартиры, где получила комнату по распределению от репатриантской жилищной конторы. Три комнаты — три жильчихи. Сабина из Бразилии, Анджела из Соединенных и Анечка. Туда ходили ребятушки из кафе “Вкусняк” — члены движения “Черные пантеры”, репортеры еженедельника “Сей мир”, студенты Академии художеств. И поскольку они для Анечки все были на одно лицо и на одно все остальное, как для нас с вами — китайцы, она так и не научилась отличать — кто сегодня к ней пришел, а кто вчера с ночи остался: лежит коричневой задницей вверх на Анечкином пледе — прощальном подарке. А вскоре появился у Анечки в гостях Эли Машиях — без бедер, в штанах “Голубой Доллар”, в рубашке “Чарли”, с лепестками гашиша в серебряной фольге — приехал на плохой машине “Субару”. Вкусняки теперь ходили только к Сабине и Анджеле, а Эли Машиях твердо решил заработать Анечкой новую телегу. В прямом смысле заработать и в переносном: у Анечки были водительские права, что позволяло ей купить машину без налогов. Поэтому Эли метил на “мерседес”. Я знаю Анечку — она не скоро поняла бы, что происходит. Но растворилась моя записка между камнями Стены — и налетели менты на государственную коммунальную Анечкину квартиру, нашли лепесток — он же палец — и дали всем присутствующим по три года условно. Всем, кроме Эли Машияха: ему сказали, чтоб он туда больше не ходил... Он и послушался — перестал.

Есть город Евпатория, где раньше татары жили. Теперь не живут. Он, город, похож на улицу Нарциссов, на Анечкин дом — пузырьчатый известняк, черные деревья, не умеющие шелестеть, плитчатый придворок — без двора, желтый свет на лестнице винтом. Но евпаторийский свет горит сам по себе, на Анечкиной же лестнице жмется кнопка: бахает тогда неисправное реле-автомат, загораются лампы и жужжат. Горит ровно двадцать секунд, потом гаснет. И надо мне добежать до Анечкиной двери, что на верхнем, последнем третьем этаже, возле самого бахающего реле. Можно и по дороге еще раз нажать — кнопки на каждой площадке, только они испортились.

Я забыл сказать, что Анечка не работает второй месяц — специальности нет, а на курсы не идет, языка местного не знает. Она вся закрылась, защитилась, вот и не знает, даже хозяина тутошним матом послать не может. Доходов и у меня мало, но несу я ей добытую по складскому знакомству “боевую порцию”: две банки консервированной говядины, банку соленых помидоров, банку компота, банку шоколадной пасты, шесть леденцов разного окраса, три белых пластмассовых вилки, столько же ножииков, тарелок — и вершину добычи: вытащенную из не менее боевой, но пасхальной порции бутылку вина “Красное старое”!

Заработало реле, и побежал я, тюкаясь винтовкой о стены и перила.

Уличный умелец набрал Анечке за десятку ее фамилию и имя латинскими жестяными буквами на деревянной плашке. К плашке Анечка привесила самостоятельно привезенный невропатологический молоточек — на ленте. Забавно и оригинально. И барабаню я в дверь, и засматриваю в глазок, и не вижу ничего, и кулаком стучу, и ожидаю, и чуть не плачу, и белеет мой армейский загар в облупе. А свет, понятно, погас. Спускаюсь, заклиниваю кнопку спичкой, вновь наверх поднимаюсь, и уж не стучу, а замираю — слушаю, как дорабатывает свое Анечкин транзистор-мыльница на доходных батарейках:

“Здесь вещание Израила из Иерусалима. Часов — восемь. Это новости из уст Хаима Тадмона. В городах Иудеи и Самарии продолжались сегодня в течение всего дня нарушения порядка...”

“Родиться с тобою утром,

вечером — умереть,

шагать по земле,

текущей молоком, горечью и медом,

и с каждым днем любить тебя сильнее,  
и идти за тобой, как пленный..."

Ломаю дверь?

---

ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ родился в 1946 году, в Харькове. Работал грузчиком, актером, корреспондентом радио, трамвайным контролером, экскурсоводом. В СССР не печатался.

В Израиле с 1973 года. Был диктором израильского радио, чиновником информационного отдела Министерства абсорбции, главным редактором еженедельника "Неделя в Израиле". Опубликовал множество публицистических статей, несколько стихотворений и рассказов.

\* \*  
\*

### КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

*выпустило в свет:*

**ИЛЬЯ РУБИН. Оглянись в слезах.** Стихотворения. Статьи.  
Проза. 300 стр.

Цена \$ 7 (45 лир)

**АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. Трепет забот иудейских.** 200 стр

Цена \$ 4 (35 лир)

**НИНА ВОРОНЕЛЬ. Прах и пепел.** 200 стр.

Цена \$ 4 (35 лир)

**БОРИС ХАЗАНОВ. Запах звезд.** (Совместно с издательством "Время и мы"). 300 стр.

Цена \$ 6 (45 лир)

**ИОСИФ БОГОРАЗ. Отщепенец.** 350 стр.

Цена \$ 6 (45 лир)

**НИНА ВОРОНЕЛЬ. Папоротник.** 100 стр.

Цена \$ 3 (30 лир)

**Заказы принимаются по адресу:**

P. O. B. 23121. Tel-Aviv, Israel

МИХАИЛ ГЕНДЕЛЕВ

СТИХИ

*Из книги "Въезд в Иерусалим"*  
*(Ленинград, Самиздат, 1966 г.)*

Л. Г.

Нет, я еще переживу  
и эту жизнь, и выживание.  
Я не спущусь кидать в Неву  
печальный грошик расставанья,  
чтоб он, чуть по льду прозвеня,  
был запорошен ранней ночью —  
не ставший памятью меня,  
но и не бывший ею...

Впрочем,  
нет — я еще переживу  
к себе любезное вниманье,  
свою последнюю вдову,  
свои угрюмые кривлянья,  
дрянное, скучное вино  
между двумя ночами... Между  
тем, что не память уж давно,  
но и не светлая надежда.

Мельчанье дорогих утрат  
в молчании переживаем.  
Дичает на ночь Ленинград  
в полустепях своих окраин.  
Гриппозным снегом наяву  
сниженье, униженье тверди.  
Чтож, я еще переживу  
И снегопад, и чувство смерти.

х х х

Когда я поеду в не-знаю-куда — я не знаю.  
Отходит мой поезд, еще собираясь кричать полным горлом.

Еще не проходит из детства слепец по вагонам.  
Еще я себя напоследок к душе прижимаю.

Когда я поеду в не-знаю-куда. Я бегу по перрону.  
Еще, дирижер, пантомима твоя для оглохших безумна.  
Еще не кричал паровоз, и есть время купить париросы.  
Еще огонек завершает пунктиром рисунок.  
Еще тишина не поднялась до глотки крещендо —

напиток не может за край перехлынуть прощанья.

*Из стихов, написанных в Израиле*

Памяти Х.—Н. Бялика

Хрипло рыдает павлин золотой  
над Галаадой.  
Время нарвало под коркой земли  
под небесами.  
Пьяное черной балтийской водой  
время заката —  
это распад полыхает вдали  
ста голосами.  
Это разменный медью народ  
жить не желает.  
Это от знания кровь устает  
дряхлая, злая.  
Это закат! Это падает век  
над головами.  
Много ли смысла в смежении век?  
Ярко ли пламя?

Как на колени кидалась на крик  
бывшая гордость —  
это закат мне лицо опалил —  
в горсти прохлады...  
Голос, как верой, мне Бог отдал —  
Сорвано горло!  
Хрипло рыдает веселый павлин  
над Галаадой.

х х х

Сядь, посиди со мной, налей мне вина — почти  
Несладкое это вино, и выпей сама  
Немного вина, и прочти:  
“В белой халдее моей темь, и в черной халдее тьма”.

Все я забыл, что хотел, и — знаешь, моя любовь —  
И что хотел бы — забыл вместе с тем — вот и пишу о чем:  
“В белой халдее моей тьма, и в черной халдее ночь” —  
Читаешь ты через мое плечо.

Посиди со мной. А время спустя...  
Ах, кто же знает, что будет с нами потом?  
Но нельзя искушать судьбу — мы у нее в гостях —  
Все дело в том.

И в том, что судьба-химера, — нехороша собою она.  
И в том, что я знаю меру лишь по части вина —  
И налей, хозяйка. В халдеях моих темь.  
И шахматные фигурки пошли по полям не тем.

Ты сидишь рядом со мною лицом к луне.  
Говоришь: “Время”, я соглашаюсь: “Да”.  
А тем временем по халдеям евреи идут года.  
А дальше — века — евреи идут по моей стране.

А за ними диколицы тысячелетий орда.  
Облик несут, как родовой тотем.  
Ты говоришь: “Время”, я соглашаюсь: “Да”,  
Да, шахматные фигурки, да, по полям не тем”.

Ты сидишь рядом со мной, но лицом к луне,  
А я сочиняю письмо, и кажется мне,  
Ангел Смерти Малах Ха-Мовет получит письмо, а о чем,  
Ты прочитаешь через мое плечо.

“Пора подумать о смерти, — вот и думаю со вчера.  
Думаю, что пора, мой Ангел, пора.  
И та, что сидит рядом со мной, но лицом к луне —  
Не возражает мне.

Пора подумать о смерти, о ней самой.  
Где вы крылами машете, ждете, небось, письма.  
В халдеях моих тьма, Ангел мой,  
В халдеях моих тьма и тьма.

А смерти боюсь, мой Ангел, боюсь,  
Но еще молодец, и хозяйка со мной проста.  
Ах, крылья ваши шумят и по небу бьют.  
И темнота.

Откуда летят облака бесшумно давить холмы.  
И не слушают слов моих гости в доме моем.  
Или не понимают меня — и тогда где это мы?  
И что будет с нами потом?”

А надо бежать, так надо ль решать — куда?  
Куда евреи прошли, и никто не пришел назад.  
Даже если вернусь — я не узнаю свой сад  
В городе, в который я не вернусь никогда.

“Моше Рабейну, — скажу я, — Моше Рабейну, а нам не пора ли  
домой?”

Но мы отвлеклись, душа моя, итак, письмо:  
“Прилетайте, соскучился, Ангел мой.”  
А росчерк получится сам собой, как и все получилось само.

И уж если по росчерку на краю листа  
Не разобрать, что в халдеях моих тьма —  
И в черной халдее тьма, и в белой халдее не видать ни черта —  
Вина мне налей, и выпей со мной сама.

## ВЕЧЕРНЕЕ ПЬЯНСТВО В ХАЙФЕ

Тень наливает виноград  
На сумрачных горах.  
Стоит нетрезвая пора,  
Нетвердо дни стоят.  
Еще глоток — и ночь сама —  
Еще один глоток —

И сдвинуть два ночных холма —  
В ущелье брызнет сок!  
По кругу гроздья распустя —  
Кисть сдавлена в кисти!  
И на раздавленных кистях  
Соски рвались цвести!

Евреи, бороды задрав,  
Евреи, охмелев,  
Луну, зашедшую с утра,  
В воловий тянут хлев,  
И опрокинув на себя  
Бесстыдную луну,  
Свое бессилье теребят,  
Свое бессилье мнут.  
Потом танцуют от любви  
С луною допьяна,  
Танцуют в розовой крови  
Вспененного вина.

А если пена на вине —  
Бродящее оно.  
Шатается по всей стране  
Бродячее вино.  
Вино пролилось по холмам,  
И, с потом пополам,  
Оно струится по телам  
И льется по телам  
В надутых венах до утра,  
Пока тела умрут.



И обезумев, бредит брат  
Взошедший на сестру.  
Крепчает виноградный сок,  
И пьянствует народ.  
И давят гроздь о висок,  
И сок стекает в рот.  
И капли ото рта ко ртам  
Сливаются, а там  
Течет по девственным губам,  
По жарким животам,  
Течет великий пот суббот,  
Дубящий небо пот,  
И обнаженный красный рот  
Трефной сосок сосет.

Танцует на вине душа,  
Ах, пьяная моя!  
Она вся в лунных лишаях  
А, впрочем, как и я.  
За добрый Ханаан — а ну!  
Еще глоток-другой!  
За душу пьяную одну  
И пламень голубой —  
Горит и руки холодит,  
И душу холодит,  
Сухой и синий невский спирт,  
Горячий невский спирт.

И пьян еврей, и пьян давно,  
В слезах сказавший мне,  
Что это страшное вино,  
Коль пена на вине.  
Еврей, ты пьян, ты просто пьян,  
Ты говоришь в бреду,  
Что семя выплеснет Онан  
Весною в борозду,  
И вол начнет луну терзать,  
В ее лицо дыша...  
Но что тебе в пустых слезах —

Ты спи, моя душа!  
А я из горлышка тяну,  
О сладкая страна!  
Еще один глоток вина,  
Еще глоток вина!  
Еще один глоток винца  
От Ханаана мне!  
И дотанцюю до конца  
На розовом вине.  
И на земли сухой клочке  
Засну – пускай струей  
Да подбежит вино к щеке  
Поцеловать ее.

---

**КНИГОТОВАРИЩЕСТВО  
"МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"**

*выпускает в 1978--79 гг.:*

- И. ГАРИК. Дацзыбао. Эпиграммы. Комические поэмы.** 200 стр.  
Цена \$ 6
- НАТАЛЬЯ РУБИНШТЕЙН. Евреи и русская литература.** 200 стр.  
Цена \$ 6
- МАЙКЛ ЭЛКИНС. Закаленные яростью.** 300 стр.  
Цена \$ 7
- ВЛАДИМИР МАРКМАН. На краю географии.** 150 стр.  
Цена \$ 6
- РАВ. АДИН ШТАЙНЗАЛЬЦ. "Суть Талмуда".** 300 стр.  
Цена \$ 9
- ИСААК ГИНДИС. ЯКОВ ЦИГЕЛЬМАН. "Еврейские повести".** 200 стр.  
Цена \$ 6
- ЮЛИЙ МАРГОЛИН. Тель-Авивский дневник.** 300 стр.  
Цена \$ 7
- ГИЛЕЛЬ ГАЛКИН. Письма американскому еврею.** 300 стр.  
Цена \$ 9

Заказы принимаются по адресу: Р. О. В. 23121. Tel-Aviv, Israel

ААРОН АМИР

МЕЧ И СКРИПКА  
(Окончание)

ЧАСТЬ ПЯТАЯ: И КАЖДЫЙ ПОСТУПАЛ ТАК, КАК СЧИТАЛ  
СПРАВЕДЛИВЫМ

Даниэль Элирам, разумеется, прочтет эти строки. Может быть, мой рассказ польстит ему, а может, заденет — мне трудно угадать. Пути наши разошлись больше тридцати лет назад, и с тех пор мы почти не встречались. Но как бы там ни было, я продолжаю.

Вспоминая прошлое, я вижу теперь, что на протяжении почти трех лет он был для меня не просто старшим товарищем и наставником. Он был образцом, по которому я строил свою жизнь. Я уже упоминал, что это именно он привлек меня в организацию. Чем больше я сближался с ним, тем ярче передо мной вырисовывался образ человека незаурядного, терзаемого сильными страстями. Он был честолюбив и не признавал никаких преград на своем пути, он был одинок и ревностно охранял это орлиное одиночество. Он сознавал свое предназначение и высокомерно презирал народ, толпу, мелкую буржуазию, филистеров, обывателей — словом всех, кто трусливо и покорно мирился с несправедливостью и избирал проторенные пути. Окружающие охотно признавали его власть. Авторитет его был непререкаем, он подчинял себе людей без всякого усилия и, не колеблясь, выносил свой приговор кому и чему угодно. Литература, искусство, музыка, общественные отношения, система воспитания — все подвергалось его суду. Он бывал жесток в своей иронии, но при этом всегда оставался изящным и блестящим. Бескомпромиссный и самолюбивый, он был абсолютно свободен — свободен в полном смысле этого слова — и сочетал в себе "великодушие и беспощадность гения" — по Жаботинскому. Прибавьте к этому ореол опытного и закаленного подпольщика. Даниэль казался мне воплощением мужества, и каких только самоотверженных поступков я ни приписал ему в своем воображении!

Начало см. в "22" № 2 (июнь 1978).

Отец его, детский врач, женился поздно и к тому времени успел превратиться в желчного деспотичного старика. Даниэль отвоевал для себя комнату на чердаке отцовского дома и провел в ней последние гимназические годы и еще год после окончания гимназии. Здесь он писал, рисовал, слушал музыку, читал и изучал "действительность". На этом его чердаке я познакомился с симфониями Бетховена, идеями Ницше, великими мастерами Ренессанса, прочел биографию Перси Биши Шелли. Наши беседы, которые были в основном монологами Даниэля, сильно расширяли мой горизонт — выражение банальное, однако в данном случае верное. Всю первую половину дня я, как правило, проводил в библиотеке музея старого Тель-Авива (здание это завещал своему городу мэр Тель-Авива Меир Дизенгоф; здесь впоследствии состоялась торжественная церемония провозглашения государства Израиль). Сидя в одиночестве в полутемной читальне. Я, как зачарованный, рассматривал репродукции картин великих европейских художников, от Джотто до Ван-Гога, и читал статьи об искусстве. Нужно сказать, что происходило это летом 40 года, когда Гитлер одерживал одну победу за другой. Именно в эти дни разразилась Дюнкеркская катастрофа, в Средиземном море начались первые стычки итальянского и английского флотов, шли бои в Западной пустыне, в Палестине не прекращалась борьба с англичанами и назревал раскол Эцеля.

Я вступил в Эцель учеником седьмого класса гимназии. Декабрьским вечером 38 года я поднялся на второй этаж городской школы на улице Калишер (возле рынка Кармель). Темнота в вестибюле, обмен паролями при выходе во двор и еще раз — при входе в главное здание оставляли впечатление крайней несерьезности всего происходящего. Ни о какой конспирации не было и речи. В освещенном коридоре на длинных скамьях сидели юноши, будто в очереди к зубному врачу. По одному мы проходили в классную комнату. Здесь молодой врач в очках, отпуская профессиональные шуточки, проверял состояние здоровья кандидатов. Некто рядом записывал данные на отдельные карточки и заполнял какую-то анкету. Потом меня провели в темную комнату, где, стоя против традиционного спящего фонаря, я поклялся в вечной верности организации и ее целям. Не помню слов клятвы, помню зато, что я был холоден и спокоен — фокус с фонарем уже был мне известен...

"Операции" и учения Эцеля казались мне более серьезными, чем

те, что проводились в молодежном отделении Хаганы. Командиры Эцеля выглядели щеголями, обожали военные церемонии, но при этом производили впечатление людей деловых. Правда, период моего пребывания в организации не ознаменовался никакими событиями. Миновало несколько месяцев, прежде чем меня вызвали на учения. Один-единственный раз, душным летним вечером, мы собрались в подвале дома глазного врача доктора Штейна на улице Гесса и при свете электрической лампочки по очереди разбирали и собирали пистолет. И еще несколько раз мы собирались по субботам в школе на улице Калишер. Потом нас распустили на "каникулы", возможно, потому, что в это время Эцель проводил свои наиболее серьезные операции, но может, и потому, что организацию постигло несколько тяжелых провалов из-за полного отсутствия конспирации. В результате полицейского налета на курсы командиров Эцеля были арестованы все тридцать девять слушателей. Их приговорили к длительным срокам заключения. Начало учебного года совпало с началом второй мировой войны. В тот же день, 1 сентября 39 года, в Тель-Авиве было арестовано все командование Эцеля. Правда, после подписания (при посредстве Пинхаса Рутенберга) соглашения о "прекращении огня" между мандатными властями и Национальной военной организацией, арестованные были освобождены. Соглашение это было одной из причин раскола Эцеля. В начале зимы, если память мне не изменяет, нас стали снова собирать в здании школы, а весной обозначились первые признаки внутреннего кризиса в руководстве. Причины его нам, щенкам подполья, были неясны, но результаты не заставили себя долго ждать. Вскоре нас всех, откровенно пренебрегая какой бы то ни было осторожностью, собрали в огромном дворе той же школы, и командиры с несвойственной им нервозностью принялись объяснять сложившуюся ситуацию и призывать к спокойствию.

Мне, семнадцатилетнему юнцу, было ясно, что я должен присоединиться к одной из двух вновь образовавшихся организаций — к Национальной военной организации Израиля (Пелег\*). Я понимал, насколько серьезен выбор, но весьма смутно представлял, в чем причина раскола и какими принципами руководствоваться при выборе. Как и другие члены моей "роты", я удостоился того, что обе стороны буквально ходили за нами по пятам,

---

\* Отделившиеся — в дальнейшем Борцы за свободу Израиля или ЛЕХИ.

разъясняя свои позиции. Те, что остались верны Эцелю, доказывали, что их большинство и что основная часть оружия, принадлежавшего организации, находится в их руках, несмотря на ряд преступных попыток Пелега завладеть складами. Как ни странно, эти доводы возымели на меня совсем обратное действие. Возможно, мне не понравился безапелляционный тон представителей Эцеля, а может, тут сыграла роль юношеская склонность к романтике, сочувствие слабым и отверженным. Я убедил себя, что, если люди Пелега в меньшинстве, значит, правда на их стороне. Окончательное решение я принял, когда в один прекрасный день возле общественного туалета на площади Маген-Давид меня поймал курьер Эцеля, смуглый, курчавый парень из нашей "роты", уроженец Триполи, и объявил, что Пелег взял ориентацию на Италию — и это сейчас, когда пала Франция! Пелег собирается предложить итальянцам свою помощь в изгнании англичан из Палестины. Я прикусил язык и ничего не ответил возмущенному товарищу, но сама идея показалась мне необычайно смелой и плодотворной — настоящей политикой! — и я понял, что путь Пелега — это мой путь.

Мне удалось связаться с одним человеком и при его посредничестве вступить в Пелег. Не было никакой церемонии, и я никому о своем поступке не сказал. Даниэль выбрал Эцель, о чем сам и сообщил мне. Я никак не отреагировал на его признание. С Элияху Бейт-Цуром я встречался за это время раз или два, но и с ним мы не касались темы раскола. Даниэль сказал мне, что Элияху остался "вне", не примкнув ни к тому, ни к другому лагерю. Многие поступили подобным образом, но я знал, что таким декларациям не следует особенно верить. Ведь я и сам уверял всех, что держусь в стороне. Уж насколько тесная дружба связывала нас с Даниэлем, но и ему я не доверил своей тайны. Более того, когда несколькими месяцами позже мы оба жили в Иерусалиме, в Старом городе — он в доме Тяяно, я в семье Дасы, — Даниэль как один из руководителей Эцеля считал своим долгом время от времени беседовать со мной о том, что происходит в организации. Я мотал на ус все, что он говорил, стараясь не проявлять при этом особого интереса, а потом слово в слово передавал все услышанное командиру своей ячейки в Пелеге, не испытывая при этом ни малейших угрызений совести.

Организация отколовшихся была тщательно законспирирована. Она делилась на маленькие ячейки — в каждой три члена и

командир. Члены одной ячейки знали друг друга только по кличкам. Несколько раз мы собирались в одной из двух комнат нашей квартиры на улице Мазе. Обсуждались главным образом правила конспирации. Иногда нам поручалась слежка за соперниками или сыщиками и полицейскими, иногда мы занимались "передачей информации". Беседуя с нами, командир старался не проронить ни единого лишнего слова, поэтому все, что он собирался нам сообщить, писалось на клочках бумаги, которые он извлекал из нагрудного кармана своей рубахи. Во время каждой встречи на столе стояла спиртовка, и прежде чем разойтись, мы сжигали эти листки. Потом, когда они уходили, я сметал пепел в мусорное ведро на кухне.

Переехав в Иерусалим, я присоединился к новой ячейке, в нее входили еще два студента первого курса. Один из них, Бен-Цион Миллер (теперь Тахан), холерный блондин из Реховота, выглядел настоящим англичанином. В течение зимы 40–41 года мы несколько раз встречались в его просторной квартире в Рехавии. Третьим в ячейке был парень несколькими годами старше нас, которому удалось бежать из оккупированной Польши и добраться до Палестины. Звали его Йехезкиэль (возможно, это была подпольная кличка). Бледный и хрупкий, в кепке, надвинутой на широкий лоб, с горящими глазами, он казался воплощением духовного начала. Рот его был плотно сжат, если он и говорил, то только шепотом. Печать смерти уже тогда лежала на его лице. Он умер от рака в сорок шестом году.

На тех встречах в Иерусалиме командир зачитывал нам "Четырнадцать принципов возрождения", которые были идейной программой Пелега, и подробно разъяснял каждый из этих принципов. Мы задавали вопросы, а командир отвечал. Я думаю, что ни он, ни мы не придавали большого значения точности формулировок. Иногда разговор касался дел нашей организации, операций, благодаря которым она снискала такую яркую ненависть всех слоев еврейского населения Палестины. Эту ненависть можно сравнить разве что с презрением, которым наградили членов Нили в годы первой мировой войны, когда выяснилась их шпионская деятельность. Нас учили, что такая революционная организация, как наша, не вправе выбирать средства. Мы собирали информацию о происходящем в лагере врага — сюда входили мандатные власти, полиция, сыщики, арабы, Хагана, Эцель — и передавали добытые сведения командиру. Расходились по-одному,

а если затем случайно встречались в городе или в университете, делали вид, что не знакомы. Лишь изредка искра тайного братства вспыхивала в наших глазах.

За все это время мне так и не пришлось принять участия ни в одной операции. Нам поручалось лишь привлечение в организацию новых членов, расклеивание воззваний и объявлений. Даже подержать в руках оружие не довелось ни разу. Между тем преследование нашей малочисленной организации усиливалось день ото дня. Связи ячеек с руководством и просто связи между членами одной ячейки все слабели, пока не прекратились вовсе. Тот же процесс, мне кажется, происходил тогда и в Эцеле, хотя, возможно, по иным причинам.

## ЧАСТЬ ШЕСТАЯ: КУЗНИЦА

Я чувствовал себя как птенец, который наконец-то выпорхнул из гнезда. Весь этот год — первый год моей свободы и независимости — я жил такой напряженной внутренней жизнью, что ни до, ни после мне уже не пришлось испытать ничего подобного. Принадлежность к преследуемой подпольной организации стала казаться мне странной и даже парадоксальной — ведь, по сути дела, это была моя единственная связь с внешним миром. “Принципы возрождения” не захватили меня настолько, чтобы мне захотелось подчинить все свое существование преданному служению организации и ее целям.

Мое отношение к занятиям в университете было еще более формальным и поверхностным. Правду сказать, я попросту не дорос к тому времени до университета. Хотя я и присутствовал на лекциях, делал конспекты и даже читал материал, который рекомендовали профессора, но ни сердце мое, ни разум не принимали в этом участия. Ни один, даже самый блестящий преподаватель, не мог расшевелить меня. Иврит нам читал доктор Иосеф Иоэль Ривлин, человек весьма остроумный, постоянно шутивший и сопровождавший свои лекции всякими забавными историями. Ивритскую литературу преподавал профессор Д. Ц. Бенат, лекции его текли медленно и спокойно, как воды широкой равнинной реки. Еврейскую социологию читал доктор Артур Руппин, социологию культуры — профессор Мартин Бубер (все, что он говорил, было абсолютно недоступно моему пониманию).



Новейшую ивритскую литературу читал профессор Иосеф Клаузер, человек сентиментальный и чувствительный. Когда он принимался дрожащим от волнения голосом описывать трагическую судьбу еврейских писателей прошлого века в царской России, на глазах его выступали слезы.

Оставаясь равнодушным к университетским дисциплинам, я в то же время испытывал жадный интерес к окружающей меня действительности, к людям, с которыми сталкивался, но в первую очередь к самому себе. Я пытался изложить свои мысли и чувства на бумаге и проводил за этим занятием все свое свободное время. В декабре 48 года в журнале "Листы", издаваемом каторжником литературного труда поэтом Ицхаком Ламданом, был напечатан мой первый рассказ "Зависть к смерти младенца". Рассказ предваряла краткая заметка, в которой говорилось о моем литературном призвании (я-то был уверен, что не нуждаюсь в такой рекомендации). Возвращаясь из университета в свою крохотную сырую комнатку в углу двора мясника Дасы, я усаживался за стол и принимался писать (не думая ни о каких публикациях). В маленькую записную книжечку я заносил свои мысли и ежедневные наблюдения. Помимо этого, существовала толстая тетрадь в черном переплете — дневник. Другая тетрадь предназначалась для афоризмов, аккуратно пронумерованных и касавшихся всего на свете — человечества, Бога, народа, литературы, искусства, истории, политики, взаимоотношений мужчины и женщины и так далее. На отдельных линованных листах я писал прозу — романы, повести, рассказы, эссе и — разумеется, для собственного удовольствия — стихи. Иногда даже длинные пророческие поэмы. Кроме того, я выписывал из хрестоматии все, что считал полезным запомнить.

В просторном высоком читальном зале Национальной школы на горе Скопус — зимой там протекала крыша, но зато летом было прохладно — я просиживал час за часом, глотая литературные журналы и альманахи за многие годы: "Послания", "Эпоха", "Весы", "Собрание", "Листы" и прочие. Один или два раза в неделю я брал книги домой и, забравшись в свою нору, жадно проглатывал все, что удавалось получить. Часто выбор писателя был чисто случайным — просто я брал все, что мне попадалось под руку и казалось любопытным. Причем я убедил себя и искренне верил, что прекрасно понимаю прочитанное.

Но больше, чем все эти книги, моему развитию способствовало общение с Даниэлем, которого я обожал и которому старал-

ся следовать во всем. В то время он изучал живопись в “Бецалеле”, и его просторная комната в доме Тяно вся была уставлена полотнами, над которыми он работал. В его картинах преобладали энергичные драматические краски, сочетания черного с красным, желтого с серым, писал он широкими смелыми мазками, и главной темой всех его картин была трагическая судьба художника. Глядя на них, я чувствовал себя полным ничтожеством. Та атмосфера, которую создавал вокруг себя Даниэль, сама по себе побуждала к творчеству и активному изучению окружающей нас действительности. Он тоже писал — и стихи, и прозу, которые в то время казались мне замечательными. Его рассказы были написаны теми же яркими, широкими мазками, с тем же ощущением трагичности существования, что и его картины. Страстные, энергичные, то возносящиеся на вершины радости и страдания, то вдруг низвергающиеся в пропасть отчаяния, они всегда изображали героические ситуации, острые конфликты, резкие, непримиримые характеры. Я должен признать (хотя и не без некоторого внутреннего смущения), что в значительной степени сформировался как писатель под влиянием своего друга. Он воспитал мой вкус, привил мне жажду творческой деятельности, на каком-то этапе послужил для меня, если только позволительно так сказать, стремянкой, взобравшись на которую я уже не оглядывался назад. В свое оправдание могу сказать, что чувства мои к Даниэлю были искренними, и мне никогда не приходило в голову взвешивать, какую пользу может мне принести это знакомство. К счастью (и стыду моему), он был не последним, кто послужил мне посохом на моем жизненном пути. Видно, так уж заведено в этом мире.

Но может быть, еще больше, чем чтение и литературные опыты и даже чем дружба с Даниэлем, обогатила меня в тот первый мой академический год окружающая действительность. Умудренный годами, многое повидавший (и по-прежнему ничего не понимающий), смотрю я сейчас на того щенка, которым был тридцать пять лет назад. Каждая клеточка в этом еще сонном и неповоротливом сознании жаждет видеть, слышать, усваивать, понимать, впитывать новые и новые впечатления. Я бродил по переулкам Старого города, который избрал своим пристанищем, и по улицам нового Иерусалима, и по горам и долинам за его пределами, вглядываясь в расстилавшиеся вокруг просторы и вслушиваясь в речь торговцев, лоточников, мясников, сапожников, пекарей,

рассыльных, носильщиков, чистильщиков обуви, торговцев "петушками", монахов, монахинь, погонщиков ослов и верблюдов, извозчиков, туристов, паломников, проводников, солдат, офицеров (семидесяти национальностей и языков), полицейских, шоферов, чиновников, сутенеров, детей, сестер милосердия, водозовов, крестьян, крестьянок, официантов, продавцов, бедуинов, возчиков, художников, торговцев книгами, переписчиков мезуз, студентов, пьяных, нищих, слушателей духовных семинарий, жестянщиков, сыщиков, служек и синагогальных старост, маляров, стекольщиков, продавцов благовоний, скорняков, гончаров, молочников, слепых, эпилептиков, сумасшедших, шулеров, дорожных рабочих, строителей, каменотесов, уличных фотографов, епископов, имамов, угольщиков, трубочистов, плотников, ремесленников, неторопливо плетущих табуретки на порогах своих мастерских, эфиопов, армян, суданцев, ассирийцев, хасидов, ешиботников, портных, парикмахеров. Я платил за место в зале суда на Русской площади и слушал вздорные тяжбы, бурные разбирательства, гражданские, уголовные и политические процессы, изучая повадки и язык судей и подсудимых, обвиняемых и обвинителей, адвокатов и свидетелей. Я заходил в церкви и синагоги, мечети и духовные училища, воровал под покровом ночи записки из щелей в Стене Плача и поочередно попадал под влияние различных "ловцов душ". Я ходил на встречи "Движения пробуждения" во внутреннем дворе Батей-Махсе, присутствовал на праздничной молитве среди развалин синагоги рабби Иегуды Хасида, простаивал рождественскую службу в церкви Рождества в Вифлееме, посещал собрания партий Мапай и Шомер ацаир, протискивался на концерты для безработных, присутствовал на собраниях коммунистов (тщательно законспирированных) и верующих (не нуждающихся в конспирации), принимал участие в политических дискуссиях в студенческом клубе, что возле кинотеатра "Орион". И все это, как правило, в одиночку.

Но выше всего этого — и всего дороже — было для меня окутывающее душу лимонно-розовое сияние иерусалимских стен, горение пурпурного заката, мерцание звезд в пучине ночных небес. Затаив дыхание, смотрел я с высоты горы Скопус на Храмовую гору, омывтую солнечными лучами и утопающую в послеполуденном мареве. Ненастными зимними ночами я любил следить за бегущими облаками и прислушиваться к свисту ветра и к звону колоколов в храмах. Часами я мог любоваться округлостью

бледно-розовых холмов Иудейской пустыни, матовой гладью Мертвого моря и синей стеной гор за ним. Я провожал взглядом стада коз, спускающихся с холмов, и месяц, движущийся по небу в сопровождении череды облаков. Счастливым и ненасытным, я впитывал стужу и пылание зноя, подставлял себя дождю и ветру, тощий и мокрый, шагал в бурю по пустынным улицам и смеялся от радости.

Мне приходилось довольствоваться малым и вести образ жизни в полном смысле слова аскетический. Я не смел покупать даже книг. Отец, который сам тогда находился в очень трудном положении, мог выделить мне на все мои потребности две с половиной лиры в месяц. 50 агорот я платил за квартиру. Второй статьей расхода были поездки в Тель-Авив, раз в три-четыре недели, обычно на поезде, 8 агорот в один конец. По несколько дней кряду я старался вовсе не выходить из своего жилища, чтобы тем самым свести на нет расходы и не гореть от стыда при случайной встрече с каким-нибудь приятелем. Я взял за правило расходовать не больше шестидесяти-шестидесяти пяти прутот в день. Этого хватало на скудную еду и пять-семь сигарет. Любой расход я тут же вносил в записную книжку и по вечерам подводил итог, проверял, не выбился ли я из "бюджета". Я не хочу сказать, что существовать на такие гроши было вовсе невозможно. Можно думать, что и другие студенты жили примерно так же.

Даже дешевая студенческая столовая на Хар-Ацофим была мне не по карману, поэтому обычно, я выбирался из дому в одиннадцать утра, когда открывалась маленькая харчевня на Керен Гамидан или на улице Иегудим. Тут за одну агору (самое большое — пятнадцать прутот) я получал дымящуюся миску вареного риса с фасолью, запах которого дурманил сознание и веселил желудок (вкус этой пищи я с благоговением вспоминаю до сих пор), и порцию цветной капусты (или зеленой фасоли, или баклажанов, смотря по сезону). Поев, я успевал к полудню добраться до вершины горы Скопус. Если же мне нужно было идти на утренние лекции, я старался набить брюхо плотнее, чтобы оно не слишком досаждало мне днем. Понятно, что я не позволял себе никаких прогулок и встреч, и сразу после занятий шагал домой, успевая по дороге купить хлеба, редьку, помидоры и маслины. Дополнял мой ужин стакан крепкого душистого чая, — Малка Даса, прекрасная моя хозяйка, присылала мне его в мою комнату с кем-нибудь из детей.

Четыре или пять раз в неделю я пешком взбирался на Гар-Ацофим. Чтобы добраться до Шхемских ворот, нужно было пересечь весь Старый город. Потом я шел по Шхемской дороге — мимо собора Святого Георгия, мимо синагоги Шимон Ацадик и мечети Шейх Джерах, пересекал вади Джоз и по горной извилистой тропинке, ведущей к пещере Никанора, выходил на вершину горы. Весь путь занимал сорок пять минут туда и сорок обратно. Часто бывало, что Элияху провожал меня до синагоги Шимон Ацадик, там он садился на девятый автобус и ехал в центр города, домой, к бабушке, а я продолжал свой путь к стенам Старого города. Иногда, если он не особенно торопился, мы вместе заходили к Даниэлю.

Я уже говорил, что у нас с Элияху основной специальностью были иврит и ивритская литература, поэтому мы почти всегда посещали одни и те же лекции. Помнится, привычка к конспирации заставляла нас не особенно афишировать нашу дружбу, и мы никогда не садились в аудитории рядом. Мне кажется, в наших отношениях присутствовала какая-то застенчивость. Я в душе считал себя сопляком и мальчишкой по сравнению с ним, опытным подпольщиком. Не от него самого, разумеется, а от того же Даниэля я знал, что Элияху, начиная с 38 года, занимает важный пост в организации. Даниэль не был склонен к откровенности и сердечным излияниям, но однажды он рассказал мне, как они с Элияху в той самой, так хорошо знакомой мне комнате на чердаке, летом 39 года сделали большую адскую машину (изготовление бомб и адских машин было для них привычным занятием) и, упаковав ее в плетеную корзину, на автобусе отвезли к шоссе Тель-Авив — Яффо, а там положили в машину Г., члена другой организации, по происхождению европейца, пробывшего всего несколько лет в стране, но с виду настоящего араба. Он доставил бомбу на рынок в Яффо, где она и взорвалась, убив десятки людей. (Это была одна из самых жестоких операций в рамках встречной террористической деятельности Эцеля, в ответ на еврейские погромы 36—39 гг.) Вместе с тем я считал тогда — в гордыне своей, — что интеллектуальное и духовное развитие Элияху не соответствует нашему уровню — моему и Даниэля. И лишь много позже мне стало ясно, насколько я ошибался.

Спускаясь по узкой извилистой тропинке из университета в город, мы болтали о том о сем, стараясь за шуточками скрыть неясную напряженность. Мы говорили о занятиях, о профессорах,

обсуждали положение дел на фронтах — пока еще достаточно далеких от нас, но почти никогда не заговаривали о политическом положении в стране.

Я помню, как мы в последний раз шли из университета в город. Был жаркий летний день. Мы говорили о том, что нас волновало, и, кажется, никогда еще наша беседа не была столь откровенной и задушевной. Тогда как раз “Национальные учреждения ишува” приказали еврейским высшим учебным заведениям отчислять всех студентов, отказывающихся записаться добровольцами в британскую армию. Обсуждая этот приказ, мы с Элияху пришли к общему мнению, что он направлен, возможно, и на то, чтобы нейтрализовать опасные силы воинственно настроенной молодежи. Потом мы обсуждали наше экономическое положение и поняли, что оно у нас обоих одинаково печально. Не было никакой надежды внести плату за обучение в университете (10 лир в год!). Элияху сказал, что пойдет работать. У него были знакомства в правительственном геодезическом отделе, и в пасхальные каникулы он уже работал в Шомроне. Хорошо заработал, а главное — здорово усовершенствовал свой разговорный арабский. Он успел рассказать мне кое-какие подробности о своей жизни в бригаде рабочих арабов. Вечерами у костра, разложенного на обочине дороги, он слушал рассказы, из которых почерпнул массу интересного как в смысле языка, так и житейской мудрости вообще. Вначале арабы приняли его в штыки. Но под конец они относились к нему с явной симпатией.

## ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ: КАК СУХИЕ ЛИСТЬЯ ПО ВЕТРУ

Летом 41 года мы оба — и Элияху, и я оставили учебу в университете, порвали со всякой подпольной деятельностью и в поисках заработка принялись странствовать по стране и “познавать жизнь”. Это было время тяжелейших боев в Западной пустыне, подавления восстания в Ираке, захвата Сирии и Ливана войсками союзников, нападения Гитлера на Советский Союз и ужасающего разгрома Красной армии. А у нас впереди был еще целый год совершенно спокойной и счастливой жизни. Элияху, как и собирался, устроился на работу в геодезический отряд и разъезжал с ним по стране, а я нашел, в конце концов, место в австралийском военном лагере в Джулис. Меня взяли маркировщиком в прачечную, которую содержала какая-то тель-авивская компания. Зарплата

моя составляла 3 лиры в месяц на полном пансионе. В конце каждого месяца полагалось три выходных дня. В обществе еще шести таких же маркировщиков я ставил несмываемыми чернилами номера на рубашках, кальсонах, майках и носках австралийским солдат. К концу месяца я добился таких выдающихся результатов, что, приехав домой на побывку, порадовал родителей не только превосходными австралийскими консервами (что было невероятной роскошью в то трудное, голодное время), но и сообщением, что мне повысили зарплату на целую лиру!

Через три месяца идиллия внезапно окончилась — тель-авивская компания прекратила свое существование. Я отправился в центральную контору в надежде вырвать свою последнюю зарплату, и тут получил заманчивое предложение от господина Адива Кназа, толстого и крепкого христианина-ортодокса из Хайфы, который открыл в том же самом лагере Джулис маленькую прачечную под названием "Экспресс". Господин Кназ явился ко мне домой и сказал, что он имел удовольствие наблюдать, как быстро и ловко я работаю, а главное, как я умею обходиться с австралийскими солдатами, и поэтому он просит меня пойти в его прачечную приемщиком с зарплатой 6 (!) лир в месяц. Я, разумеется, тут же согласился. Вскоре я был в самых лучших отношениях не только с солдатами, но и с офицерами, а также со всеми рабочими-арабами (это были жители южных районов — Бейт-Дараса, Фалуджа, Беер-Шевы). В их обществе проводил целые дни.

По прошествии месяца моя зарплата опять повысилась, и я бы: ни за что не оставил это место, если бы не выяснилось, что господин Кназ имеет на меня другие виды. Человек он был приятный и обходительный, но меня смущала его склонность делиться со мной своими эротическими переживаниями. В жарко натопленном бараче прачечной, наполненной паром и дымом сигарет "Вирджиния", под окном, с которого стекали водяные струйки, он тихим задушевным голосом сообщал мне все подробности и перипетии своей интимной жизни, начиная с того самого дня, как он достиг половой зрелости. В один прекрасный день он сказал, что такие чудесные отношения, какие сложились у нас с ним на протяжении всего этого времени, желательно было бы дополнить более близкой связью. Мой решительный отказ удивил его, он предложил повысить мне зарплату до десяти лир, но на следующее утро, с первыми лучами солнца, я собрал свои вещички и покинул лагерь Джулис навсегда.

Через неделю я снова был в дороге. Я узнал, что на крупной английской интендантской базе требуются служащие, знакомые с бухгалтерией и знающие английский язык. База находилась на южной границе, в Рафияхе. Первого марта 42 года я выехал в Рафиях и вместе с еще несколькими десятками претендентов явился в интендантский барак. Майор Бегли, рыжий англичанин с пышными усами, допрашивал какого-то бедуина и нескольких египтян. Насколько я понял, на базе произошла кража, и подозревали в ней этого самого бедуина. Кажется, бедняга попался с поличным на месте преступления. Поскольку сторонам никак не удавалось понять друг друга, я вызвался служить переводчиком. Когда подошла затем моя очередь для беседы с майором, он спросил, сколько языков я знаю. "Пять", — ответил я, не задумываясь. Какие? Иврит, арабский, английский (языки тогдашней Палестины, в которых я действительно был достаточно силен), русский и немецкий (до той самой минуты я никогда не предполагал, что владею ими). Майор тут же распорядился зачислить меня не рядовым чиновником, а старшим, что давало мне двенадцать лир в месяц вместо восьми (плюс полный пансион, разумеется).

Еврейские чиновники жили в специальном палаточном городке, расположенном в дюнах в одном из углов громадной базы. В каждой палатке помещалось восемь или десять человек. Отпуск нам полагался только раз в два месяца на три дня, зато каждую неделю мы кончали работу в час дня в субботу и отдыхали до утра понедельника. Весь этот долгий выходной день мы развлекались, как умели. В общем, грешно жаловаться — мы были сыты и довольны. Работа была хоть и однообразной, но не сложной.

Где-то в мире японцы одерживали победу за победой, немецкие парашютисты захватили Крит, вермахт оккупировал почти всю европейскую часть России. Города Англии и Мальты подвергались варварской бомбардировке, и все с тревогой ожидали возобновления боев в Западной пустыне. Ни у кого не было сомнения, что на этот раз англичан ожидает полный разгром. Оккупировать Палестину уже не составит труда — немцы могут двинуть свои войска сразу с двух сторон, с Крита и из Египта. Пожалуй, это был самый мрачный период всей мировой войны. Англичане, с которыми я сталкивался по работе, были подавлены и с хмурым цинизмом предсказывали дальнейшее развитие событий. Присущий им юмор совершенно исчез, сменившись тяжелой озбоченностью.

Для меня эти месяцы, проведенные на английской базе, оказа-



лись весьма полезными. Они помогли мне спуститься с высот “духовной жизни” на трезвую почву реальности и в значительной степени охладили мою прежнюю жажду приключений. Я отъелся после полуголодного студенческого существования, стал крепче и духом, и телом и вообще почувствовал себя значительно увереннее. Я понимал, что близится час последнего, решительного сражения — об этом свидетельствовало все происходящее в мире, и в стране, и в моей собственной душе, — но я не мог поручиться, что готов к этому часу. Я только знал, что вскоре — поневоле или своей охотой — мне придется распрощаться со своей “исключительностью” и “уникальностью” и впрячься в служение общему делу. Необходимость подчиняться порядку и дисциплине, то есть чужой воле, страшила меня.

Но прежде мне предстояло еще одно странствие. Один из моих сослуживцев-канцеляристов рассказал, что до поступления на базу он несколько месяцев проработал на строительстве укрепленных пунктов в Сирии и Ливане. Работа была интересная, и платили хорошо. “Если хочешь, — сказал он, — обратись в контору компании. Тель-Авив, улица Нахлат Беньямин”.

Между тем, подошел срок нашего первого отпуска. Кончился очередной рабочий день, и мы все отправились на маленькую пустынную железнодорожную станцию Рафияха. Поезд здорово опаздывал. Он прибыл уже в сумерках. Мы вошли в темный и тесный вагон, и паровозик потащил нас на север. В Лоде — “великолепном Лоде”, как его тогда называли — пришлось сделать пересадку. Только в полночь мы прибыли в Тель-Авив. Наутро я отправился на улицу Нахлат-Беньямин, в контору компании “Пельрод”. Вакантное место действительно нашлось — в Эмек-Айон в Ливанской долине требовался прораб на один из объектов. Зарплата 25 лир в месяц плюс питание, да к тому же еще верховая лошадь — для разъездов по делам службы. 1 июня я должен был прибыть в Джадиду и приступить к работе. Я тут же согласился.

На следующий день утренним поездом я выехал обратно в Рафиях и через несколько часов предстал перед начальством. Я сообщил дежурному сержанту о своем “горячем желании служить Его Величеству”, он расплылся в улыбке, приятным голосом выразил свою одобрение и быстренько оформил мне нужную бумагу. Потом он пожелал мне успеха и удачи на военном поприще.

Не заезжая домой, я отправился на север, в Метулу. Оттуда меня на машине отвезли в Ливан, и через двадцать минут я уже

был в Джадиде, в "еврейском поселке", где жили служащие "Пельрода" — инженеры, топографы, шоферы, бухгалтеры, кассиры, прорабы, дорожные рабочие и строители. Здесь возводились укрепления — на тот случай, если войскам воюющих придется обороняться от наступающей с юга германской армии.

Я провел в Эмек-Айон несколько замечательных месяцев. От окружающей нас красоты захватывало дыхание, я постоянно ездил с места на место, общался с самыми разными людьми. Обычаи и образ жизни коренного населения представляли собой пеструю смесь первобытности и современности. Мои товарищи по работе были люди молодые и веселые, отмеченные той особой печатью избранности, которая отличала тогда палестинскую молодежь.

И все же, летом 42 года я все бросил, распрощался со всеми и вернулся в Метулу. Положение в Египте было трагическим. Англичане непрерывно отступали, преследуемые танковыми частями Роммеля. Мы ежедневно получали газеты, и, читая их, я убеждался, что немцы вот-вот будут в Палестине. А тогда не миновать мне британской армии — я не видел другой возможности защищать страну.

На террасе гостиницы "Снега Ливана" меня ждал отец. Я написал ему о своих намерениях, и теперь он уговаривал меня повременить еще хоть немного с вступлением в армию. Вокруг нас на каких-то жалких обшарпанных чемоданах сидели семьи польских евреев, тех, кому удалось спастись от немцев. Измученные, раздавленные свалившимися на них несчастьями, они явно не собирались оставаться здесь, в Метуле, а дожидались в этом пограничном городке возможности перебраться в Иран или Индию, где их не сможет настичь Гитлер.

На следующий день пасмурным сырым утром (в самый разгар лета капал дождь) мы выехали в Тель-Авив.

## ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ: В ПУРПУРЕ

В Тель-Авиве я сразу же отправился к Даниэлю. Я нашел его лежащим в постели, что, впрочем, не мешало ему заниматься какими-то важными делами. Как выяснилось, в то время развернулась широкая кампания по организации интеллигентной молодежи (избежавшей призыва в британскую армию) во всевозможные кружки под громкими названиями — "Мощь", "Вознесенные", "Сноп" и тому подобное. Насколько я понял, в этих кружках

обсуждали в основном, каким образом и какими средствами служить народу. Но в тот раз, я помню, меня гораздо больше заинтересовал рассказ Даниэля об одном молодом скульпторе из выпускников нашей гимназии. Звали его Беньямин, а фамилию он успел переменить с тех пор, как я его знал, и назывался теперь Тамуз. Даниэль отзывался о нем, как об очень интересном и перспективном скульпторе. Тамуз принадлежал к весьма оригинальному идейному течению, идеологом которого был некто Уриэль Шелах.

С помощью Даниэля я встретился с Беньямином Тамузом и тотчас же был им очарован. Тамуз дал мне почитать верстку сборника произведений этого самого Шелаха. Начав читать, я уже не в силах был оторваться. Тут было все — мучившие нас проблемы (английская оккупация, взаимоотношения с арабами, наши внутренние трения, точный и яркий исторический анализ сложившейся ситуации и горячая вера в нашу избранность и призванность. Шелах утверждал, что в стране создается новая нация (первыми представителями которой мы и являемся) и новое общество, светское и открытое. Создание такой нации предполагает возрождение древнего еврейского народа и классической культуры. Но такое возрождение невозможно без отказа от всего наследия диаспоры и от всяких попыток отождествить себя с ней. Наибольшим внутренним препятствием на пути сплочения новой нации, по мнению Шелаха, является связанный с диаспорой сионизм, который будет постоянно тормозить развитие нового ивритского государства, если оно возникнет в наши дни.

Читая эти страницы (вряд ли хоть один экземпляр рукописи сохранился), я чувствовал, что приобщаюсь к великому откровению. Статьи Шелаха были для меня, как вспышка молнии, внезапно высветившая все пропасти и все вершины, открывшая передо мной такие горизонты, о существовании которых я и не предполагал. Я получил ответ на все вопросы, так долго мучившие мою душу и разум.

Я попросил у Беньямина, чтобы он дал мне почитать еще что-нибудь, написанное Шелахом. Некоторое время спустя он предложил мне книжечку стихов "Черный балдахин", выпущенную издательством "Литературные тетради". Автором сборника был некий Йонатан Ратош. Я удивился, но Беньямин объяснил мне, что это литературный псевдоним Шелаха. Выйдя от Беньямина и оказавшись на улице Монтефиоре, среди суеты душего, влаж-

ного тель-авивского полдня, я раскрыл сборник и на ходу принялся читать. Каждое стихотворение показалось мне драгоценным камнем, любовно отшлифованным и сверкающим всеми своими гранями. Иногда я останавливался и, как зачарованный, прислушивался к собственным ощущениям. Стихи пьянили, как старое вино. Я снова и снова перебирал листы тетради, не смея поверить, что вся эта красота, вся эта мощь действительно здесь, передо мной, в этих, таких обыкновенных, строках.

Через несколько дней, субботним вечером, в "орлином гнезде" Даниэля, состоялась моя первая встреча с Уриэлем. Ему было тогда тридцать четыре года. Он вошел, худощавый и подтянутый, в легком черном костюме, снял с бритой головы пробковый шлем цвета хаки и сел к столу. Даниэль вышел, оставив нас наедине. Четыре часа, с восьми вечера до полуночи, мы беседовали при резком свете голой электрической лампы. За окном стояла черная, душная летняя ночь. Так родилось наше движение кнаанитов.

В нашем арсенале не было ничего, кроме идеи. Следовало прежде всего привлечь сторонников, которые стали бы апостолами этой идеи и понесли ее в "народ". Нужно было найти дорогу к сердцам молодежи, ослепленной идеалами сионизма и активно действующей в рамках различных сионистских организаций. В каждую из таких организаций и кружков мы надеялись внедрить своих людей, которые станут пропагандистами нашей "ивритской идеи". В дальнейшем мы собирались произвести внутреннюю, бескровную революцию в этих организациях, и превратить вооруженную борьбу за освобождение страны в революционно-патриотическое ивритское движение. Еврейское оружие следовало поставить на службу ивритскому национальному сознанию. И тогда, после изгнания англичан, здесь возникнет государство новой ивритской нации, символизирующее полное освобождение и сплочение всей страны Палестины.

И вот Беньямин Тамуз и Ицхак Данцигер начали свою миссионерскую деятельность в рядах Пальмаха, Даниэль отправился в тренировочный лагерь боевого кружка "Сноп" в кибуце Афиким, а девятнадцатилетний Аарон Амир решил записаться в охрану еврейских поселений или еще лучше — в Иерусалимский батальон, где собралось много талантливой интеллигентной молодежи, способной воспринять слова откровения.

Разумеется, первым, с кем я собирался поговорить по прибытии в Иерусалим, был Элияху Бейт-Цури. Я записался на курсы

еврейских полицейских, которые были расквартированы в школе "Альянс", и в ближайший же свободный вечер договорился встретиться с Элияху в кафе "Стамбул", расположенном на шумном перекрестке улицы Яффо и переулка Валиро. Мы с Элияху проговорили часа полтора, и я передал ему верстку того самого сборника, который недавно так потряс меня самого. Сборник существовал всего в двух или трех экземплярах, но мы старались дать его на прочтение \*каждому потенциальному кандидату. Вскоре я получил сборник обратно, и смог доложить Уриэлю, что Элияху уже с нами. Потом состоялось их личное знакомство.

Я помню, что еще в самом начале нашей беседы у меня сложилось впечатление, что Элияху воспринимает мои слова как нечто естественное и само собой разумеющееся, как я сам воспринял недавно слова Тамуза. И в то же время мне показалось, что для него наша идея не была чем-то совершенно новым и неожиданным. Теперь-то я знаю, что меня опередил Узи Орнан, младший брат Уриэля и друг детства Элияху, который с шестнадцати лет, после взрыва в подпольной мастерской, во время которого его ранило, вынужден был постоянно прятаться и скрываться.

Элияху к тому времени снова вошел в Эцель и занимался на курсах командиров. Позже он стал инструктором организации в Иерусалиме. Но вскоре он окончательно разочаровался в Эцеле. Тогда-то, вернувшись в Тель-Авив, он стал инициатором "частного" плана похищения британского верховного комиссара на Ближнем Востоке лорда Мойна. План разрабатывала четверка друзей, бывших одноклассников гимназии "Бальфур". Каждый из них в какой-то период своей жизни был членом Эцеля. В эту четверку входили Элияху Бейт-Цури, Узи Орнан, Давид Данун и Амихай Паглин (он стал потом командиром оперативного отдела обновленного Эцеля, возглавляемого Менахемом Бегином). Попытки похитить или убить Мойна начались еще в 41 году. Кто только в них не участвовал! Планы такой операции разрабатывались в штабах Эцеля, Хаганы, а также, недолго просуществовавшей организации Борющийся народ. Осуществить это покушение мечтали различные молодежные отряды и просто одиночки. Но, пожалуй, никто не занимался подготовкой к нему так упорно, как Элияху Бейт-Цури. Видимо, идея нападения на верховного комиссара занимала его и тогда, когда в конце 43 года он вступил в организацию Лехи. В это время она вновь широко развернула свою деятельность после удачного группового побега ее членов

из тюрьмы в Латрунне. В августе 44-го, незадолго перед тем, как отправиться в Каир, Элияху вместе с еще несколькими товарищами поджидал машину верховного комиссара на выезде из Иерусалима, у подножья Гив'ат Шауля.

В тесном кругу друзей мы никогда не сомневались, что Элияху "свой", и все-таки привычка к конспирации заставляла и его, и нас вести себя осторожно и не касаться щекотливых тем. Время от времени мы вынуждены были обращаться к нему, чтобы что-то выяснить, но чаще наши встречи носили случайный характер. Одна из последних таких встреч произошла летом 44 года на улице Алленби, возле исполнительного комитета Гистадрута. Мы обсуждали какие-то вопросы, касающиеся издания брошюры "Вступительное слово на заседании комиссии по сплочению ивритской молодежи". Съезд проводился в один из выходных дней марта 44 года на квартире Беньямина Тамуза. Элияху, конечно, был приглашен, но до последней минуты никто не знал, придет ли он. В конце концов, он, видимо, решил избежать необходимости заводить новые знакомства (он и так был уже слишком хорошо известен в нашем кругу). Помнится, однажды он сказал:

— Я всегда душой с вами, но ведь я еще должен бросать бомбы...

Отчасти в силу реальных причин, отчасти же из-за той нервозности, которая постепенно все больше овладевала нами, поскольку мы постоянно жили в ненадежном и враждебном окружении, мы стали болезненно подозрительны и осторожны. Никому из нас не пришло в голову спросить, почему Элияху не явился на этот съезд, который как бы подводил итог двухлетней напряженной работе. Мы знали, что в подполье есть люди, разделяющие наши идеи и взгляды, но до того момента, пока англичане не покинули страну, они не приходили к нам. Многие даже всячески отмежевывались от какого бы то ни было знакомства с нами. Только двое-трое из нас знали об их существовании и об их (столь тщательно скрываемых от всего мира) взглядах. Я думаю, что даже сейчас, по прошествии тридцати лет, они не позволили бы мне назвать их имена. Впрочем, Бог с ними, пусть живут, как знают.

Последний раз в этой жизни я встретил Элияху осенью 44 года. Мы столкнулись, выходя со второго вечернего сеанса в кинотеатре "Радостный сад" (этот кинотеатр под открытым небом тель-авивцы до сих пор вспоминают с нежностью). Война уже отодвинулась от нашего района, и на улицах снова загорелись ог-

ни. (Я был в обществе одного молодого бездельника и подруги моего детства, Раи, смешливой и приветливой девушки.)

Не помню, что за фильм мы смотрели, но помню, что он был ужасно смешной. Кажется, в нем играл Миша Оуэр, великолепный комик (русский по происхождению), который умел в любой ситуации сохранять серьезное, даже угрюмое выражение лица. Глядя на него, зрители падали со смеху. Люди выходили из кинотеатра, продолжая хохотать и напоминая друг другу только что услышанные остроты.

В воздухе уже ощущалась приятная осенняя прохлада, и счастливые улыбки засияли на наших лицах, когда мы с Элияху заметили друг друга. Он был в обществе той самой девушки, которая несколько дней спустя проводила его на поезд в Реховоте. Оттуда в форме английского солдата он отправился на свое последнее "дело", в свой последний путь... Мы обменялись приветствиями и несколькими, ничего не значащими, фразами. Он сказал, что много работает, переводит рассказы Сарояна (он очень любил этого автора). Мы попрощались и разошлись в разные стороны.

Спустя три года моя приятельница Рая вышла замуж за Даниэля. Они совершенно случайно поймали меня на улице — им требовался свидетель для регистрации брака.

А тогда, тем замечательным осенним вечером, мы были еще совсем молодыми, и лорд Мойн еще не был убит, и Элияху стоял передо мной живой и улыбающийся в тени высоких деревьев, которые служили стенами кинотеатра "Радостный сад". Таким я вижу его и теперь. Таким я буду помнить его всегда...

В пятницу шестого ноября я услышал по радио, что два палестинских террориста убили в Каире лорда Мойна и его шофера. Оба схвачены полицией после перестрелки, в которой один из них был ранен. Раненый назвался Моше Зальцманом.

Меня будто током ударило. "Ведь это Элияху", — подумал я неизвестно почему.

Я работал тогда в тель-авивской газете, издаваемой Объединением общих сионистов. Называлась она "Время" и доживала свои последние дни. В полдень я обычно направлялся в клуб журналистов на бульваре Ротшильд посмотреть газеты, повидаться с коллегами, послушать сплетни. В воскресенье восьмого ноября я явился туда около часа дня и принялся, как всегда, за газеты. Спустя несколько минут в читальный зал ворвался Исраэль Гинз-

бург из газеты "Утро". Лицо его пылало, он был взволнован.  
— Это парень из Тель-Авива! — закричал он с порога. — Это Элияху Бейт-Цури! Сын почтового служащего!

Мне пришлось изо всех сил сжать челюсти, чтобы на застонать. Все, кто находился в комнате, забыли о своих газетах и бросились к Гинзбургу выяснять подробности. Я один не двинулся с места. Я не мог встать.

Потом все же я поднялся и вышел на улицу. Не знаю, сколько времени я бродил, не чувствуя и не слыша ничего, кроме стука крови в висках.

Процесс Элияху Бейт-Цури и Элияху Хакима начался 18 января 45 года. 18 января оба они, по приказу британских властей, были приговорены египетским судом к смертной казни. Утром 23 марта приговор был приведен в исполнение.

В своем последнем слове Элияху Бейт-Цури сказал:

— Было бы неправильно думать, будто мы представляем здесь сионизм. Отнюдь нет. Мы — сыновья Канаана и его естественные хозяева, обязанные добиться освобождения нашей родины, захваченной чужеземными властителями.

Мы, небольшая кучка кнаанцев, читали эти слова в газетах и понимали, к кому обращался Элияху в своей последней, прощальной речи. Даже перед лицом смерти он хотел быть полезным нашему делу.

## ЭПИЛОГ: НАШИ ДЕЛА

Наши дела значительнее нас,  
без них — мы лишь сухие листья, летящие по ветру,  
лишь тающая дымка прозрачных белых облаков.

Лишь в них — весь смысл нашей жизни.

Без них — мы ничто.

В них — наше величие.

Эйн-Керем, октябрь, 1975 г.

*Перевела с иврита  
С. Шенбрунн*



## НА КРАЮ ГЕОГРАФИИ

Где это? — подумает читатель. Но название это не выдуманно. Так порой отвечают бывшие заключенные, вернувшиеся из Сибири, на вопрос: “Где был?”

х х х

На стол с размаху шлепнулась муха, резкими перебежками стала приближаться к стопке бумаги, останавливаясь, потирая лапки, как пьяница перед стаканом водки в холодную погоду. Я обнаружил в ней массу интересного, как-то незамеченного за предыдущие тридцать лет с лишним. Еще бы, ведь это первое живое существо за последние три дня. Следовательно не в счет — он существо неживое, он лишь элемент системы, состоящей из стен, решеток, лязга затворов и вони параши. Муха взлетела, так и не добравшись до бумаг. Я наблюдал за ней и вдруг уперся взглядом в зеркало в углу, — там я увидел кое-что поинтереснее, чем муха. Это кое-что представляло из себя измятое страшилище со свалывшимися в войлок волосами, воспаленными глазами и бордово-землистой кожей. Пока я соображал, испугаются ли меня вороны, если я в таком виде буду работать огородным пугалом, следовательно достал из стопки лист бумаги и сочувственным голосом спросил:

— Как же это вы дошли до жизни такой?

Дошел я до такой жизни всего три дня назад. Два милиционера остановили меня на вокзале и предложили зайти в железнодорожное отделение милиции для выяснения какого-то недоумения.

Потом пришли два сотрудника КГБ, при них меня заботливо обыскали, забрали ремень и шнурки от ботинок: чтобы не повесился сдуру (а то ведь, если советская власть не позаботится,

никто не позаботится), — и заперли в полутемную вонючую камеру. Был последний день апреля — время еще холодное на Урале, и сквозь разбитое стекло заползала злая, промозглая сырость. Я завернулся в плащ, согревавший не более, чем вуаль, и лег на жесткие тюремные нары, кишевшие клопами. Наступила моя первая тюремная ночь — с шорохами, случайным лязганьем замков, звоном ключей, тяжелыми вздохами и туберкулезным кашлем из соседних камер. Казалось, ей не будет конца. Но утро ворвалось в камеру победными звуками первомайских фанфар. Толпа демонстрантов с гомоном и смехом проходила мимо железнодорожной тюрьмы. Потом они, вздымая знамена, с криками ура пройдут площадью Пятого года, мимо Ленина, застывшего с протянутой рукой, и направятся дальше, к главной тюрьме города, там демонстрация закончится, знамена и транспаранты погрузят на машины, и толпа разбредется по домам.

— Вот, — ворковал следователь, — заявление на вас. Телефонный разговор с Израилем помните? Три недели назад? — он протянул мне бумагу. — Вот заявление телефонистки. Она пишет, что, когда слушала ваш разговор, ее возмущало, что вы выражались нецензурной бранью. Видите, она дальше пишет, ей кажется, что брань была обращена либо к ней, либо к телефонисткам станции. Ну, и нас это тоже возмущает. Так что распишитесь, что обвиняетесь в злостном хулиганстве.

— А вот, — следователь достал второй лист, — распишитесь: вы обвиняетесь в распространении заведомо ложных, клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй.

Возвратившись в камеру, я в злобе заколотил по толстой кирпичной стене, но в ответ не отлетело даже слабого звука. Никто ничего отсюда не услышит и ничто сюда не донесется, кроме победных фанфар.

И время остановилось. День сменялся ночью, ночь днем... Единственно яркое впечатление за сутки — когда выводят сливать в уборную парашу. Но это всего лишь минута, надзиратели торопят, а потом опять с лязгом захлопывают двери, и время снова застывает неподвижно.

Следствие по моему делу заканчивалось. Закончились очные ставки. На одной из них действующим лицом был бортпроводник Иткин — еврей, внештатный сотрудник милиции, который даже не скрывал свою связь с органами и по тупости написал об

этом в своих показаниях. Следователь не обратил на это внимания, — ведь Иткин показания давал сначала в КГБ, а не в милиции. Очная ставка протекала примерно так.

— Говорил ли вам подследственный, что в Советском Союзе нет демократии? — спрашивал, не улыбаясь, следователь.

— Да, да, он говорил, что демократии нет, — соглашался Иткин.

— А где он это вам говорил?

— Он мне говорил это наедине.

— А говорил ли он вам, что в Израиле демократии больше, чем у нас, и все евреи должны ехать в Израиль?

— Да, да, говорил, — послушно отвечал Иткин.

Следователь записывал в протокол.

— Правду ли говорит гражданин Иткин? — обратился ко мне следователь, и лицо его сделалось участливым и добрым.

— Как вы можете записывать такую чушь? — спросил я.

— Значит, вы считаете, что это неправда? — на лице следователя такое недоумение, как будто он обнаружил, что по пьянке обнял в темноте вместо родной мамы еврейского раввина. — Но зачем гражданину Иткину лгать? Он только что сказал, что никаких личных счетов у вас с ним нет и он к вам никакой вражды не испытывает. Да и вы признали, что у вас не было никаких ссор. Иткину нет смысла лгать. Вот видите! Мало того, что вы агитировали евреев выезжать в Израиль, вы и здесь себя нехорошо ведете. Не осознали. Честный человек тут рассказывает все, как было, а вы вместо того, чтобы добросовестно во всем признаться, изворачиваетесь, пытаетесь опорочить свидетеля. Стыдно!

По тону допросов чувствовалось, что власти решили поскорее закончить дело. Под конец следователь совсем распался, кричал, что мои друзья устроили в Англии какую-то неприятность у советского посольства, и я впервые ощутил защиту перед властью беззакония. Потом он объявил, что завтра состоится суд. Суд был продолжением беззакония. Ни телефонистка, ни Иткин ни на один мой вопрос не могли разумно ответить. Телефонистке, впрочем ее роль была неприятна, она и не старалась искать объяснений. Вместо нее выступал судья, который рычал, как охранник, что вопросы не по делу. А вот Иткин вел себя по-дурацки и просто отказался в конце концов отвечать на мои вопросы. На суде статья “злостное хулиганство” была переключена

фицирована в "хулиганские действия". Статья "разжигание национальной розни" не была применена вообще, но зато по антисоветской статье приговорили к трем годам строгого режима, что является нарушением уголовного кодекса: строгий режим дают только лицам неоднократно судимым, а меня привлекали к суду в первый раз. Итак, три года лагерей с уголовниками-рецидивистами.

Вспомнились мне крокодиловы слезы школьных учителей, рассказывавших, как царь помещал коммунистов в тюрьмы с уголовниками, чтобы сделать наказание более тяжким. "Нигде в мире, — утверждал учитель, — не применяли к политическим более жестоких мер".

Только в России. Только к коммунистам. Только коммунисты. Только в России.

х х х

После суда заключенного сразу же переводят из следственной камеры в камеру осужденных. Задерживаться в старой камере не дают ни минуты.

И вот с "детским" сроком впереди и матрацем за спиной я зашагал в сопровождении надзирателя в камеру осужденных. Все двери в коридоре были настежь, но дверные проемы забраны толстой решеткой, из-за которой меня внимательно разглядывали наглые, злые рожи бритых оборванцев. Меня запихнули в одну из вонючих камер.

Комната была около сорока метров, а находилось в ней человек пятьдесят. Они валялись в неопределенного цвета тряпье на трехъярусных нарах. Обстановка напоминала сумасшедший дом. Картежники резались в карты и то и дело били друг друга рожи. Какие-то "интеллектуалы" предпочитали шахматы. Победителя со злости лупили по голове доской или фигурами, которые были изуродованы накалом страстей. Из всей этой массы выделялся один — маленький, худой, с изможденным лицом старого лагерника. Он то и дело подходил к решетке и хорошо поставленным голосом, очень похожим на голос знаменитого диктора Левитана, декламировал: "Внимание, внимание! Говорит Москва. Передаем сообщение ТАСС. Лярова Кларка из Березников откусила Андропову ухо. Начальник свердловской тюрьмы шлет ему искреннее соболезнование и пожелание успехов в работе.

На этом мы заканчиваем сводку сообщений. Передачу вел диктор московского радио Дурак". Или: "Внимание, внимание! Говорит Дурак! Работают все радиостанции Советского Союза!" Он пародировал зачин, которым Левитан начинал передачи правительственных сообщений о запуске космических кораблей. Шла такая неприличная и веселая галиматья, что вся тюрьма животики надрывала от смеха.

Уже позже, проснувшись как-то раз — не помню, ночью или днем, ведь в тюрьме они почти не отличимы, — я при тусклом свете единственной лампочки увидел его перед собой. Жестокое лицо вечного каторжника, пронизывающий, неподвижный взгляд, землисто-серая кожа, лохмотья на татуированном теле...

— Послушай, — вполголоса сказал Дурак, — я вижу, ты один здесь понимаешь в законах. Как думаешь, есть у меня возможность свалить в лечебницу для алкашей? У меня вообще-то уже есть пять лет, но есть и справка эксперта, что я алкоголик. — Он показал мне свой приговор. — Мне обязательно нужно туда свалить. Здесь приходится играть дурака — доносчиков знаешь сколько? Сейчас мне шьют труп. Если докажут, что это я — тогда вышка\*.

Я пытался разглядеть хоть какие-нибудь чувства на лице человека, которому мог быть вынесен смертный приговор. Но Дурак лишь скривился презрительно и злобно, просто как от очередной неприятности в своей звериной жизни.

— Почему обязательно вышка? — спросил я.

— Вышка, — уверенно подтвердил Дурак. — А что еще может быть? Это же не первое убийство. Да и вообще, чего ждать от такой падлы, как я? Будь я на месте этих юристов, я бы спалил всех, кто сидит на особом и строгом режиме. Всю эту падаль спалил бы.

— Сколько ты всего отсидел?

— Я всю жизнь сижу, — ответил Дурак. — С детских лет. Мне сейчас под сорок, из них двадцать пять лет отсидел. То в лагере срок добавят, то на свободу немного выскочишь. Ну, а со свободы опять в тюрьму. Разве можно жить на свободе?

— Ну почему же? — возразил я. — Устроился бы на работу. Хоть какие ни есть — а деньги.

— Работа! — раздраженно сказал Дурак. — Я вот сейчас вышел.

---

\* Высшая мера наказания — расстрел.

Думал, хватит — надоело по лагерям да по тюрьмам шататься. Поступил на ВИЗ, на прокатку. Знаешь, что это такое?

Да, это я знал. Был на экскурсии на заводе. В цехе прокатки экскурсанты не могли простоять и пяти минут. Едкая гарь разъедала глаза. Стоял оглушительный грохот прокатных станов. На расстоянии нескольких метров с трудом можно было разглядеть, как между двух валков продавливали раскаленный красный лист железа. Рабочий хватал его клещами и забрасывал между крутящихся валков другому, который с противоположной стороны подхватывал этот лист такими же клещами и бросал обратно в стан, и так продолжалось, пока не получался тонкий лист. Работа была тяжелая и опасная: зазеваешься — раскаленный лист упадет на ноги. Здесь дня не проходило без травмы. Только бывшие заключенные соглашались на такую работу, лучшей им все равно не найти. Но в последнее время не шли и они, предпочитали тюрьму. Поэтому местная власть намеревалась перестраивать завод. Коллега по работе рассказывал мне, что, когда он захотел успокоить рабочих своего цеха, раздраженных низкой заработной платой, он повел их на экскурсию на ВИЗ — после этого целый год рабочие не заикались о повышении расценок.

— Да и как жить волку среди людей? — спросил Дурак. — Напешься — побьешь кого-нибудь или зарежешь, ведь нормально уже никогда не будешь жить.

Дурак вдруг отвернулся от меня и подбежал к решетке. В коридоре молоденькая заключенная мыла пол. Эски столпилась, жадно ее разглядывая. Девушка, заметив, что надзиратель не следит, подошла к решетке. На лице ее отразилась какая-то странная смесь страха и бесстыдства.

— Сигареты есть? — прошептала она.

— Есть, — сказал Дурак и протянул сигареты так, чтоб она могла их достать, только просунув руку в решетку. Едва ее ладонь очутилась в камере, эски притянули ее за руку к решетке и кинулись жадно ощупывать. Девица заорала благим матом. Сбежались надзиратели. Эски надрывались от смеха. А девица, которую уже оттащили, прижалась к противоположной стене коридора, дрожа от ужаса и отвращения. Дверь закрыли, и в камере стало невыносимо душно. Стояла жара, да еще все курили махорку — не продохнешь. А Дурак уже вещал с верхних нар у окна, закрытого железным козырьком:

— Внимание, внимание! Передаем сообщение ТАСС. Запущен космический корабль. Корабль пилотирует известный космонавт-рецидивист Дурак. Настроение у Дурака хорошее. Все его приборы работают отлично. На Землю Дурак возвращаться вообще не собирается. На радостях он сдуру поет свою любимую песню “Веришь, дешевка, будешь кушать шпроты”.

Я заговорил с ним как-то о лагерях. По его подсчетам, в Свердловской области их около ста, причем большинство строгого и особого режима, то есть для рецидивистов.

— Как же получается, — спросил я, — что рецидивистов значительно больше, чем людей с первой судимостью?

— Очень просто, — ответил Дурак. — Человек, попавший в эту систему, уже никогда из нее не выходит. Даже те, кто случайно попал в тюрьму — ну, скажем, шофер какой-нибудь сбил человека или еще чего, — он уже не нормальный человек. Выйдет — и обязательно снова попадет. Он уже здешний, никуда не денется.

Дурак перечислил лагерь за лагерем, давал каждому несложную характеристику.

— Если повезут тебя на “командировки” поблизости — это ничего. Правда, народ там все ссученный. Но работа не такая уж тяжелая. В северных лагерях — все лесоповал. Дорога туда нехорошая — по реке на баржах, в трюмах. Как запрут в трюме — так и везут две-три недели, света Божьего не увидишь. Ну, и бла туют там, конечно, — не все выходят живыми из трюмов. Там надо быть с духом. Иначе, гляди, зарежут.

— А ты не боишься блатных? — задал я наивный вопрос.

Дурак искренне удивился:

— Я? Да я блатных палкой гоняю. — Он перешел на рык. — Чтобы меня кто тронул? Да эта сука места себе не найдет на земле.

х х х

Распределение на этап шло ночью. Тусклую камеру до отказа забили уголовниками. Здесь, в пересылке, собралось отребье со всех концов европейской России и Урала — их гнали на восток, в Сибирь. Пристально оглядывали друг друга, определяя волчьим нюхом, кого можно обобрать, а кого следует бояться. В углу кто-то варил чифир — кружка воды на пачку чая. Свежему человеку этот напиток показался бы просто противным пойлом. Но если пить чифир постоянно, да на голодный желудок, да еще за-

курить при этом, слегка пьянеешь и совершенно притупляется чувство голода.

Чифир кипятили, разогревая кружку подоженной тряпкой, закрученной в жгут. Камера наполнилась ядовитым дымом. Открылась кормушка в двери, и женщина-надзиратель, матерясь по-лагерному, пригрозила изолятором, если не прекратят. Не помогло. Кормушка закрылась. Несколько счастливых обладателей чифира попеременно отпивали по два глотка, передавая друг другу драгоценный напиток. Камера с завистью смотрела, но подойти никто не решался. Еще бы!

В этапке чифир могут себе позволить только избранные. Среди них выделялся один, по виду армянин. Аккуратная борода придавала ему почти интеллигентный вид; дорогой, теплый свитер, меховая шапка и новые ботинки бросались в глаза на фоне грязно-серого, одетого в лохмотья сброда. Армянин не казался похожим на уголовника, и я удивился: как это он сюда попал. Я еще не знал, что хорошо одеты на этапах только те, которые терроризируют остальных, раздевают их и обыгрывают в карты.

Около часа ночи стали вызывать по фамилиям в соседнюю камеру: назови статью, срок, раскрой мешок, — но обыскивали поверхностно: все равно в ночной спешке найти бритву, деньги и наркотики у такой публики почти невозможно. Дали три буханки черного и пакет протухшей кильки.

— Паек на три дня, — объявил офицер. — До Красноярска.

По высоким ступеням я взобрался в “столыпин” — специальный вагон для перевозки заключенных. Он похож на обычный купейный вагон, только вместо дверей — решетки от пола до потолка. Окон, конечно, тоже нет. И помещается в каждом “купе” не четверо, как в пассажирском вагоне, а 25—30 человек.

Сверху донизу решетки были залеплены притиснувшимися к ним звероподобными рожами стриженных эзков. Они, как псы, скалили зубы и что-то орали каждому входящему. В вагоне стоял оглушительный рев. Я попал вместе с армянином в тройник — купе меньше обычного, с тремя полками одна над другой. Но затолкнули нас восемь человек, так что двое улеглись на верхних полках, а шестеро — на одной нижней. Всех запихали, против каждого отсека встал вооруженный охранник, и поезд тронулся.

Конвой состоял из узбеков, казахов, таджиков — словом, из тех, кому не жалко стрелять в русских. (В южных республиках конвой состоит из русских — они убивают нацменов вполне равно-



душно.) Крики и ругань не утихали ни на секунду. Дым разъедал глаза — курили почти все, в основном махорку. Вагон не проветривался. Армянин на второй полке стонал, корчась от болей в желудке. Возле армянина суетился парень лет двадцати пяти. С виду он был отчаянный, хотя и росту маленького и тщедушный. Сквозь решетку он шипел охраннику:

— Принеси воду, падла! Принеси, видишь, человек мучается, — он указал на армянина.

— Заткнись, курва! — сказал узбек. — Наручники надены.

Парень достал из тайников своего рюкзака какие-то таблетки, пачку сигарет и еще что-то и положил армянину на полку. Звал он его Серегой. Серегу, оказывается, знал весь вагон. Когда Серега переговаривался с кем-то из своих друзей за два отсека от нас, даже полосатики (особо опасные рецидивисты) в отсеке рядом немного стихали. А уж эти-то плевали на всех: чтобы суд вынес определение "особо опасный рецидивист" необходимо, чтобы за преступником числилось не менее трех тяжких преступлений, таких, как убийство, изнасилование, вооруженный грабеж. Срока они получали большие. И лагерный опыт за ними стоял — 15–20 лет. Эти-то знали, когда нужно помолчать.

Внезапно рев в вагоне снова возобновился. В одном из отсеков дрались — били молча и, видимо, с чудовищной жестокостью, так как в женском отсеке бабы завопили, чтоб охранники разняли дерущихся. Тем была неохота, но все же отсек открыли и одного из дерущихся перевели в другой конец вагона. Зэк на ходу зажал ладонями разорванный по углам губ рот. Кровь хлестала у него между пальцев. Потом поднялся страшный вой в женском отсеке — бабы били молоденькую зэчку за то, что та отдавалась охранникам в уборной за сигареты. Где-то снова вспыхнула драка, еще более свирепая. Полосатики в соседнем купе ревели: "Бей его, суку, порви ему жопу на двадцать семь частей!" Потом поезд остановился. Вагон стих. Часть уснула. Остальным разговоры уже надоели.

Внезапно я поймал испытующий Серегин взгляд.

— Ты какой национальности? — спросил он.

— Еврей.

— Еврей? — переспросил он удивленно, точно собирался добавить что-то вроде: "Ну что ж, бывает" или "Ничего не поделаешь". Но вместо этого он сказал:

— Ты знаешь, у меня жена еврейка.

Он дружил с еврейской девочкой с детства. Она ему отдалась и, когда его первый раз посадили на шесть лет, верно ждала его все годы. Серегу за буйство в лагерь не отправляли, а держали в тюрьме — то в одиночке, то в общей камере с такими же зверюгами, как он.

— Вышел я, а она уже почти вся поседела. Ну, взял как-то я пистолет, а она схватила меня за руку — не пускает. Разозлился я, хотел ее застрелить. Она испугалась, стала просить, чтобы я ее не убивал. Под кровать залезла. Я ее выволок, да чего-то жалко мне ее убивать стало. Я ей сосок на груди отстрелил. Она в обморок. Ну, я стал сосать у нее кровь.

— Зачем... кровь? — спросил я.

Серега равнодушно пожал плечами и продолжал:

— А потом она все ездила за мной по тюрьмам. Седая вся. И чего ей надо? Плюнуть бы ей давно, ведь все равно ничего не выйдет. Уже шестнадцать лет — все тюрьмы и больницы, тюрьмы и больницы. Туберкулез, скоро помру. Разве досидеть? В лагерь боится меня выпускать. Людей, говорят, пугаешь.

Снаружи послышалась возня.

— Этап привели, — сказал Серега.

Охранники открыли дверь в тамбуре. Послышался истошный, полный отчаяния женский крик:

— Витенька! Ой, Витенька! Ой, ненаглядный! Да что ж это такое! Да что ж это, Витенька!

— Малолеток привезли, — сказал Серега.

Женщина с визга перешла на хрип:

— Витенька! Веди себя хорошо, мальчик мой! Слушайся начальство. О-о-ой, что ж это будет-то, Витенька!

Когда паренька провели перед решетками в крайний отсек, даже полосатики притихли. Он был совсем ребенок — ну, лет тринадцать, не больше. Что же это он мог совершить? А шел гордо, запрокинув голову, руки назад, как настоящий преступник. Женщина снаружи не унималась. Поезд тронулся, и ее крики остались позади. Полосатики о чем-то говорили вполголоса, посмеиваясь. Наконец, один из них ленивым блатным голосом заговорил:

— Витенька, а Витенька?

— Чего, — отозвался детский задорный голос из камеры малолеток.

— Витенька, ты знаешь, кто здесь едет? — продолжал полоса-

тик таким тоном, будто собирался сообщить, что он — Красная Шапочка и принес пирожки.

— Нет, не знаю, — по-прежнему задорно отвечал Витенька.

— Здесь сидят полосатики, — сказал зэк, подражая интонации воспитательницы детского сада.

Витенька ничего не ответил.

— Витенька, — елеино продолжал полосатик, — а хотел бы ты попасть к нам в камеру?

— Хотел бы, — ответил Витенька.

Звериный хриплый рев вырвался из двух с половиной десятков глоток.

— У-у-у, — надрывались они, хлопая в ладоши и сладостно матерясь. — Эх, хоть на пяток бы минут его сюда! О-о-о, Витенька! Ух, сейчас бы... А-а-а!

— Вот, тридцать пять мне, — сказал Серега, — а шестнадцать уже отсидел. Еще десять впереди. Свободы совсем не видел. Умолят меня здесь, не выйду живым.

— За что тебя последний раз судили? — спросил я.

— За убийство. Хотели вышку дать, это у меня не первое. Да судьям взятку сунули. Пятнадцать лет дали. А ты за что?

— За политику, — ответил я.

— Да? — Серега удивился. — А почему тебя с уголовниками везут?

— По 190-й содержат сейчас с уголовниками, — ответил я.

— Да-да, — подтвердил его приятель. — У нас в лагере сидел один. И религиозников сейчас тоже в уголовные лагеря сажают.

— Ну и дела, — сказал Серега. — Я в лагерях-то почти не бывал, все по тюрьмам. Уж и не знаю, что на свете творится. Давно их отделили, а потом вообще политических не встречал.

На очередной остановке вывели этап и в отсеках стало немного просторнее. Зэки устали за двое суток от крика, драк и вагонной качки и постепенно стали умолкать. Серега уснул, отвернувшись к стенке. Остальные в нашем отсеке тоже задремали, приткнувшись кто где. Серегин приятель достал из мешка затасканную тетрадку и стал листать. Сидел он рядом со мной, и я мог видеть все, что было на измятых листах. А были там выписки из книг, стихи, фотографии и открытки, а то и снимки голых женщин, невест как попавшие в лагерь. Польщенный моим вниманием, зэк похвастал:

— У меня была лучшая тетрадь в лагере. Мне за нее две плитки\* чая давали — не отдал.

Я подтвердил, что тетрадь и вправду замечательная. Мы разговорились. Парень ехал из тюрьмы, где сидел с ворами. Это кое-что значило.

Раньше, до 53 года, уголовники разделяли друг друга по особым категориям — по мастям, как они выражались. Высшей мастью считались воры в законе — то есть те, которые придерживались особой воровской этики. Конечно, немногие соблюдали воровской закон до мелочей. Нарушив свой неписанный устав, спасаясь от расплаты, они бежали к администрации лагеря с просьбой защитить их от воров — так образовалась многочисленная категория "сук" — ссученных воров. В одних лагерях над экамами держали воры, в других — суки.

И воры, и суки жили, обирая остальное лагерное население и заставляя других работать на себя. На этапах, когда суки встречались с ворами, происходила жестокая резня — администрация умышленно не отбирала ножи ни у тех, ни у других, претворяя в жизнь сталинское пророчество: "Преступность сама изживет себя".

Многое из этого давно отошло в прошлое. Но и сейчас и у той, и у другой стороны ножи всегда были наготове, ничтожный пус-тяк мог вызвать в этапке или пересыльной тюрьме резню. И тогда камера превращалась в сущий ад — своего рода запечатанный гроб, где жестокое зверье режет всех подряд: если ты не свой, если тебя не знают, и не знают, чего от тебя ожидать, — так уж лучше зарезать, так надежнее. Администрация в последнее время старалась не допускать резню. Но если в камере оказались только отпелые — тут уж разнимать не спешили. Во-первых, опасно; во-вторых, убивает друг друга такое отребье, что о нем и не пожалеет никто: родственники их забыли, а остальным и вовсе безразлично. Да и забот начальству меньше. Бирку на ногу — и бросить эту падаль в землю, без гроба, без отметки — никакой памяти, кроме короткого медицинского заключения о смерти...

На четвертые сутки поезд прибыл в Красноярск. Все собрали свои пожитки и ждали. Конвой открыл дверь тамбура, и в вагон ворвался свежий, морозный, пахнущий снегом и тайгсой сибирский воздух.

---

\* Чай в лагере обычно продается прессованный, в плитках.

Первыми выпустили полосатиков. Серега презрительно усмехнулся и переглянулся с приятелем. Полосатики попросили конвой их отделить — пояснили мне. Слава Богу, — подумал я, — резни не будет. Серега тоскливо смотрел сквозь решетку.

— Эх, жаль, -- зевая, сказал он, — что мы не попадаем вместе с ними. К одному у меня есть разговор.

Начались обычные перевалочные приключения. В глаза ударили ослепительные брызги света — блеск снега. Но уже нас втолкнули в темный воронок, набитый людьми до отказа. Несколько человек не вмещалось, конвой пытался их затолкнуть, хоть и без того все были стиснуты так, что казалось ребра лопнут от давки. Я не видел, что происходило в дверях: невозможно было повернуть голову. Эски орали на конвойных, а те запихивали прикладами последнего несчастного — он выпирал наружу, решетка за ним не запиралась. Он орал благим матом, но приклады сделали свое дело, и решетка наконец закрылась. Воронок трясся, раскачиваясь на ухабах, в тряске грудь сплющивало давлением соседних тел все сильнее, дыхание совсем останавливалось, а потом я с удивлением обнаруживал, что еще живу, хотя казалось, что в следующей миг жить не буду. Затем какая-то этапка, неудобная и гнетущая, потом опять "прогулка" в воронке и, наконец, красноярская тюрьма — настоящие катакомбы, почти без света и воздуха, с бесконечными бессмысленными переходами из одной камеры в другую.

Все камеры кишели клопами. Спать было нельзя. Эски играли в карты, а уж картежная игра без драки редко кончалась. И драки-то у них не как у людей. У большинства после долгих лагерных лет ни сил, ни здоровья; дрались не кулаками, а все норовили либо глаз пальцем вырвать, либо нос откусить, либо порвать рот, а после, задыхаясь после драки, злобно матерились и расползались по своим местам, чтобы очухаться к следующему заходу.

Через несколько дней — снова этап. Опять погрузили в воронку, из которого ничего не видно, и через несколько часов выгрузили возле лагеря. Снова переключка, ворота открылись, и мы по одному вошли в запретную зону. Наконец-то можно увидеть небо над головой. Вдохнуть свежий воздух. Пройти несколько шагов...

х х х

В бараке, где мне выделили место, было сравнительно тепло. Тусклая лампочка освещала ряды двухъярусных коек, разделен-

ных тумбочками. Внутри барак выглядел несравненно лучше, чем тюремная камера, но произвел он на меня куда более гнетущее впечатление. Сначала я не мог понять, почему. Вроде бы у каждого есть койка, а на ней — матрац, подушка и одеяло, а на тумбочках какие-то самодельные салфетки или приклеенные фотографии актрис из журналов. У моего соседа даже стоял глиняный горшок и в нем искусственные цветы из медной проволоки и разноцветных нитей. Сосед улыбнулся, показав два ряда металлических, сделанных в лагере зубов, и спросил, кивая на цветы:

— Нравится?

Я устало кивнул.

— Друг подарил, — с гордостью сказал сосед. — Умер год назад. Мне это от него память на всю жизнь.

Сосед спросил, какой у меня срок.

— Три года? — повторил он. — Детский срок. У, земляк, можешь на одной ноге до конца срока простоять. Хе, на параше можно просидеть.

— А тебе сколько сидеть? — спросил я.

— Да мне-то немного, — ответил он. — Два с половиной года осталось. Я не тужу. Я уж одной ногой на свободе.

— А сколько просидел?

— Около пятнадцати.

— Не выходя из лагеря?

— Что поделаешь. Здесь редко кто меньше просидел, — он засмеялся. — Рецидивисты ведь, не шути. Держи ухо остро, а то живо зажуют. Сел — было девятнадцать лет, сейчас тридцать четыре. Совсем не представляю, как люди на свободе живут.

Я наконец понял, почему первое впечатление от барака такое гнетущее. Тюрьма — место временное. Все равно, как выглядит этот вокзал. Напротив, убогий, нищий уют барака говорил об устоявшейся привычной жизни его обитателей, пытавшихся хоть как-то, в меру своего уродливого вкуса, внести крохи домашнего уюта в свой быт. Для них лагерь не был временным местом. Это был дом, в котором они проводили большую часть своей жизни.

Лагерь... Десять убогих барачков окружены забором, четыре ряда колючей проволоки, два ряда сигнальных проводов, лишь коснись — завоет сирена; да еще два ряда путанки — проволоки, закрученной петлями, которые затягиваются, если кто-либо по-

падает в них. Вечером зону загоняют на политзанятия — тоже новшество, которого не знали эски в сталинские времена. На политзанятиях офицеры рассказывают, какая богатая и счастливая жизнь в Советском Союзе, какая большая свобода дается гражданам СССР по сравнению с гражданами стран капитала и на сколько выросло производство мяса, молока и масла за последний год.

В шесть часов утра поднимают и гонят на физзарядку — новшество, введенное в 1972 году. Во тьме зимнего сибирского утра, осыпаемые нежными снежинками, выходят из душных барачных закутаные в грязные негреющие бушлаты уголовники, кто с деревянной ногой, кто без руки, кто без глаза или с оторванным ухом, и уж большинство — с испорченными легкими, с неизлечимыми болезнями, наркоманы, алкоголики, гомосексуалисты. Строятся на физзарядку. Некоторые и взаправду прыгают и машут руками. А большинство заворачивается поглубже в бушлат, курит и глядит в ночную мглу невидящими, ненавидящими глазами...

х х х

Первое утро в лагере началось с криков надзирателей, зовущих на физзарядку. Хмурые эски нехотя одевались, матерясь на ходу. Один вообще не проснулся. Надзиратель сорвал с него одеяло:

— Не слышишь, что ли, подъем был?

Тот с трудом разобрал, что происходит, потом оскалил зубы и, подобравшись, как будто для прыжка, заорал:

— Дергай отсюда, пес! Дергай.

Надзиратель тоже заорал, видимо, чтобы приободрить себя, но второй, более старый и опытный, потянул его за рукав.

-- Псина паскудная! — не унимался эск. — Мерин.

Надзиратели поспешно ретировались. Скандалист снова улегся, а остальные безропотно потянулись на плац.

Какой-то оборванец попросил у меня спички. Я дал ему коробок, и он, закрыв огонек огромными ладонями, запалил толстую самокрутку.

— Спасибо, — сказал оборванец, возвращая спички.

Я удивился такому обхождению и пригляделся внимательнее. Высокого роста, широкоплечий, видимо, силы богатырской, но

страшно исхудавший, похоже, давно сидит. Из дыр на телогрейке вылезала грязная вата, одно ухо ушанки было оторвано. Лицо волевое, но не злое, не зэковское. Он улыбнулся.

— Спорт помогает советским людям в труде и учебе, — сказал он, подмигивая. — А вот Саня не хочет идти в ногу с временем!

Саней звали зэка, который хотел броситься на надзирателей, будивших его на физзарядку.

— А кто не идет в ногу с нами, — у парня появилась мефистофельская улыбка, — того мы... — Он раскрыл свою огромную ладонь, сжал в кулак, как будто заталкивал Саню за шиворот в камеру. — Вот увидишь, сегодня же Саня будет в изоляторе.

Парня звали Миша. Он пригласил меня зайти к нему в малярку, когда нас выведут в рабочую зону. А Саню и в самом деле отправили в изолятор — на десять суток, с выводом на работу. Увидел я его на следующее утро — в цехе, где делали сундуки: он с ожесточением сколачивал доски, а лицо его было багрово-землистое от бессонной ночи на голых нарах в холодном изоляторе.

— Вот видишь, — сказал он мне, — как с дураками расправляются?

— Сдержался бы, — посоветовал я.

— Это не так просто, — возразил Саня. — Сдержанность — качество нормального человека. Среди нашей публики ее не бывает.

Он положил молоток в сторону и, сев рядом со мной, закурил.

— Здесь ведь нет нормальных людей, — сказал он. — Разве не видишь? Сумасшедший дом! Да и какая психика выдержит две-три посадки? Я не верю, что даже после первой отсидки человек может выйти с нормальной психикой. А тут РЦД\*, из лагерей не выходят.

Я с удивлением обнаружил под маской матерого лагерника вполне разумного человека.

— Ты кто по профессии? — спросил я его.

— Вор, — ответил Саня.

— Нет, я не о том. Быть может, у тебя есть гражданская профессия?

— А-а-а, — протянул Саня. — Я врач.

— Врач? — удивился я.

---

\* РЦД (блатной жаргон) — рецидивисты.



— Что, странно? — улыбнулся он. — Да, да. Врач и карманник. Это моя вторая судимость. После первой кончил институт в Ленинграде. Все время воровал. У карманников это очень редко, чтобы больше года ходил на свободе.

— Ну и большой доход был? — спросил я его.

— Дело не в доходе, — ответил Саня. — Деньги, конечно, были. Но главное, если неделю не воровал, то скучно жить становилось, невыносимо. Шел в Гостиный двор или в Пассаж и после двух часов работы выходил весь взмокший — это была нервная встряска, это была разрядка.

Я пошел к Мише в малярку. Там был сущий ад — нитрокраска издавала тошнотворный запах, кружилась голова. Миша, весь в лохмотьях, вымазанных в краске, забрасывал огромные сундуки на полки-сушилки, там температура была шестьдесят градусов жары.

— Ну и силища у тебя, — сказал я.

— Это уже крохи остались, — Миша смиренно улыбнулся. — Я пришел в лагерь, весил больше 100 килограмм. Здесь есть еще ребята, которые помнят, каким я был. Я из малярки ходил раньше в трусах, босиком в котельную в сорокаградусный мороз мыться, чтобы не одевать на потное тело сменное рванье. А потом посадили в изолятор — там есть одна такая комнатка, знаешь, для самых хороших. Карцер называется. Больше суток там нельзя держат. Там пол бетонный, на нарах иней, а без одежды да без обуви — хана. — Миша махнул рукой и засмеялся. Он давал понять, что над этим можно только смеяться, понять это трудно. — Так вот, продержали меня там десять дней. Вышел я, а на следующий день снова дали, да ту же камеру. После, поверишь, целый месяц с утра, как только заводили на работу, я залезал в малярке на самую верхнюю полку и там грелся, никак не мог согреться. И потом стал худеть и терять силу. Но это я один только могу вынести, — задорно сказал он. — Обычно на десятые сутки в этой камере у людей начинает течь кровь из горла. А я вот... — он махнул рукой. — Ничего, русский народ все вытерпит. Так ему и надо. Любят его господа за терпение. Во всех книжках пишут, довольные такие: "Терпеливый русский народ". Ничего так не умеет, как терпеть.

Преследовали его, сказал он, за то, что он помогал некоему Солнышкину, политзаключенному, сидевшему в этом же лагере по ст. 190<sup>1</sup>.

— Его звали Семен Иванович, — добавил Миша. — Я тебе позже о нем расскажу. А сейчас надо сундуки таскать. Вон маляр знак делает, скопилось сундуков много.

х х х

Было одно место в рабочей зоне — жестянка, куда мы заходили посидеть немного, отойти от изнурительного стука молотков в цехе и поговорить — ведь в лагере, кроме разговоров, нечего делать. Там собирались блатные со всей зоны — они, как и в старые времена, не работали. Правда, давалось им это с большим трудом. Старый зэк, которого звали Леха, гнул там железо и варил для блатных чай. Был он страшно худ и немощен даже для своих пятидесяти с лишним лет. Кроме лагеря, Леха не знал ничего, ибо просидел, почти не выходя на свободу, всю свою сознательную жизнь. Известен он был тем, что занимался крысами. Для такого хобби лагерь идеальное место: крысы тут были величиной почти с кошку, ходили вразвалку, не спеша, даже когда в них бросали камнями. Но Леха их с жилой зоны вывел — недаром был специалист. Больше всего он любил выращивать крыс-крысоедов. Он отлавливал с десяток наиболее крупных и сажал в клетку, не давая еды. Крысы начинали пожирать друг друга. Оставшихся двух-трех он выпускал, и те, выйдя на свободу, принимались пожирать своих сородичей. А Леха тем временем готовил вторую партию.

Зайдя в жестянку, я первым делом увидел клетку с крысами. Одна из них, меньшая по размеру, забралась под потолок и прижалась в угол. Леха раскалил длинный гвоздь и начал тыкать им в крысу. Та злобно фыркала, конвульсивно билась, но из угла ни за что не выходила. Зрители с ленивым любопытством наблюдали за сценой. В это время в жестянку вошел зэк по кличке Варяг. Леха просиял.

— Не хочешь ли, Варяг, чифирку попить, — угодливо залепетал он. — Я живо сейчас кипяток заделаю.

Варяг небрежно кинул ему на верстак полплиты чая и уселся на сундук. На вид ему было лет сорок, роста среднего, худощав, маленькие мутные глаза смотрели на свет Божий тоскливо и презрительно. Варяг был на особом, там зарезал несколько человек и был отправлен в тюрьму, где просидел семь лет, из них три в одиночке. Потом, при пересмотре дела, суд снял с него по-

чему-то определению “особо опасный рецидивист”, и его отправили на строгий режим. Варяг всем внушал мистический ужас. Он никогда не подымал голоса, не кричал, чтобы нагнать страху. Если кто-либо возражал ему или мешал, он просто подходил и спокойно приказывал делать что надо. И уж какие отчаянные сорвиголовы были в лагере, не боялись ни черта, ни дьявола, а когда Варяг разговаривал с ними чуть потверже, у всех была одна и та же реакция: глаза стеклятели от страха и нервного напряжения, человек начинал заикаться и униженно оправдываться. Варяг, не мигая, смотрел на свою жертву тусклыми, тоскливыми глазами, глазами смерти, пока не убеждался, что человек превращается в трусливое ничтожество, и потом уходил.

— Вот, новую партию крыс поймал, — пояснял Леха Варягу. — Гляди, верхняя-то не выходит. Я ее гвоздем раскаленным шпыняю, а она не вылезит.

Варяг кинул мимолетный взгляд на клетку с крысами и неожиданно обратился ко мне:

— Что, земляк, в дурдом попал?

Я пожал плечами.

— Не сладко тебе тут, среди крыс, придется, — сказал Варяг. — Тут все, как эти крысы. Вот в камере эта лагерная нечисть так же себя ведет. Кто послабее духом, сразу в угол забивается. Его, конечно, заживо едят. Обычный лагерный сброд, вроде все тут оторви-да-брось, а в камеру попадают — и сразу видно, кто есть кто.

Он взял протянутую Лехой кружку с чифиром и отпил два глотка.

— Вот Леха, — добавил он, — тоже крыса. Кого послабее — сожрет, а если кто сильнее — в угол от него забивается. Старая крыса, и крысиные повадки все знает.

— Да, — угодливо сказал Леха, пытаюсь перевести разговор на другую тему, — я с крысами знаю, как обращаться. А вот скажи, Варяг, кто с жилой зоны крыс выгнал?

Варяг махнул рукой, как будто прогонял муху.

— Мне крысы помогли время скоротать в тюрьме, — сказал Варяг, брезгливо прищуриваясь. — Я только с ними и развлекался в одиночке. На полке иногда оставались крошки хлеба, так вот была потеха смотреть, как они за ними лезут. Подходят к стенке и делают пирамиду: одна на другую залезает, и так до самой полки. И тут-то я кидал в них сапог — и они все сыпались

на пол. И расходились. Не разбегались, суки, а расходились. А все ж живое существо, как не говори. Все веселее, чем стены.

— Вот, — снова повернулся ко мне Варяг, — я только что с БУРа\* вышел. Попал там к “крысам” Паша — ты его не застал, педераст тут был такой. Да он еще выйдет в зону, ты его увидишь. Ну, педераст, так что ж, если он никому жить не мешает, зачем его со свету сживать? Затравили совсем. Проглотил ложку, зато-ченную под нож, домино, гвозди. Лишь бы хоть ненадолго вырваться из БУРа, пусть даже в больницу.

Внезапно в жестянку вошли менты. Зэки зашевелились, делая вид, что чем-то занимаются, но менты не обратили на них внимания. Они пришли за Варягом — он уже это знал, видимо, ибо при их появлении поднялся, закутался в бушлат и с выражением угрожющего и брезгливого равнодушия пошел на выход. Я поспешил в цех.

х х х

По дощатому, скользкому от стоптанного снега тротуару, проложенному возле барака, прохаживались зэки. Было воскресенье. К обычной лагерной скуке прибавлялась тоска и нервное напряжение выходного дня. Зэки ходили, обводя тусклым неподвижным взглядом годами знакомый кусочек пейзажа — вперед-назад, вперед-назад, как маятники. Я взобрался на небольшое возвышение, откуда были видны верхушки деревьев над лагерным забором и вдаль — холмы, покрытые лесом. Снег крупными хлопьями крутился над бесконечной тайгой, бесшумно опускаясь на землю. Ни души вокруг, как будто все живое сбежало отсюда, спасаясь от страшного, заколдованного места. Ко мне подошел зэк по имени Степка и попросил сигаретку. Его недавно перевели с особого режима на строгий. Степка сидел в лагерях без выхода 27 лет — ему все время добавляли срок за убийства. Ему еще оставалось восемь лет. Он был маленького роста, худощав, но ходил всегда опрятный, подтянутый. Как у всех убийц, взгляд у него был тяжелый, свинцовый, с каким-то мертвенным блеском.

— Что, земляк, — сказал он, — вдаль смотришь? Зеленого прокурора ждешь?

---

\* Барак усиленного режима. Предназначен для злостных нарушителей лагерного режима.

Зеленый прокурор — это весна, время, когда некоторые решаются на побег. Они говорят, что их освобождает зеленый прокурор.

— Тебе-то нечего горевать, — сказал он, — три года это совсем смех. И не срок вовсе — так, посмотреть, как в лагере живут.

— Для каждого свой срок велик, — ответил я известной лагерной истиной.

— Это верно, — согласился Степка. — А я, вот, почитай, что не был на свободе. Только, когда в бегах. Самое большее год был в бегах — так все время на колесах, все время погоня без перерыва, а уж как увидел, что крышка, — вот была задача, чтоб арестовали где-нибудь в городе или на вокзале. А то ведь нашего брата, если ловят где вдали от людей, сразу стреляют. И потом пишут: при попытке к бегству.

Да, я слышал, как это бывает. В ивдельских лагерях за бежавшими охотились на вертолетах, расстреливали и труп бросали возле лагерных ворот на денек — в назидание другим. В Краслаге этого не делали, но уж в живых, конечно, редко оставляли.

— А что видел? — продолжал Степка. — Ничего. Я, знаешь, до сих пор телевизора не видел.

— Как так? — удивился я.

— А так, — сказал Степка. — Где его увидишь? В тюрьме? В лагере?

Степка ушел. Я направился в барак — поговорить с Мишей.

У Миши в секции дым стоял коромыслом: в углу веселилась блатная компания. Зэки пили чифир и курили махорку.

— У меня тут тетрадка есть, — сказал Миша, — я в нее выписывал из книг, что понравится. Погоди, я сейчас найду.

Он стал рыться в тумбочке. В углу кто-то идиотски бодрым голосом веселил компанию своими похождениями на воле.

— Ну, сказал я ей, что я хирург...

— Ха-ха-ха! — раскатилась компания.

— Хирург!.. — в восторге орал какой-то старый зэк, раззевая беззубый рот. — С ножом под мостом операции делаем. Хиру-у-ург, ха-ха-ха!

— Ну, законно, — продолжал зэк. — Завел я ее в нашу малину, в сарай. А там жиган сидел со своей бикссой. Ну, он сразу дверь на лом закрыл. Девка, конечно, испугалась. Я ей говорю: ложись, стерва. Легла. Я на нее. А она не подмахивает. Я слезаю, беру молоток и трах ей по зубам. Выбил зубы. А жиган орет: порви ей все, суке, чтоб знала. Ну, закрыла она рот платком. Я залез на

нее, а она ревет, да подмахивает. Фашист, говорит. Ты — фашист.

— У-у-у, — раскатилась братва от смеха. — Фа-а-а-ашист, ха-ха-ха!

А ты ее в это время ... ха-ха-ха, фаши-и-и-ст!

— Вот послушай стих, — сказал Миша, который уже давно не обращал внимания на лагерный треп —

В голосах нескошенного луга  
Слышу я знакомый сердцу зов.  
Ты зовешь меня, моя подруга,  
Погрустить у сонных берегов.

— Солнышкин тоже любил Есенина, — сказал Миша. — Я знаю наизусть много стихов, так я ему читал. Ну он сам-то человек образованный. Замучили его совсем. Сначала лагерь, потом ссылка. Когда подошел конец ссылке, вызвали в райком и стали спрашивать, не изменил ли он своих взглядов. Он говорить отказался. Тогда секретарь парторганизации спросил его, как он смотрит на героическую борьбу Анжелы Дэвис, которая объявила голодовку и пьет только соки. Тут он вскипел и говорит, что он лично ни разу в жизни соков не пил и рад бы до конца дней своих держать такую голодовку, как Анжела Дэвис. “А вот если бы, — сказал он, — вас с этой Анжелой посадить за лагерный стол да заставить есть лагерную вонючую уху, в которой плавают сваренные черви, а после бы вы с непривычки блевали от отвращения, — вот тогда бы я с вами обсудил те вопросы, которые вас интересуют”. Они нашли какого-то забитого зэка на ссылке, и тот показал на суде, будто Солнышкин что-то говорил против советской власти. Так, одна формальность. Три года дали, по 190<sup>1</sup>. Потом, видимо, решили его совсем на свободу не выпускать. Повезли в Томскую тюремную больницу, где врачи должны были дать заключение, что он психически ненормальный. Врачи такое заключение дать отказались. Тогда на них из КГБ надавили, его снова повезли в больницу, и тут уж они такое заключение дали. Его увезли — и больше я о нем не слышал.

Мише оставалось сидеть еще два года. Был он настоящим бедолагой, каких миллионы в России. К уголовному миру никакого отношения не имел. Просто бросился разнимать приятеля, который сцепился в гостинице с кем-то, имеющим хорошие партийные связи. Срок никакой Мише не грозил, но на суде, увидев, что приятеля пытаются нагло обвинить в том, чего он не совершал,

Миша возмутился и сказал, что судьи по-сталински хотят крови. За это ему дали пять лет усиленного режима. А в лагере он раскрутился\* на ерунде. Начальник лагеря сорвал с него шапку и гаркнул: "Снимать надо шапку, когда начальство мимо проходит!" Миша вырвал у него шапку из рук и плюнул ему в лицо.

— Вот жизнь, — сказал он. — Война, разруха. Шестнадцати лет увезли меня силой из деревни в ремесленное, в город — с тех пор я мамы не видел. Семь лет во флоте. Шесть — в лагерях. Только смеяться можно над такой житухой.

— Так что, Миша, ты бы не узнал сейчас мать? — спросил я.

— Нет, — сказал Миша, — но я с ней переписываюсь. Совсем старенькая она. Прислала мне фотографию — ничего я не узнаю в ней. А от меня она и фотографии получить не может, — в лагере запрещено фотографироваться.

Какой-то ээк протиснулся между коек и уселся напротив. Вида он был необычного: весь заросший, как обезьяна, глаза мутные и налитые кровью, сразу видно — после бессонных ночей в изоляторе. Был он продрогший, зябко кутался в грязный бушлат, несмотря на то, что сидел у самой печки, которую натопили на славу. А в глазах окаменела ненависть.

Я с трудом узнал в этой образине Саньку, которого посадили за невыход на физзарядку.

— Тяжело сейчас сидеть, — сказал он. — Шнырь\*\* в изоляторе совсем обнаглел. Печки не топят: неохота ему дрова рубить да таскать. Так он в печку свечку ставит да дверцу открывает, а когда ээки ему говорят, чтоб топил, он говорит: "Глядите, круглые сутки топлю, вон пламя даже отсвечивает. Что я могу поделать, если печки плохие, не нагреваются?"

Саня отпил немного горячего чифира, и весь сразу обмяк от различшегося по телу тепла и легкого тумана в голове, — чувство, знакомое только старым лагерникам, давно пьющим чифир.

— Заруба обнаглел совсем, — продолжал Саня о шныре, — подогрев\*\*\* берет, а в БУР или в изолятор или вообще не передает, или передает крохи. Говорит, менты обнаружили и отобрали. Если бы менты обнаружили, ему бы там не работать. Все себе берет, паскуда. А если кто на него орет, то нахаркает в суп, когда подает,

\* Получил срок в лагере, не выходя на свободу.

\*\* Шнырь — дневальный в изоляторе, из ээков. Доверенное лицо администрации, выполняющее все хозяйственные работы в изоляторе — топку печей, разноску еды и т. д.

\*\*\* Передача

а ведь не все после этого есть могут. Да и кормят-то, сам знаешь, раз в день через день." В таком холоде есть надо, а то совсем концы отдашь.

— Ну как там Варяг? — спросил Миша.

— Приехал прокурор проверять условия содержания. Ну, Варяг ему и говорит: "У нас, дескать, стены покрыты льдом. Или через пару месяцев мы все здесь подохнем, или нас увезут в больницу с туберкулезом". А прокурор говорит: "А что, вы тут курорт ищите?" Варяг ему и говорит: "Сосал бы ты..." Прокурор как заорет: "Сгноить вас здесь надо, мало вам". Ну, Варяг говорит: "Ты там, за решеткой храбрый. Ты войди сюда в камеру и скажи здесь. Войди, чего бояться, тебя же менты охраняют".

— А в бараки прокурор и не заходил, — сказал Миша. — У нас вон тоже в дальних углах лед. Это возле печки-то жарко, а в том конце — холодище. Я, когда в лагерь пришел, спал обычно в конце, а сейчас, после карцера, не могу. Мерзну.

х х х

В мастерской Святого Отца набилось человек пятнадцать, пришедших погреться со стройки. Был мороз градусов сорок, и печку, раскаленную докрасна, буквально облепили со всех сторон.

Максимиыч, мужчина лет пятидесяти пяти, с глазами добрыми и невинными, как у младенца, поучал меня:

— Ты с этой лагерной нечистью ни в какие дела не вступай. Обманут, сволочье, да еще ты же виноват будешь. Вот набились тут, а менты придут — всех выгонят. А я тут работаю, так и меня выгонят. Как ни есть, а не на улице.

— Ладно тебе, Максимиыч, — сказал один из зэков. — Мы погреемся да выйдем. Невозможно все время на морозе-то.

— Хрен с вами, — сказал Максимиыч, — я вас не ограничиваю, грейтесь, сколько угодно. Только лучше бы вас всех в этой печке сжечь — и вам, и остальным хорошо было бы.

— Это верно, — согласилось несколько голосов.

Голубые, по-детски невинные глаза Максимиыча могли обмануть только такого неотесанного новичка, как я. Он сидел за убийство. Последний раз он освободился лет двадцать назад, так что и лагерную жизнь успел начисто забыть. Была у него семья, дети — два сына и дочь, — а сам он работал машинистом электровоза. Но оскорбили как-то его жену пьяные соседи, и Максимиыч их предупре-



дил, чтобы этого не повторилось. А то, хулиганье, три здоровых мужика, сказали ему: “Заткнись, а то раздавим, как клопа”. Максимыч сказал: если хоть волос упадет с его головы, им всем троим не жить на свете. Им смешно было слушать такое от старичка с детскими голубыми глазами. Они вошли к нему, когда он работал у себя в саду, разбили ему кастетом голову. Максимыч кинулся в сарай за лопатой, они его нагнали, но он вырвался и бросился на веранду, а там схватил длинный кухонный нож. Первому подоспевшему он всадил нож в печень, второму — в сердце. У обоих смерть наступила мгновенно. Третий заорал от ужаса и побежал. Максимыч бросился за ним, но догнать, конечно, не мог. Прокурор потребовал для Максимыча расстрел. “Вы посмотрите, — говорил он, — это же профессиональный убийца. Он убивал безошибочно, наверняка”. Суд вынес решение: пятнадцать лет лагерей строгого режима.

— Если б я не погнался за третьим, — рассказывает Максимыч, — получил бы не больше восьми. А так налицо месть, то есть низменные побуждения, а не самооборона. Впрочем, жребия не избежать: кто раз побывал в лагере, тот все равно вернется.

— Почему же, Максимыч? — спросил я. — Ведь жил же ты двадцать лет на свободе, как нормальный человек. У тебя-то нет ничего общего с остальными.

— Не-е-ет, — протянул Максимыч, — если бы я не сидел раньше, то и сейчас не сел бы. Уже человек попорченный, ничего с ним не сделать. Вопрос только, рано или поздно сядешь. Если бы я не сидел раньше, то и повел бы себя иначе: закричал бы, позвал на помощь, побежал бы в милицию, потом обратился бы в суд, ну, словом, сделал бы все, как полагается. Я же поступил полагерному: за незаслуженную обиду — смерть. Да и третьему послал из лагеря, через тех, что освобождаются, записочку, что вот сбегу скоро и его прикончу. Так он сразу же свой дом продал и смылся оттуда, его сейчас с огнем по всей матушке-России не найти.

Максимыч пошуровал кочергой в печке. Зэки неподвижно и завороженно наблюдали за пламенем, молча раскуривая самокрутки.

— А вот Варяг, — послышался вдруг чей-то голос, — выйдет: быть резне в лагере.

— Варяг! — отозвался кто-то презрительно. — Когда он выйдет из БУРа, я ему рожу бить буду. Я давно знаю эту падлу ссученную.

В мастерской наступила мелодраматическая тишина. Потом

все зашевелились и потихоньку стали уходить. Никому не хотелось быть свидетелем такого разговора. Я остался, не в силах выйти на лютый мороз. Остался и тот, кто это сказал, — зэк, по кличке Татарин, пришедший этапом с особого режима. Высокий, худой, с довольно правильными чертами лица, был он очень подвижной, необузданного нрава, а когда злился, то в его больших черных, чуть-чуть раскосых глазах металось пламя бешенства и беспредельной азиатской жестокости. Знавшие его раньше говорили, что он не терпел в лагерях никакой власти.

— Ты сколько лет сидишь? — спросил я Татарина.

Тот махнул рукой:

— Всю жизнь сижу.

— Не надоело?

— Как-то привык. Как будто так и надо. Другой жизни не представляю себе. Только вот мать жалко — извелась вся.

Он стал рассказывать, как был на свидании с матерью полгода назад: показал ей два изуродованных пальца на левой руке, ему отрезало их по первому суставу циркульной пилой, а она долго целовала обрубки, плакала и говорила, что жизнь и душа у него исковерканы больше, чем рука, и все равно ждет его семья с детских лет и дожидаться не может.

— Как уж есть, — сказал Татарин и вышел.

х х х

И без того беспокойный, короткий лагерный сон был прерван сегодня дракой. Какой-то новенький, с этапа, привязался к Татарину. Тому ужасно не хотелось вставать и бить дурака, и он стал его упрашивать спокойно лечь и назавтра во всем разобраться. Но тот не унимался, и тогда Татарин побежал из барака. Блатной погнался за ним, решив, что Татарин испугался. А там Татарин начал наотмашь бить его доской. Зэки повскакали с коек. Миша забежал ко мне.

— Иди спать, Миша, — сказал я, — все уляжется.

— Еще чего, — проворчал Миша. — Мало ли что случится? Тут повальная резня может начаться каждую секунду. Нет, не уйду, пока все не кончится.

Вначале блатной кричал, потом потерял сознание и сквозь открытую дверь было слышно тяжелое дыхание Татарина и глухие, мокрые шлепки доски о безжизненное тело. Зэки оттащили Та-

тарина, а когда пришли надзиратели, все уже лежали на койках и храпели. Надзиратель осветил лицо Татарина фонарем, но тот лежал в глубоком сне до смерти уставшего человека, рот его был открыт, щеки опали, грудь равномерно и спокойно вздымалась в такт сиплым kloкочущим вздохам, а ресницы даже не дрогнули, когда на них упал резкий свет фонаря. Брать было некого, доносчики боялись стучать на Татарина. Но заснуть ночью уже не удалось, и утром, перед выходом на работу, хотелось спать.

х х х

Наступило лето, а с ним и день, когда Варяга выпустили из БУРа. В барак набилось много народу отдать Варягу дань уважения. Достали водку, а герою торжества, непьющему — морфий, хотя сейчас с ним в лагерях неимоверно трудно. В разгар веселья в секцию зашел Татарин. Был он один, но по тому, как он держал правую руку, можно было догадаться, что в рукав заправлен нож. Варяг поморщился — не хотел склоки. Приблизился день его освобождения, а тут, в случае резни — снова суд, и не видать свободы опять после стольких лет заключения. Варягова банда притихла.

— Ну что скажешь? — спросил Татарин. — Взял деньги и в БУР смылся?

— Ты же знаешь, — отвечал Варяг, — меня из-за Степки в БУР посадили. Сейчас я тебе деньги отдам. Садись, выпей с нами.

Компания наперебой стала предлагать Татарину водку — все понимали: тронь его — внутрь ворвутся те, что оцепили барак снаружи, и тогда еще вопрос, кто останется в живых. Без команды Варяга на это никто отважиться не мог.

— А что, нельзя было передать через кого-нибудь? — не унился Татарин.

— Вот что, — спокойно сказал Варяг, — спрячь свой нож куда поудобней и давай выпей. Или, если хочешь, уколись — есть у меня еще немного. Или тебе этого мало? Не видишь, что я только что с БУРа?

Довод подействовал: считается неблагородным принять плохо того, кто вышел из БУРа. Татарин взял протянутый стакан. Перемирие состоялось. Но было ясно: рано или поздно что-то должно произойти. В лагерях вражда никогда не исчезает, а развязка может быть лишь отсрочена, не отменена.

Вечером Варяг вышел к воротам БУРа встречать Зарубу. Тот показался, когда уже совсем стемнело. В руках у него был полный ворох какого-то тряпья, а сверху лежало несколько пачек махорки и банка кильки в томатном соусе. Шнырь попытался изобразить на лице радость, хоть звериным чутьем чуял расправу.

— Не надо ли чего передать? — спросил он, поравнявшись.

Варяг молча взял в руки банку, подбросил ее в воздух, поймал и наотмашь ударил ею Зарубу по лицу. Тот выронил из рук хлам и упал на колени, закрывшись ладонями и выплевывая зубы. Варяг постоял немного, пнул его несколько раз в живот, а когда тот задержался в конвульсиях от удара в печень, бросил банку и ушел.

Заруба побоялся пожаловаться начальству. Заканчивался его срок, десять лет, из них семь он издевался в БУРе над зэками. И сейчас, когда свобода была близка, Зарубе хотелось жить.

Наконец он дождался своего дня. Перед выходом специально пришел попрощаться с Варягом, долго тряс ему руку, заискивающе смотрел в глаза, пытаясь угадать судьбу. Потом рассказывали, что он умолял надзирателей проводить его до станции, в пяти километрах от лагеря. Те от него отмахнулись. На полпути к станции из лесу вышли несколько человек. Заруба сразу отдал все, что у него было — деньги, вещи, — умолял не убивать. Его долго месили ногами, потом решили, что он уже мертв, и бросили на дороге. Но Заруба каким-то чудом ожил и из последних сил пополз к станции. За километр от нее он наткнулся на вторую засадку. Те, увидев, что Зарубу уже обчистили, разозлились и искололи его ножами, а потом выбросили искромсанный труп на дорогу.

х х х

Непрочное примирение Татарина и Варяга тревожило лагерь и развязки ждали все. Были такие, что готовились к резне, чтобы свести какие-то старые счеты, другие, большинство, прикидывали, как бы не быть втянутыми в склоку. Известно, что во время общелагерной резни разбивают все лампы в бараках, идет повальное убийство и выжить мало кому удается.

И день настал. В воскресенье я столкнулся в дверях барака с

Максимычем. Меня поразило странное, загадочное выражение его лица.

— Случилось что, Максимыч?

— Татарин с Варягом подрались.

— Как подрались?

Максимыч пожал плечами.

— Неважно как. Теперь начнется. Я как раз пришел с такой зоны. Из полутора тысяч человек лишь триста в живых осталось. На картишках столкнулись. Этого следовало ожидать. — Он ободряюще улыбнулся. — Ничего, как-нибудь. Все веселее время пройдет.

Я зашел в барак, где обычно за агитационными плакатами по вечерам сидели на лавках зэки, играя в домино или в карты. Там при слабом свете уличного фонаря копошилась многоголовая гидра. У каждого в рукаве засаленного бушлата был наготове нож или штырь. Немного поодаль, под фонарем, стоял Татарин. Он подобрался, как для прыжка, засунув руку за полу бушлата, и что-то говорил парню, видно, посланному Варягом. У парня глаза от нервного напряжения вылезли из орбит, он смотрел на Татарина, как на звероящера, но от своего не отступал и тоже что-то доказывал.

— Да вступи ты ему брюхо, — послышался ленивый голос из-за плаката.

— Нет, я с той падлой хочу поговорить, — отозвался Татарин. — А этот все равно свое найдет.

С другой стороны плаца сгрудились приверженцы Варяга, их едва можно было различить при слабом свете лагерных фонарей и сибирских звезд.

— Менты идут!

Все бросились по баракам.

Глубокой ночью пришли надзиратели и увели Татарина в изолятор. Варяга забрали наутро. Видно, кто-то предупредил администрацию. Без главарей банды сразу же распались и притихли. Татарина снова отправили на особый режим, а Варяга вернули на несколько дней в зону: он ожидал отправки в другой лагерь.

х х х

Едва ушла первая смена, я стал одеваться, незаметно засовывая за пазуху конверты с письмами для отправки собственным тай-

ным каналом. Не спеша одел я толстые шерстяные носки — мое бесценное лагерное сокровище, которому все завидовали, — потом взялся за тапки. Вдруг что-то вонзилось мне в ступню. Я быстро поднял ногу: кто-то приладил ржавый обломок иглы так, чтобы, когда я встану, он полностью вошел в пятку. Я выдернул обломок, завернул на всякий случай в бумагу и вышел наружу. У барака сидел на лавке Варяг в своей обычной позе: согнувшись, закутавшись в бушлат, презрительно и уныло уставившись вдаль. Рядом стояла кружка чифира.

— Значит, отправляют, — сказал я, присаживаясь рядом.

Варяг кивнул.

— Они, суки, знают, куда меня отправить. На той зоне у меня с одним счеты. Я его раз подрезал, да не до конца.

На лице бандюги появилось какое-то подобие человеческого чувства — печаль, что ли, а может, все та же тоска тюремная: надоело все до чертиков и тошнит от всего. А жизнь все заставляет — дерись, ибо нет выхода для таких: или их бояться и подчиняются им, или, почувствовав слабину, расправляются с ними за старое. Ох, как надоел ему, видимо, этот путь, а уже никуда не свернешь! Лагеря, драки, убийства — до тех пор, пока кто-нибудь, более молодой и сильный духом, не одолеет или камера смертников даст бедняге свой последний приют.

— Случилось что-нибудь? — спросил Варяг, остро, как бритвой, полоснув прищуренными глазами.

Я достал ржавый обломок иглы.

— Чуть в пятку не вошел. Хорошо, что я не встал на пол, а руками стал одевать тапки. Иначе бы весь зашел.

— Знакомые делишки, — сказал Варяг. — На такую иглу обычно еще трупный яд мажут. Я эти лагерные подлянки давно изучил. Но если игла до крови не дошла — ничего не будет, даже если трупный яд насадили. С кем сцепился?

И, не дожидаясь моего ответа, кивнул. Разве упомнишь, кто на тебя может зло иметь?

— В одиночке, — снова заговорил Варяг, — я много читал. Мне начальник тюрьмы разрешил брать книг, сколько захочу. Так вот, прочитал я рассказ, не то Куприна, не то Короленко — не помню сейчас, кого именно. Как двое бежали из острога. И в это же время две бабы молодые из женского острога бежали. Дело было еще в прошлом веке. Так вот, мужики шли впереди, а бабы — сзади, метрах в трехстах от них. Мужики, значит, воровали в селах, и

часть оставляли на стоянке, а когда они уходили, подходили бабы и брали, что им оставят. И так они вчетвером прошли по Сибири тысячи километров. Только уж когда на какой-то реке вышли к работягам в открытую, тогда бабы к ним подошли. Читал я это и думал. Или же наврано в книжке, или, если правда, здорово изменился народ. Сейчас бы в побегушке было не так. Баб они бы догнали, изнасиловали, а потом съели. Сейчас меньше бегут, чем лет двадцать назад. А тогда специально пацанов откармливали для побега. Называли их "сухой паек". В дороге ели — как иначе в тайге с одним ножом еду найдешь? Меня, помню, двое прихватили, не знали они, с кем дело имеют. Было у нас поначалу немного еды. А когда кончилась она, я уж был готов ко всему. Развели мы на ночь костер, я пошел воду набрать. Подкрался тихо, слышу, договариваются меня прикончить. Я сзади убил одного с первого удара. Второй бросился в лес, но я его догнал и за ключицу ему весь нож засунул. Долго потом до жилья добирался.

Варяг уныло опустил голову и задумался. Потом снова угрюмо заговорил:

— Что говорить о тех, кто в побегушке? Это менты выращивают людоедов. Недавно я был в крытке\*. Там менты специально смешивают масти. Кинули меня к сукам. Их пять человек в камере. Годами живут на фунте хлеба, им хлеб ночью снится. Сразу же предложили мне на кровь играть — я эти игрушки знаю. Нацеживают стакан крови, варят, а потом жуют. На ихних картах я, конечно, играть не стал. Вскочил на койку, что у окна, и стал майку снимать. Они сразу к двери, а там уже менты наготове. Пока я стекла разбил, пока обвернул их майкой, чтобы руки не порезать, они уже выбежали в коридор. Меня к другим перевели. Чего от них ждать в побегушке? Говорю тебе, крысы. Тут уж ничего не поделаешь. Ничего не поделаешь...

*(Окончание в следующем номере)*

---

\* Крытая тюрьма — в отличие от следственной тюрьмы; там содержатся злостные нарушители лагерного режима, отправленные в тюрьму за преступления, совершенные в лагере.

Дан Сэгре

### СИОНИЗМ ДО И ПОСЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Есть много причин, заставляющих считать нынешний "Палестинский вопрос" всего лишь современной (хотя и чуть ли не самой драматической) формой намного более старого "Восточного Вопроса". Трудно согласиться с мнением, весьма популярным среди сионистов и несионистов, будто сложный комплекс проблем, возникших с возвращением евреев на землю предков, целиком является следствием нынешних новых условий (эмансипация, национализм, нерелигиозный антисемитизм и т. д.), которые, де, не существовали в древние времена. Разумеется, сегодняшние условия, равно как и сегодняшняя напряженность конфликтов и темп истории, совершенно уникальны. Тем не менее в истоках современного арабо-израильского конфликта можно обнаружить некоторые фундаментальные черты векового противостояния Европы и Азии, Запада и Востока.

Поэтому, на мой взгляд, палестинская проблема не может обсуждаться в рамках обычного национального конфликта. Я убежден, что в таких рамках она вообще не имеет решения. И совсем не потому, что нельзя, якобы, "внедрить" современное еврейское государство в арабский мир, насквозь пропитанный национализмом и страшящийся всяких новшеств. Причина неразрешимости заключается, по-моему, в том, что "Палестинский вопрос" — это современное продолжение вековых и дон-кихотских попыток еврейского народа предложить другим народам определенные ценности и идеи, которые те с трудом переваривают (даже если формально и принимают).

Я думаю, что сионизм, независимо от своих сиюминутных задач, тем не менее не может и не должен отмежевываться от этой древней борьбы за специфически еврейские ценности. Сионизм не сможет остаться еврейским движением, если он не внесет подлинно оригинальные, **еврейские** политические концепции в ту абсолютно нерелигиозную, не-еврейскую, чисто западную основу, на которой он вырос.



Историческая борьба между Европой и Азией началась в конце пятого века до н. э., когда Западная Азия — от Инда до Средиземноморья — была объединена под персидским владычеством, а эллинизм, эта ударная сила европейской цивилизации, проверял себя в греко-персидских войнах. С 490 г. до н. э., когда Ксеркс пересек Геллеспонт, и вплоть до 334 г. до н. э., когда Александр победил Дария при Гранике, этот конфликт все еще мог рассматриваться как локальный. Но после битвы при Арбеле (331 г. до н. э.) Александр перестал быть просто македонским царем, которого лига греческих городов отрядила отстаивать эллинскую честь и спасти эллинские колонии в Азии от завоевания Восточной империей. В этот момент Александр сам стал восточным императором, продвигавшимся все дальше и дальше на неведомый Восток и пытавшимся совместить в своем лице два противоположных мира, две цивилизации. Он не преуспел в этом, и с тех пор отношения между двумя великими континентами отмечены вековой титанической борьбой за гегемонию, территорию, веру и культурные ценности.

Из всех народов, которые присутствовали при первом акте этой исторической драмы, одни лишь евреи все еще существуют, и ныне они вновь вовлечены в нее. Это они встретили Александра в Палестине, когда он, после битвы при Иссе, решил обезопасить свой правый фланг захватом Сирии и Египта и закладкой Александрии. И это они же появились на сцене два столетия спустя, когда эллинистические цари попытались возродить мечты Александра и были остановлены восстанием Маккавеев — в такой же степени национальной религиозной войной евреев против греков, как и гражданской войной между эллинизированными и ортодоксальными евреями. Вспыхнувшие позднее восстания евреев против римлян были лишь продолжением маккавейских войн, хотя их религиозное содержание было уже иное. Рене Груссе видел в этих восстаниях "первую попытку поверхностно эллинизированного древнего Востока сбросить Великую Грецию обратно в море". Как бы то ни было, восстания евреев против Рима обозначили прекращение их активного участия в "Восточном Вопросе" на несколько столетий. Когда же евреи вновь появились на сцене, они появились на ней уже как современные сионисты.

Я не собираюсь входить в детали сложной взаимосвязи между "Палестинским" и "Восточным" вопросами. Я упомянул об этом лишь затем, чтобы подчеркнуть одну особенность, которую зачас-

тую не замечают и сионисты, и антисионисты: попытка сионистского решения еврейского вопроса (сохранение еврейства в современном обществе), против воли самих сионистов, безнадежно завязла в схватке между еврейским и арабским нерелигиозными национализмами. Эти национализмы воюют не только за одну и ту же территорию. Они — каждый в своем лагере — борются также за монопольное право собственности на традиционные (еврейские и мусульманские) ценности, которые составляют основу современного национального чувства евреев и арабов. И сионизм, и “арабизм” — это **западные** формы политического воплощения иудаизма и ислама, соответственно. В то же время сионизм в этой паре в силу социальных, исторических и географических причин гораздо более “европеизирован”, чем ислам. Тем более парадоксально, что евреи (вследствие преследований, пережитых ими в Европе) искренне стремятся стать частью Азии (Ближнего Востока), тогда как арабы стремятся — в интеллектуальном и социальном плане — стать как можно больше “похожими на Запад”.

До государственного возрождения еврейства сионизм был национальным движением на территории британской колонии; но одновременно он был колониалистским движением и в том смысле, в каком колонизацией было расселение американских пионеров и, возможно, греческих колонистов в древности. Это добавило к двум прежним основам иудаизма — универсальной и собственно азиатской — новый элемент: волнуемую и романтическую психологию пионерства. В результате сионисты, независимо от своих первоначальных намерений, в силу одного своего европейского происхождения, оказались вовлеченными в колониальный конфликт с Азией, т. е. в древнюю драму “Запад—Восток”, известную под названием “Восточного вопроса”. И в этом конфликте сионисты, как это ни парадоксально, оказались на ролях древних греков, несущих Востоку западные ценности. Естественно, что в этих условиях арабский национализм был вынужден встать на защиту восточной цивилизации и ее ценностей и взять на себя трудную роль возрождения азиатского образа жизни. И это — другая сторона парадокса, ибо сегодня сами арабы, вследствие своей растущей безрелигиозности и “озападнивания”, верят в этот образ жизни все меньше и меньше.

Этот “греческий” облик современных евреев в азиатской Палестине, даже если он исторически не оправдан, имеет огромное зна-

чение. В политике образы, отягощенные многовековыми ассоциациями, иногда существенней, чем реальность. Поэтому одной из задач современного Израиля является разъяснение арабам сионизма в его правильной исторической перспективе. Но, может быть, еще более важной задачей является приведение самого сионизма в соответствие с новой реальностью современного еврейского государства. Эта задача стала особенно насущной после Шестидневной войны.

До Шестидневной войны сионистская логика выглядела следующим образом: еврей никогда не сможет жить полной еврейской жизнью в нееврейском обществе; чтобы реализовать себя, он должен жить в независимом еврейском обществе; Израиль представляет собой именно такое общество, поскольку в нем — независимо от господствующих религиозных, нерелигиозных или социальных тенденций — сохранение еврейства автоматически гарантировано наличием политически независимого еврейского большинства, чего нет нигде больше в мире. Следовательно, никто не может быть более евреем, чем еврей, живущий в Израиле, — даже если он и не следует религиозному кодексу, установленному раввинистской традицией. Это было вполне логичное, но не вполне еврейское рассуждение. Оно предполагало, что сохранение еврейства зависит прежде всего от демографического отношения числа евреев к числу не-евреев на каждом квадратном километре контролируемой евреями территории. При таком подходе отношение: “девять евреев к одному не-еврею” — можно считать безопасным, тогда как отношение: “шесть к четырем” — кажется много менее надежным.

Я не собираюсь преуменьшать значение демографической арифметики в современной политической жизни. Но следует отметить, что в действительности политическому или административному преобладанию евреев в Государстве Израиль никогда ничто не угрожало. Арабы не хотят стать частью еврейской нации а еврейское правительство не собирается — несмотря на сильное давление — включать территории, занятые во время войны, в еврейское государство. Так что вовсе не эта опасность беспокоила сионистов. На самом деле их беспокоила и продолжает беспокоить опасность **ассимиляции евреев Востоком** — наподобие некогда произошедшей их ассимиляции Западом.

Обоснованное или нет, это беспокойство имеет глубокие исторические корни. Ассимиляция евреев восточным обществом на-

чалась, если верить Библии, почти сразу же после их прихода в Ханаан. Такой же мощной была их ассимиляция эллинизмом во времена господства греков на Ближнем Востоке. А в дни возвращения евреев из Вавилонского плена под руководством Эзры и Нехемии, когда евреям угрожала вражда и ассимиляция со стороны самаритян (подобно нынешней ООП самаритяне стремились “деиудаизировать” Палестину), все социальные контакты евреев с не-еврейским населением Палестины были сознательно и резко ограничены. Тем не менее иудаизм и перед лицом ассимиляции никогда не занимался демографическими подсчетами. Если история чему-либо и научила евреев, так это тому, что еврейство сохраняется не большинством или количеством, а лишь верой и качеством.

Война 1973 года породила среди израильтян замешательство, поскольку она, не сняв ни одной из проблем конфликта еврейского национализма с национализмом арабским, добавила к ним чувство неуверенности, которого не было после Шестидневной войны. Война 1973 года возвратила еврейское население Израиля в традиционное для еврейской истории состояние постоянной опасности, с которым многие израильтяне надеялись покончить раз и навсегда благодаря образованию независимого государства. В некотором отношении нынешняя ситуация даже хуже, чем положение евреев в старину. Сегодня израильтян не поддерживает более та вера, культура, образ жизни и ценности, которые поддерживали евреев в прежние века и даже позволяли им развиваться вопреки постоянной опасности.

Задача приспособления к этой старой и в то же время новой ситуации — самая серьезная из задач, вставших перед сионизмом после национального возрождения. Теперь уже речь идет не о том, что национальному движению, взявшемуся решить “еврейский вопрос”, предстоит **построить** государство для евреев. Речь идет о том, как обеспечить условия, которые позволили бы этому государству **сохранить** свой особый национальный характер в условиях расширения контактов с арабским миром и растущего численного превосходства последнего. Эта ситуация намного шире простого политического конфликта арабов с евреями. Здесь уже речь идет не только о столкновении двух национализмов, но и о столкновении двух культур и даже двух различных подходов к истории.

Действительно, один из главных вопросов, поставленных на

карту в арабо-еврейском конфликте, — это вопрос о подходе к истории, о том, что ее определяет — историческая необходимость или индивидуальная воля, индивидуальный выбор человека. Современный политический арабизм в своем подходе к истории исходит исключительно из детерминизма. И не только потому, что это оправдывает его борьбу за Палестину, но и вследствие своей веры в историческую неизбежность близкого арабского национального возрождения — веры, на которой основана вся концепция пан-арабизма.

До национального возрождения политическая философия сионизма также содержала изрядную долю исторического детерминизма. Но иудаизм к этому никакого отношения не имел. Хотя в нем глубоко укоренилась вера в существование божественного “сюжета” всей истории, но этот сюжет, согласно иудаизму, открыт только Богу, а не людям. Само же еврейское национальное самосознание не связано ни с божественным обетованием определенному народу, ни с откровением на горе Синай. Оно родилось в свободном и спонтанном, внелогичном акте веры одного человека — Авраама. И акт этот выразился в эпизоде жертвоприношения Исаака.

С исторической точки зрения это жертвоприношение было равносильно провозглашению торжества свободного индивидуального выбора над всякой исторической необходимостью. Человек становится тем, чем он **хочет** стать, а не тем, чем он родился или чему научен. Авраам первым в мире понял это. И поняв, покинул свою родину и после долгих духовных и физических поисков стал первым евреем на Земле.

Этот глубоко индивидуалистический и непредсказуемый подход к жизни Иезекиль Кауфман некогда назвал специфической особенностью еврейской религии и, как следствие, главной особенностью еврейского национального характера. По Кауфману, еврейский монотеизм не был ни продуктом социально-политической эволюции, ни плодом абстрактных размышлений. Это был результат вспышки “добела раскаленного религиозного чувства”. Именно поэтому иудаизм — не образ мысли, а образ жизни. Но до сих пор ценности иудаизма — переданные миру через христианство — служили ориентирами лишь в области отношений между человеком и человеком или человеком и Богом. Они никогда не прилагались к отношениям между государствами. Иудаизм никогда не оказывал влияния на политику. Когда евреи —

как группа — входили в политическую жизнь, они делали это на не-еврейский, западный манер, тот самый, который всегда возбуждал протесты древних пророков. В этом смысле сионизм тоже не был исключением. И поэтому теперь, после национального возрождения, перед ним стоит задача найти **еврейский** подход к нынешним проблемам, для которых не-еврейский подход, как мы видим, не дает пока ни ориентиров, ни решений. Но поиску этому суждено происходить в весьма необычных условиях.

В прошлом евреи всегда находились на периферии религиозно и политически организованного общества, в котором они жили как индивидуумы или как группы индивидуумов, лишенные политической власти. Сегодня же уникальность еврейской культуры, религии, языка и истории отодвигает еврейское **государство, как целое**, на периферию современного политического общества. Израилю приходится существовать в кругу не-еврейских народов, которые зачастую отворачиваются от нас потому, что больше опасаются изменений, вносимых нами в стандартный тип “идеологизированного общества”, чем нашей реальной политической или экономической силы. Арабы, например, привыкшие — по опыту общения с Западом — только к государствам с определенной “идеологией”, автоматически приписывают Израилю идеологию “иноземных завоевателей”. Одна из труднейших задач Израиля как раз и состоит в том, чтобы вытеснить этот стереотип своим подлинным образом миролюбивого пришельца.

Но даже если эта частная проблема будет разрешена, трудности существования Израиля в не-еврейском мире будут по-прежнему велики. В сущности, нам предстоит ни более, ни менее как убедить современное политизированное общество согласиться с нашей особой еврейской концепцией нации, которая основана на индивидуальном выборе и духовном сродстве, а не на привычных Западу понятиях территориальной, культурной и этнической общности. Но для этого еврейский национализм должен так же перерасти самого себя, как некогда еврейский монотеизм перерос политеизм. Еврейское государство должно найти в себе мужество посягнуть на всех “священных” коров современной политики, начиная со своих собственных. Оно обязано освободиться от современных идеологических идолов так же, как некогда древний иудаизм избавился от религиозного идолопоклонства. Это не кажется таким уж безнадежным делом — во всяком случае, то-

му, кто считает, что быть евреем по-прежнему больше честь, чем проклятие.

Политических идолов, как и идолов религиозных, нельзя свергнуть с помощью теоретических рассуждений. Их свергают посредством политических действий. А эти действия, по самой своей природе, подразумевают использование власти и силы. Как ни неприятны власть и насилие, они столь же необходимы для достижения политической зрелости, как познание страха и смерти — для достижения зрелости индивидуальной. Если еврейскому обществу суждено выжить, то, разумеется, только как независимому и суверенному. Но главная его задача все же будет состоять не в утверждении своего существования средствами силы, а в утверждении его средствами, соответствующими духу еврейского монотеизма.

Выбор между этими двумя путями — между борьбой за право **быть как все**, и добровольным согласием **отличаться от других** — и составляет разницу между старым и новым сионизмом. Конечно, Израиль, наверно, не возник бы совсем, если бы старый сионизм не боролся за такие же **равные права для еврейского государства**, какие новое время предоставило еврею, как **индивидууму**. Но сегодня еврейское государство уже не сможет выжить, если не покончит с этой тенденцией к коллективной ассимиляции, которая рождается из стремления “**быть, как все**”. Израилю необходим сегодня новый курс, который предполагает решительную борьбу со старыми идолами — национализмом, классовыми конфликтами и т. п. Борьба эта невероятно трудна. Но она не труднее, чем та, которую вел некогда еврейский монотеизм. А устарелость современной политической идеологии и разочарование, которое она порождает в людях, таковы, что, может быть, не столь уж безнадежно желать существования еврейского государства, которое будет жить по другим законам, чем законы страха и корысти, и привлечет к себе надежды многих людей — евреев и не-евреев.

*Перевел с английского Р. Блехман*

---

**Д. Сэгре** — профессор политических наук, живет в Иерусалиме, иммигрировал в Израиль из Италии; близок к кругу р. Адина Штайнзальца, выдвигающего идеи морального обновления иудаизма и наведения мостов к нерелигиозной части израильского общества; настоящая статья полностью опубликована в журнале “Шефа”, редактируемом А. Штайнзальцем; печатается с сокращениями.

## СОВЕТСКИЙ АНТИСЕМИТИЗМ — ПРИЧИНЫ И ПРОГНОЗЫ

*По инициативе Еврейского университета (проф. Ш. Эттингер), Общественного совета солидарности с евреями СССР (Д. Притал) и фонда "Москва—Иерусалим" (д-р Л. Цигельман-Дымерская и д-р Р. Нудельман) в Иерусалимском лесу был проведен двухдневный семинар по гуманитарным проблемам, посвященный анализу современного советского антисемитизма. Ниже публикуется краткое изложение основных докладов. Полностью материалы семинара будут опубликованы в издании Еврейского университета.*

**Р. Нудельман:** Существует известная инерция мышления, инерция готовых схем, и готовая схема антисемитизма представляет собой такую ловушку для еврейского сознания, склонного видеть антисемитизм и там, где его нет. Именно поэтому мне очень хотелось бы понять, представляет ли собой нынешняя эскалация антиеврейских настроений и действий советских властей действительно антисемитизм, т. е. некую **целостную идеологию**, или это только одна из сменяющих друг друга в истории разновидностей русского отношения к еврейству вообще.

На первый взгляд, нынешняя кампания мало отличается от "борьбы с космополитизмом" 1948–53 годов. Есть, однако, в ней и новый элемент: она захватывает буквально все уровни жизни, а не только отдельные сферы, как было тогда. Другим отличием является выход этой кампании на международный уровень, за пределы собственно советского блока. Но самым важным новшеством мне представляется появление признаков (или попыток) построения некой глобальной идеологической доктрины — не тактической, как в эпоху космополитизма, а именно идеологической, подводящей "базу" под все антиеврейские действия. Именно это и позволяет говорить об **антисемитизме** в СССР.

Эти признаки появились в СССР сразу же после Шестидневной войны, после событий в Чехословакии, на фоне нарастания дис-



сидентских и националистических настроений в странах советского блока. Тогда (впервые — в Польше) была выработана новая схема: все евреи по **своей природе** склонны становиться сионистами, а сионисты — “врагами народа”; кроме того, еврей может стать сионистом, сам того не сознавая.

Внедрение новых установок в массовое сознание ведется в последние годы весьма планомерно и идет по нескольким каналам, которые раньше для таких целей не использовались: кино, телевидение, обработка армии, лекционная пропаганда. Не стоит и говорить о том, какой размах приобретает эта пропаганда и обработка сознания в художественной литературе, очерке и публицистике (произведения Шевцова, Тевекеляна, Вильде, Солодаря и др.). Но стоит отметить, что вся эта пропаганда вслед за формулой “сионизм — это расизм” приняла теперь на вооружение формулу: “сионизм — это фашизм”. (Здесь тоже есть своего рода эскалация: если Ц. Солодарь пишет, что “руки основателей государства Израиль по локоть в еврейской крови”, то в вышедшей в Бейруте книге В. Махье, восторженно отрецензированной в СССР, уже заявляется, что “сотрудничество между сионистами и расистами привело к Катастрофе, которая стоила жизни почти 6 миллионам евреев”.)

Наиболее важным новым явлением в этой кампании мне кажется попытка доказать, что сионизм и его “всемирный заговор” — тот главный жупел, который выдвигает советская пропаганда, — не является чем-то преходящим в истории еврейского народа, а есть **закономерное, неизбежное следствие всей еврейской истории, еврейской религии и созданного ими еврейского национального характера**. Эта линия настойчиво проводится в писаниях таких лекторов и “специалистов по сионизму”, как В. Емельянов (лекция “Еврейский сионизм”, 1972 г., и “Докладная записка в ЦК КПСС”, 1977 г.), В. Скурлатов (“Сионизм и апартеид”, 1976 г.), В. Бегун (“Вторжение без оружия”, 1977 г.). Скурлатов, например, утверждает, что еще в глубокой древности сложилась некая еврейская транснациональная (?) корпорация, которая создала особую религию “богоизбранных” — иудаизм; иудаизм оказался очень удобной религией для захвата мирового господства, потому что весьма последовательно проводил идеологию расового господства и апартеида; сейчас эта никогда не исчезавшая “транснациональная корпорация” открыто взяла курс на захват власти над миром. О том же твердит В. Емельянов,

указывая даже дату захвата мирового господства — 2000-й год — и призывая советские власти принять “радикальные меры” против сионистов (любопытно, что перечень этих мер в “Докладной записке” Емельянова почти дословно совпадает с акциями, которые КГБ в последние месяцы осуществлял против Гинзбурга, Орлова, Щаранского, Слепака и др., а также с мероприятиями властей в других областях жизни). Бегун заявляет, что евреи испокон веков следовали шовинистической доктрине господства над миром, “сформулированной в Торе”. Он доказывает, что сионизм — всего лишь “светская разновидность” иудаизма, и заключает: “Так прослеживаются звенья одной цепи: Тора — идейные установки сионистских теоретиков — агрессия на Ближнем Востоке — развращение умов — мировое господство...”

Таким образом, сионизм “продлевается” в прошлое еврейского народа и привязывается к его религии, истории и чертам национального характера, т. е. к неустрашимым объективным реальностям. С другой стороны, он “продлевается” в будущее, где привязывается к фашизму и всему, чем он угрожает народам. Так, в книге “Наш ответ клеветникам” некто проф. Зубан утверждает: “Сегодня израильская пресса пишет, что арабы должны вернуть евреям Синай, Палестину, Иорданию, Сирию, Ливан и часть Саудовской Аравии, потому что все эти земли были обещаны Богом потомкам Авраама”.

Может показаться, что в рассуждениях о претензиях сионистов на мировое господство нет ничего нового по сравнению с “Протоколами сионских мудрецов”. Но “Протоколы”, хочу напомнить, никогда не были признаны царским правительством в качестве основы официальной идеологии. Эта идеология в царское время была антиеврейской, но не антисемитской (поскольку под антиеврейские законы не подводилась никакая глобальная доктрина). Сегодня мы видим, во-первых, возникновение такой глобальной доктрины: “иудаизм—сионизм—фашизм”, а во-вторых — превращение ее в официально принятую идеологию советских властей.

В этом свете мне кажется не случайным использование антисионистской терминологии. У нас еще идут споры, является ли советский антиссионизм маскировкой антисемитизма. На мой взгляд, эти споры беспредметны. Антиссионизм — составная часть марксистской идеологии — сегодня явился тем крайне удобным связующим звеном, которое позволяет перебросить мост между

“рациональным” марксизмом и “иррациональным” антисемитизмом. Советские люди привыкли к марксистской терминологии; при всех сомнениях в ее абсолютной правильности они признают за ней “научность”. Поэтому использование антисюнизма сразу как бы возвышает до “научной обоснованности” стихийный, иррациональный антисемитизм, дремлющий в сознании этих людей.

Аналогичную роль играет отождествление сионизма с фашизмом. Это исключительно “удачное” изобретение советской пропаганды. Достаточно вспомнить, какие ассоциации вызывает слово “фашизм” в массовом сознании. В новой советской пропагандистской схеме присутствуют, таким образом, все три элемента — антирелигиозный, марксистский и политический, — рассчитанные на быстрое усвоение средним советским обывателем.

Какова цель всех этих манипуляций? Разумеется, не просто борьба с советским еврейством или даже с Израилем. Развертывание антисемитизма позволяет на внутреннем фронте объединить все националистические силы, направленные на борьбу с диссидентами и национальными движениями на окраине; на международном фронте — объединить силы леворадикальной антисюнистской западной интеллигенции с силами сколачиваемого Советским Союзом державного блока арабских, азиатских и африканских народов.

Следовательно, возникновение советского антисемитизма и превращение его в официальную идеологию не следует считать случайным или преходящим этапом. Мы присутствуем при зарождении новой советской идеологии, компонентами которой являются великодержавный шовинизм и национализм, антисемитизм и антиинтеллектуализм, тоталитаризм. Я намеренно не назвал марксизм. Формально марксизм, как рационалистическая доктрина, противоречит антисемитизму, который всегда означает глобальную доктрину, основанную на признании наличия и главенства в мире иррационального, надисторического еврейского зла, (“вечного” еврейского заговора, врожденного и неизбывного паразитизма евреев и т. п.). Но именно эти черты иррационализма присущи русскому национализму и антиинтеллектуализму, входящим в новую советскую идеологию. Поэтому следует, по-моему, говорить о вытеснении из советской идеологии рациональных элементов (в том числе марксизма) в пользу элементов иррациональных.

Чем же вызвано такое перерождение советской идеологии? Я бы не хотел сводить его к личным особенностям тех или иных советских руководителей или тактическим потребностям советской внешней политики. Мне представляется, что это — следствие глубокого перерождения советского режима вообще. Этот режим становится все более “народным”, то есть все более выражает свое соответствие одной из сквозных традиций русской истории.

Оказалось, что советская власть является приспособленной к современности формой воплощения русского великодержавного сознания, воспитанного столетиями имперской истории. Оказалось, что советская власть является современной формой воплощения другой традиционной линии русского националистического сознания, воспитанного столетиями внедрявшейся мыслью о “всемирной избранности и призванности” русского народа и русского православия. Идеология этого великодержавного процесса, идущего сейчас в СССР, задается националистически настроенной интеллигенцией, которая становится все более влиятельной в советских неофициальных и даже официальных кругах. В этих кругах растет стремление сбросить с русского коммунизма, с национал-коммунизма обветшавшие интернационалистические, марксистские лохмотья и дать ему возможность свободного развития внутри и вне страны. Ясно, что в этих условиях роль евреев, исторически занявших в прежнем советском обществе высокие позиции, подошла к концу. Появление нынешнего советского антисемитизма и представляется мне объективным выражением этого факта в сознании идеологов, в сознании определенной части партии. Но речь идет не только о евреях — подошла к концу роль той “русско-еврейской интеллигенции”, которая сложилась в довоенные и первые послевоенные годы и была — в какой-то степени убежденно — носительницей марксистской идеологии, исповедовала — пусть робко, пусть в душе, в противоречии с практикой — идеалы либерализма, интернационализма и гуманизма.

(Не случайно такое большое число этих интеллигентов все еще убеждено, что марксизм, если его “подправить”, вполне совместим с этими “измами”). Вот почему рост антисемитизма в СССР идет рука об руку с ростом антиинтеллектуальных, анти“инородческих”, антидемократических настроений (которые частично заражают даже “антисоветскую” эмигрантскую интеллигенцию, ищущую “единения с народом”); не следует ли прислушаться

ся к ней, когда она объясняет, чего “хочет народ” и готова искать компромисса с советской властью?) .

Самым опасным является, на мой взгляд, то, что этот процесс взаимодействует с внешними процессами и усугубляется ими, потому что и внешнеполитические интересы СССР требуют его развития и поощрения. Не случайно Советский Союз стал в последние десятилетия не только главным экспортером оружия, но и главным экспортером новой модели общества, которую жадно перенимают новые государства Востока. Эта модель общества, оказавшаяся под стать “коллективистической” традиции в русском сознании, оказывается под стать коллективистическому сознанию этих народов также.

Если позволить себе чуточку воображения, то можно сказать, что мы присутствуем при наступлении “коллективистического” Востока на “индивидуалистический” Запад. И еврейство, как выразитель крайнего, наиболее яркого и заостренного индивидуализма (я имею в виду еврейство диаспоры), оказывается в центре этого процесса. Антисемитизм служит сегодня эффективным орудием единения всех националистически-тоталитарных сил в борьбе с демократией, либерализмом и гуманизмом. Процессам такого громадного размаха всегда нужен был яркий, конкретный символ. В эпоху крестовых походов им был Гроб Господень. В недавние времена им стал Вьетнам. Сегодня им является Израиль, евреи и сионизм.

---

**Ильин:** Я хочу начать с одной, быть может, неожиданной аналогии. Уже в течение многих лет время от времени проводятся международные симпозиумы и семинары по вопросам... контактов с инопланетными цивилизациями. Фантасты разных стран немало потрудились, изображая, как два разума встречаются где-то в глубинах Вселенной и что затем происходит. Западные фантасты, как правило, утверждают, что такой контакт должен кончиться катастрофически, тогда как советские чаще изображают сладкие, сусальные картины мирного “сосуществования” и сотрудничества.

В чем же, на самом деле, состоит такой контакт? Совершенно очевидно, что независимо от внешнего облика контактирующих и типа их мышления контакт будет благоприятным и цивилизации смогут сосуществовать, только если обе они имеют одинаковые или сходные морально-нравственные основы.

Если понятия добра и зла в обеих цивилизациях примерно оди-

наковы, то возможен разговор, возможен контакт, можно не бояться, что одна цивилизация уничтожит или поглотит другую. Если же эти основы различны, то ситуация, вообще говоря, безнадёжна, быть может, даже деструктивна.

60 лет назад в России появилось новое государство. Я берусь утверждать, что на самом деле произошло нечто большее. Возникла новая цивилизация, принципиально отличающаяся от существовавшей в Европе и Америке иудео-христианской цивилизации. Та цивилизация, которая возникла на осколках старой России, в качестве своего морально-этического и нравственного базиса провозгласила релятивизм. Она отрицает абсолютные понятия добра и зла, которые были даны евреям в Синайском Откровении, а затем были трансформированы и переняты христианством.

Эта новая цивилизация утверждает, что хорошо то, что полезно. Как этическую норму, она, в конечном итоге, провозгласила некий вариант разумного эгоизма: каждый раз производится взвешивание выгод, и моральным считается то, что является полезным и выгодным в данный момент. Иногда убийство оказывается высшей добродетелью, а помощь тому, кто о ней просит, — страшным грехом, за который нужно карать. Нужно лжесвидетельствовать, потому что это может быть выгодно, а за то, что человек говорит правду, его нужно казнить, если эта правда — ересь.

Я хочу, однако, обратить внимание на то, что абсолютность иудейской морали — это очень тонкая вещь. Когда Господь дал евреям бессмертные Заповеди, Он, быть может, не имел в виду, что все люди должны непременно эти заповеди выполнять. Мне кажется, имелось в виду нечто другое — вместе с этими заповедями в людях, в их сознании было сформировано понятие совести. Каждый раз, когда человек нарушает заповедь, он страдает от ощущения, что совершил нечто недопустимое. Он вновь и вновь продолжает нарушать их, но страдает вновь и вновь.

По существу, весь Танах — иллюстрация того, как человеческая личность борется со своими, быть может, низменными какими-то потребностями и инстинктами, отстаивая в себе и во внешнем мире, утверждая эту необходимость абсолютного морально-нравственного критерия.

Интересно, что христианство, в общем, переняло эти заповеди. Но оно внесло важное новшество. Оно экстремизировало эти заповеди, еще более усилив ощущение греха у людей, потому что заповеди в христианской интерпретации значительно труднее

выполнять, чем в интерпретации иудейской. Человек в христианстве фактически постоянно находится в состоянии греха, и это и есть движущая сила развития его, как христианина.

Таких понятий — греха, совести — принципиально нет в той, другой цивилизации, о которой я говорил вначале. Поэтому, едва возникнув, будучи новой на этой Земле, она сразу же столкнулась со своим антиподом. Антиподом, который является глубоко деструктивным для нее. Мне думается, что советский антисемитизм принципиально отличается от всех видов антисемитизма, которые были до него, именно в этом вопросе.

Раньше антисемитизм базировался частично на веронетерпимости, частично на каких-то расовых, экономических, социальных, идеологических соображениях. Некоторые из них, возможно, в какой-то степени глубоко органичны человеку, как биологическому существу вообще. С появлением новой “коммунистической” морали это противостояние приобрело совершенно иной характер. Высказывания Бегуна и других, которые здесь приводились, являются яркой иллюстрацией того, в чем причина нового противостояния.

Почему коммунизм не может допустить существование еврейской культуры? По одной простой причине. Она не просто противоположна другой культуре — коммунистической, но она ее отрицает, она является ее самым страшным врагом. Тут уж буквально нужно хвататься за пистолет...

Я не хочу утверждать, что коммунистические режимы враждебны любой культуре, я не хочу сейчас анализировать коммунистический режим вообще. Я рассматриваю только один его аспект — антисемитский.

По существу, мой тезис состоит в том, что причина того советского антисемитизма, который мы видим сейчас, — это противостояние двух цивилизаций. Вопрос этот даже намного шире, ибо коммунистические режимы противостоят не только иудейской цивилизации, они противостоят всей западной цивилизации примерно в том же плане, хотя, конечно, евреи своим существованием выражают квинтэссенцию этого противостояния.

Совсем другой вопрос, — что конкретным носителем этой “марсианской”, враждебной нам цивилизации является русский народ. Я не знаю, может быть, на другой почве подобная цивилизация вообще не могла бы возникнуть, но сейчас мне представляется, что причина тут не в русском народе, а в той принципиаль-

но другой моральной и нравственной основе, которую в данном случае этот народ выражает. Релятивная мораль коммунистической цивилизации — это сегодня мораль всего народа. Весь народ исповедует эту мораль. Интеллектуалы исповедуют эту мораль. Многие евреи исповедуют эту мораль (может быть, поэтому так трудно бывает некоторым из них, когда они покидают Россию). И это, в сущности, понятно. Коммунистическая мораль проще, она предъявляет значительно меньше требований к человеческой личности.

Тем не менее, совершенно понятно, почему евреи в коммунистических странах рассматриваются как пятая колонна. Они являются пятой колонной в той же мере, в какой переодетый землянин был бы пятой колонной в “нормальном” марсианском обществе. Они другие, они не такие, они враждебны, они опасны, их нужно уничтожить...

Мне кажется, такой подход может дать нам один из ответов на вопрос, который нас волнует. Это очень сложный вопрос, и я готов согласиться с тем, что этот ответ, быть может, даже неправилен. Думаю, что в любом случае, он не всеобъемлющ.

---

**Амрам:** Однажды в СССР мне попала самиздатская работа. На обложке стояло: Георгий Шиманов, “Перед смертью”. Книга состояла из двух частей: “Перед смертью” и “Записки из Красного дома”. “Записки из Красного дома” вскоре были опубликованы на Западе, “Перед смертью” опубликовать постеснялись, несмотря на хороший слог автора и обилие интересных мыслей. В опусе “Перед смертью” Георгий Шиманов сначала пишет, что все нации равны, но затем выясняется, что некоторые нации обладают рядом недостатков и эксплуатируют и травят кроткий и добрый русский народ. К этим нациям (кроме, разумеется, евреев) Георгий Шиманов причисляет почему-то грузин и, вдруг, неожиданно оставя в покое евреев, обрушивается на грузин с такой бранью, что нам, евреям, становится как-то неодинокко: не одни мы, оказывается, уничтожали русский народ и превращали его остатки в навоз. По мнению Шиманова, грузины в Грузии издеваются над живущими там русскими и, следовательно, **грузин следует всех уничтожить, а Грузию заселить русскими людьми!**

Как и все его духовные братья из русских нацистов, группирующихся вокруг “Вече”, Георгий Шиманов преисполнен люб-



ви к своему народу ("человечнейшему из народов"), причем любовь эта понимается как ненависть ко всем прочим народам, которые исключительно преисполнены стремлением уничтожить русский народ. В этой простой истине заключаются все духовные поиски русских антисемитов, с которыми можно ознакомиться в их многочисленных статьях и с которыми евреи так любят полемизировать, пытаясь убедить их, что не все евреи виноваты, а если и виноваты, то не только евреи. Как та девушка, что писала Достоевскому, что не все евреи плохие, есть среди них и достойнейшие люди. Достоевский нехотя соглашался: действительно, есть, но ведь не о них идет речь, весь народ в целом порочен, объективно вреден и опасен.

Все эти русско-еврейские споры по сути своей бесплодны, ибо исходят из разных предпосылок: евреи пытаются отыскать взаимодовлетворяющую истину, считая, что она — истина общая для всех, а русские антисемиты знают свою, русскую истину, которая может быть благосклонна к ним и неблагосклонна к евреям. Поэтому евреи усматривают в суждениях Георгия Шиманова множество противоречий и отсутствие логики; Шиманов же никаких противоречий в своих суждениях не видит, ибо если он говорит, что евреи только и делали, что уничтожали русский народ и низводили остатки его до положения навоза, то говорит он это не потому, что у него в руках какие-то подтверждающие это положение факты, которым он верит, а потому, что ему **хочется в это верить**; вера, что "промеж себя мы хорошие", а в несчастьях виноваты евреи, немцы, грузины, татаро-монголы, сионизм, империализм, мировая буржуазия — основа психологии дикаря, возвращающая ему душевное равновесие.

Антисемитизм — это ненависть к евреям, возникшая от страха перед ними из-за преувеличенного мнения об их способностях и возможностях. Антисемит никогда не презирает евреев, а наоборот, очень их уважает, и, заранее считает, что способностями они превосходят людей его народа и потому их надо непременно уничтожить — иначе они уничтожат его народ. Антисемитизм есть следствие комплекса неполноценности, который охватывает зачастую целые народы.

Этот комплекс неполноценности, и, как следствие, взрыв антисемитизма характерны для периода исторических трудностей, переживаемых народами, независимо от того, какими причинами

эти трудности были вызваны: стихийным ли бедствием, нападением внешнего врага или внутривластной смутой.

Чувство неполноценности, как причина ксенофобии, не есть лишь удел антисемитов: те же причины обусловили ненависть к армянам, логично завершившаяся в 1915 году армянским Освенцимом в Турции, когда турки за несколько месяцев без всяких газовых камер и пулеметов вырезали 1,5 миллиона армян. Роль евреев в Юго-Восточной Азии выполняют китайцы, гораздо более образованные и динамичные, чем окружающее их население. А в Латинской Америке и Африке местное население ненавидит янки и белых. Конечно, ни один парагваец или негр не скажет себе: "я дурак и лентяй, у меня нет потребностей, и я не люблю работать, поэтому я живу бедно", он скажет: "белые империалисты захватили мою страну и эксплуатируют меня и мой народ — следует уничтожить белый империализм и обрести свободу". Многие народы так и поступили, однако жизненный уровень их снизился еще больше, что, впрочем, не мешает окружающим их "закабаленным" народам смотреть с надеждой на какой-нибудь Остров Свободы, где рис выдают по карточкам, зато нет ненавистного империализма янки.

Тот же комплекс неполноценности обусловил революцию в России. Русскому национальному характеру вообще свойственно обостренное чувство самоуважения ("ты меня уважаешь?") и стремление к справедливости, которое понимается массами как всеобщее подчинение единому эталону и осуждение любой индивидуальности ("брезгуешь?" и "слишком умный!"). Поэтому семена социализма нашли в России благоприятную почву и дали такие обильные всходы. Еще Жаботинский писал, что простой человек ищет причины своих несчастий извне и читает политическую литературу исключительно с целью найти виновников своих бед. Поэтому революционный листок винит во всем урядника, а погромный — жида. В 1917 году урядники были уничтожены заодно с 60 миллионами человек, что, однако, не принесло народам России золотого века. Остается, естественно, заключить, что виноваты жида. Именно это положение и составляет основу всех утверждений как советских идеологов, так и русофилов Шиманова, Скуратова и пр. Утверждения эти вкратце таковы:

1. Евреи от природы жестоки — следует цитата из Библии (на пример: Иисус Навин, захватывая какой-нибудь ханаанский город, уничтожал все его население). Многочисленные аналогичные при-

меры из русской истории гораздо более близкого нам времени не принимаются во внимание.

2. Евреи создали христианство и с его помощью разрушили психологический склад индоевропейских народов. (Следует тонкий намек, что при Перуне и Скотьбоге было не в пример лучше, а если Перуну и приносили в жертву детей, то не каждый же день.)

3. Евреи совершили революцию в “разляпистой” России: гениальный злодей Израиль Парвус подчинил себе ничтожного Ленина, в котором тоже “только четверть крови русская” и, прикрываясь им, как ширмой, осуществил свои злобные планы уничтожения русского народа. (Кстати, Солженицын не мог не знать, что Парвуса звали не Израиль Лазаревич, а Александр Лазаревич, но ведь Израиль звучит гораздо определеннее.)

4. Евреи, преисполненные звериной ненависти к русским, создали ЧК-ГПУ-НКВД-МВД-КГБ исключительно для уничтожения русского народа. (Тот факт, что в “Органах” евреи составляли меньшинство и из семи руководителей большого террора: Дзержинского, Менжинского, Ягоды, Ежова, Берия, Абакумова, Игнатьева — только один Ягода был евреем, не имеет значения, так же как и сотни тысяч евреев, погибших в тюрьмах и лагерях).

5. Советские официальные антисемиты вдобавок намекают, что евреи хотят свергнуть советскую власть и, конечно же, уничтожить русский народ — как извне (это они привели к власти Гитлера и натравили его на русский народ, а сейчас роль Гитлера перешла к Израилю), так и изнутри (путем сочинения анекдотов про Василия Ивановича Чапаева и охаивания русской истории посредством фильма “Андрей Рублев”).

Полемизировать на эту тему представляется мне бессмысленным, ибо обращаюсь я сейчас не к русским антисемитам, а к самим евреям, многие из которых, как это ни странно, охотно воспринимают антисемитскую аргументацию и пытаются на ее основе построить свое собственное мировоззрение, основывая его на том, что-де “сын за отца не отвечает” и если евреи и хотели уничтожить русский народ, то было это давно и сейчас они этого не хотят и поэтому следует оставить их в покое (так, многие евреи убеждены, что ЧК-ГПУ действительно состояло из одних евреев). Антисемиты с этим решительно не согласны, ибо, по их мнению, генетическая приверженность евреев ко злу и их особые способности и таланты делают невозможным мирное со-

седство двух народов, и поэтому “человечнейший из народов” должен самыми радикальными средствами избавиться от евреев (и по некоторым предположениям, и от грузин, которые тоже слишком умные), дабы не превратиться в навоз. В этом смысле советские антисемиты оказываются гораздо дальновидней и последовательней дореволюционных русских националистов. Те еще взвешивали разные варианты:

“... я спросил Государя, может ли он потопить всех русских евреев в Черном море. Если может, то я понимаю такое решение вопроса, если же не может, то единственное решение еврейского вопроса заключается в том, чтобы дать им возможность жить, а это возможно лишь при постепенном уничтожении специальных законов, созданных для евреев...” (С. Ю. Витте, “Записки”). А у современных вариант один:

“... В 1951 году я был в спецлагере под Иркутском, и нас вдруг бросили строить железнодорожную ветку, отвод от центральной магистрали Владивосток-Москва. Строили мы спешно, в глухом месте, и ветка шла к Байкалу. Нам даже зачеты на этой работе давали. Довели рельсы до обрыва на скале, нависшей над озером. Там добрая сотня метров до воды и скала отвесная. Спрашивали мы: “Зачем сюда ветка идет?”, а нам отвечали, что это для рыбного флота, база тут будет. И лишь потом дошли до нас слухи — секреты-то начальство хранить не умеет, — что приказали эту ветку построить, чтобы эшелоны с евреями в Байкал сбрасывать. Подох Сталин, а ветка и по сей день стоит, зарастает, гниет” (Шифрин, “Четвертое измерение”).

Характерно, что почти никто из миллионов русских евреев, со страхом ждавших в те годы массовой высылки в Биробиджан, и мысли не допускал, что их всех планируется **просто уничтожить** — все думали, что в Биробиджане “строятся бараки”. Точно так же и сегодня по убеждению подавляющего большинства израильтян — советская политика на Ближнем Востоке не ставит своей целью уничтожить Израиль, а все факты, указывающие на это, попросту не принимаются во внимание.

Заканчивая, можно сказать, что весь комплекс русско-еврейских отношений лежит не в области истории, логики или здравого смысла, а в области чувств, зачастую весьма темных. Поэтому пытаться убедить русских антисемитов, что мы, евреи, хорошие, а советскую власть — что Израиль готов освободить те или иные территории, совершенно бессмысленно. Более того, можно пред-

положить, что продолжающееся ухудшение внутривнутриполитического и экономического положения СССР вызовет невиданный рост антисемитизма, который выразится как в преследовании советских евреев, так и в крайне антиизраильской политике. Поэтому, спасти евреев от уничтожения может лишь сильный Израиль, в своем политическом мышлении способный выйти за рамки арабо-израильского конфликта и понять, что подлинная опасность существованию еврейского народа грозит не из Дамаска или Бейрута, а из Москвы. Пока признаков такого понимания нет.

---

**А. Воронель:** Для того, чтобы моя мысль стала понятной, я должен начать издали. Я начну еще более издали, чем вчера начал профессор Эттингер. Он начал с ереси жидовствующих XV века. Мне кажется, что первый русско-еврейский контакт установили намного раньше, когда хазарский каганат держал русские княжества под своим контролем.

Именно тогда впервые (и в русских былинах это можно отчасти проследить) в сознании русского народа возникло мистическое представление о евреях ("жидовинах"), как о чем-то страшном, необычайно сильном, далеко превосходящем по своей силе среднего человека, а тем более — русского человека. И хотя это представление в дальнейшей русской истории никак не подтверждалось, но и сегодня средний русский человек уверен, что жида сильнее его.

Существует и другое отношение к евреям, которое я бы условно назвал польско-украинским, основанное на чисто практических наблюдениях, поскольку поляки и украинцы всегда были в контакте с евреями. Но то были совсем другие евреи — не страшная военная сила, как хазары, а обыкновенные торговцы и ремесленники. Поэтому на Украине нет такого мистического отношения к евреям, как в России. Украинцы хорошо знают, кто такие евреи, они знают, как их резать (никто так успешно и жестоко не резал евреев, как украинцы), и знают, как с ними договориться. Они воспринимают евреев как чуждое племя, с которым у них есть, допустим, конкуренция или вообще практические отношения. И совсем другой характер имеет отношение к евреям русских людей (или, по крайней мере, какой-то их части). Мне кажется, что такое деление — на мистическое и практическое отношение к евреям — более плодотворно для понимания, чем деление на филосемит-

ское и антисемитское. Потому что ведь и мистическое отношение может быть и филосемитским, и антисемитским, и практическое тоже.

Русский филосемитизм построен на мистике, на вере в то, что евреи, наверно, что-то "такое" знают, что-то "такое" в себе несут, нечто "сверхчеловеческое". Но и русский антисемитизм, страх по отношению к евреям тоже имеет чисто мистический характер, растет из ощущения внутренней слабости. В истории — в русской истории в частности, — эти два типа отношения периодически сменяют друг друга, поднимаясь и спадая, как синусоида. До XIX века преобладало мистическое, — я назову его "русским", — отношение к евреям. Я видел указ XVIII века, в котором жидам-караимам разрешалось держать кабаки и винные откупа в Литве. Там объясняется, что жида-караимы не такое страшное и вредное племя, как обыкновенные жида, потому что жида-караимы не признают Талмуда, а Талмуд, как известно, это страшная и абсолютно недоступная нормальному человеку книга (между прочим, то же самое мистическое, испуганное отношение к Талмуду можно увидеть сегодня во всех писаниях Емельянова, Бегуна и им подобных).

Я помню аналогичную резолюцию императрицы Елизаветы на каком-то предложении — кажется, Разумовского, который был украинцем и потому спокойно воспринимал жидовство, как полезное племя, которое содержит ремесла и торговлю, и предложил Елизавете переселить жидов из западной области немножко восточнее, чтобы на Украине развилась торговля, как это существует в Польше. На что Елизавета отвечала так: "От жидов и пользы не надобно". Здесь виден чисто мистический страх, ужас какой-то, что от жидов может произойти заранее непредвиденный, непонятный вред.

В дальнейшем в русском государстве, поскольку оно управлялось, в общем, европеизированными людьми, западниками, победило чисто практическое отношение к евреям. Евреи заняли достаточно прочные позиции в русском обществе, хотя время от времени русская мистическая тенденция снова просыпалась. Например, уже в XIX веке был неожиданно издан указ: запретить евреям проживать на Рижском взморье и даже посещать его, — после чего жители Рижского взморья буквально взмолились отменить этот указ, потому что они разорились без евреев. Таким образом, этот мистический ужас, превозмогавший даже соображения

экономической пользы, время от времени овладевал русскими администраторами.

Что произошло после Октябрьской революции? Какая бы революция ни произошла в России и как бы радикально она ни изменила общественную структуру, в общем она не может выйти за пределы необходимости, диктуемой русской историей. Русская история остается историей народа, живущего на этой территории в определенных условиях. Поэтому и советская власть оказывается в рамках той же необходимости. Она нуждается, как нуждалась в свое время и царская власть, в некоем квалифицированном меньшинстве, которое по отношению к основному населению было бы несколько чуждым. Царская власть всегда для этого использовала немцев, поэтому евреи были не слишком ей нужны, поэтому еврейская проблема не становилась проблемой номер один на государственном уровне. Весь XVIII век и начало XIX-го заполнены полемикой русского дворянства с немецким (еще в середине XIX века Менделеев, достаточно просвещенный человек, не постыдился черным по белому написать, что русская наука потому в плохом состоянии, что немцы ей мешают). Но это была конструктивная полемика, поскольку никаких мистических особенностей за немцами не признавалось. Это была обычная конкурентная борьба, и как конкурентная борьба она вызывала некоторые преувеличения.

Нечто подобное происходит и сейчас. Советская власть полностью уничтожила дворянство и средний класс. В 30-е годы она вдобавок уничтожила даже свои собственные партийные кадры, в результате чего лишилась громадного человеческого капитала. Поэтому евреи (а также армяне и всякие другие "инородцы") выдвинулись в ряды квалифицированного меньшинства, и европеизированная государственно ориентированная часть партийной верхушки их приняла — обычно на вторые роли, но тем не менее приняла. И они работали. Работают и сейчас. Одновременно, поскольку Россия — это большая империя, в ней происходит рост национализма, развитие национальной идеологии, которая ощущает это квалифицированное меньшинство как конкурентноспособное, слишком сильное для них. Националисты начинают бороться с "засильем евреев", как они это называют, и борются довольно успешно, потому что "засилье", как мы знаем по статистике последних лет, непрерывно ослабевает. Но одновременно на всю эту реальную, я бы сказал — "польско-украинскую", си-

туацию накладывается древнее противостояние, которое имеет идеологический характер и связано с мистическим отношением к евреям. И я думаю, что сейчас наступает момент, когда конструктивное отношение русской государственной администрации к евреям меняется на опасливо-мистическое отношение. Это продолжение той же синусоиды: где-то на рубеже XVIII-XIX веков русское мистическое отношение сменилось практическим польско-украинским, которое было антисемитским, но тем не менее практическим. Затем, в рамках того же практического отношения, стал преобладать филосемитизм, чтобы в 30–40-е годы уступить место антисемитизму. Наконец, сейчас, после 60-х годов, снова начинает преобладать мистическое отношение к евреям, как к чему-то невидимому и страшному.

Чем это вызвано и с чем связано? Тут я подхожу к главному, ради чего я позволил себе такое большое предисловие. В самой резкой, парадоксальной формулировке мое предположение звучит так: **современная антисемитская кампания в СССР не имеет никакого отношения к евреям.** Она не направлена против евреев. В Советском Союзе происходит очень серьезная внутрипартийная борьба, связанная с тем, что старшее поколение вымирает и в России меняется элита. Сейчас идет борьба за то, каков будет состав элиты, которая сменит старую. В этих условиях крайняя группировка, настроенная весьма националистически, выбирает то направление борьбы, которое по общественным условиям в СССР не может быть наказуемо. Она развязывает грандиозную антисемитскую кампанию, потому что знает, что в существующих общественных условиях ни один влиятельный партийный работник не посмеет открыто выступить против антисемитизма. Таким образом, у претендента, который выступает против старого истеблишмента, оказывается в руках мощнейшее оружие. Борьба с ним можно только тоже на антисемитской почве, а для этого власти должны заявить себя еще большими антисемитами, чем он. Но, во-первых, большими антисемитами быть невозможно, потому что антисемитизм русских националистов приобрел уже прямо фантастические масштабы, а во-вторых, это перестает быть государственно разумным, — тогда уже нужно перейти к прямым погромам или к чему-то такому, что нарушает нормальное существование государства.

Сегодня против истеблишмента, который — как любой истеблишмент — заинтересован в стабильности, выступает очень силь-



ная группа, которая идет все дальше и дальше, провозглашает все более радикальные антиеврейские лозунги. Эта группа знает, что, если она провозгласит, скажем, антиармянские или антиказахские лозунги, она немедленно будет разгромлена. Но антиеврейская пропаганда в СССР — это беспроигрышная кампания. Обратите внимание на состав группы, которая сочиняет эту безумную антиеврейскую литературу. Вот, например, Емельянов. Это не какой-то неизвестный человек, управляемый чьей-то рукой. Это вполне известный человек, он работал в Институте востоковедения, он многократно страдал за свой антисемитизм, у него были неприятности с КГБ, его выгнали из института. Он действительно “диссидент”. Но это диссидент, который обладает громадной силой. Или вот Скурлатов. Многие москвичи знают, кто такой Скурлатов. Это фашист, причем слово “фашист” я употребляю сейчас не в оценочном, а в чисто идеологическом смысле. Он это понимает, он сам считает себя нацистом, и будучи работником Московского горкома комсомола, сотрудником “Университета молодого марксиста”, разослал в качестве инструктивной бумаги этого университета некий документ, который имел настолько чудовищно-фашистский характер, что его выгнали из горкома. И вот теперь он нашел себе применение в антисемитской кампании.

Эти люди действительно рискуют, потому что они ведут настоящую политическую борьбу. Общеизвестно, что в России есть подпольные националисты, которые издают журнал “Вече”, и есть открытые националисты, которые сидят в ЦК, в Институте мировой литературы, в Центральном доме литераторов. Такие люди, как Палиевский, Кожин и другие известные критики и литературоведы, всерьез разрабатывают русскую националистическую идеологию. Им покровительствуют несколько членов ЦК — Полянский, возможно, Устинов, — которые открыто их поддерживают. Когда таких рьяных антисемитов сажают, выгоняют или наказывают, это не означает, что восторжествовало правосудие. Это означает, что один член ЦК дал по рукам другому члену ЦК, который протянул руки слишком близко к его карману. “Дать по рукам” — это значит дать Осипову 8 лет за издание “Вече”, это значит протолкнуть в “Литературную газету” статью против русского национализма. Судьба самого Осипова при этом во внимание не принимается, — как и судьба евреев в этой кампании.

КГБ тоже очень сильно вовлечено в эту борьбу. Я не знаю, на

чьей стороне; возможно, КГБ тоже не едино в этом вопросе, но в чем я уверен, так это в том, что перед нами политическая игра, которая является борьбой за власть. Вот почему я сказал, что это не имеет никакого отношения к еврейскому народу.

Теперь я скажу нечто совершенно противоположное. **Эта борьба целиком определит судьбу еврейского народа в СССР.** Точно так же, как борьба Полянского с Брежневым не имеет никакого отношения к Осипову, но Осипов получил 8 лет и сидит в лагерях, так для еврейского народа исход борьбы Полянского с Брежневым может означать жизнь или смерть.

Я согласен с Р. Нудельманом, который сказал, что в современной ситуации антисемитизм в СССР становится в какой-то степени государственной идеологией. Я согласен с этим в той мере, в какой русская империя действительно становится все более национальным государством и ее идеология все более национализуется. Но я не согласен с этим в том смысле, что чем ближе к власти окажется какая-то группа, тем более она вынуждена будет отказаться от чисто национальной идеологии, потому что империей нельзя управлять с помощью чисто русских национальных лозунгов. Поэтому по мере приближения к власти такие группы вынуждены будут расставаться с национальной идеологией в целом. Есть, однако, один пункт этой идеологии, который можно сохранить и который не жалко сохранить, потому что он не затрагивает ни одну из колоний этой империи — антисемитизм. Антисемитизм так удачно расположен на карте националистической идеологии, что оказывается, единственной ее чертой, которая устраивает и правых, и левых, и националистов, и империалистов. Брежнев, Кириченко, Подгорный — это все украиноподобные люди, они все родом с Украины, у них у всех есть родственники-евреи. Все они антисемиты, но для них евреи — это люди, как они сами: они знают, что могут с ними конкурировать, могут разрешить им уехать или не разрешить, но они делают это по чисто практическим соображениям, и такие соображения для них достаточны.

Националистическая группа, которая пытается столкнуть Брежневых и Кириченко, только на поверхности возглавляется фанатиками. В действительности ею руководят люди, далекие от фанатизма. Но для них характерно мистическое отношение к евреям. Они не могут позволить евреям сделать ничего такого, что евреи хотят. Если они хотят уехать, их надо не выпускать; если они не хотят уезжать — их надо выгнать. Они будут все делать

так, чтобы погубить еврейский народ. Такова их идея.

Антисемитизм — тот компромисс, на котором могут помириться эти две большие группы, помириться и поделить власть. Ведь даже в сталинские времена власть в СССР не была единоличной, хотя такое представление всячески насаждалось. Даже в сталинские времена существовала инициатива снизу, и те работники, которые ее проявляли, смертельно рисковали — но некоторые выигрывали. Теперь же это почти целиком так: не вся внутренняя политика планируется сверху и, в частности, антисемитизм. Такие общие установки, как ограничение приема в институт и на работу, действительно планируются, но антисемитизм, как параноидальная идеология, антисемитизм, как мистическое отношение к евреям, идущее даже на нарушение собственных практических интересов, не планируется никем. И это значит, что он еще опаснее, потому что это — единственный вид идеологической инициативы, который не может быть не поддержан сверху. Партийный работник, желая доказать свою лояльность и проявить качества, которые сделают его популярным в определенных кругах, просто обязан поддержать инициативу таких безумцев, как Емельянов или Скурлатов. Он может сознавать, что это глупо, это может вредить ему в его непосредственной деятельности, но он должен это сделать. А тот, который готов — ради практических выгод — идти с евреями на компромисс, всегда, в конце концов, отступает перед антисемитом, потому что его компромисс — всегда тайный, потому что он боится сознаться, что вступает в гнусные сделки с мировым сионизмом.

Это и есть та главная опасность, которая угрожает сейчас еврейскому народу в СССР. Даже истеблишмент, даже сравнительно умеренная группа партийных работников имеет только один выход в борьбе с “правым” экстремистским крылом — уступить в отношении евреев. Уступить, скажем, в отношении казахов или армян они не могут — это означало бы объявить чисто нацистские лозунги, изменить в корне всю имперскую политику, а империя на таких лозунгах держаться не может, это немедленно приведет к крушению.

Вот почему мне кажется, что для анализа ситуации, для понимания тенденции, для выработки прогнозов необходимо понимать, что все, связанное с антисемитизмом, и, в частности, нынешняя смена отношения к евреям, имеет на самом деле прямое отношение к вопросу о том, кто будет у власти в СССР. Та-

ким образом, вопрос этот не мелкий, от него нельзя отмахнуться. Это то, что определяется отчасти всей мировой политикой и что определит судьбу 2–3 миллионов советских евреев в будущем десятилетии.

Одним из факторов в этой борьбе является, конечно, международное общественное мнение. Если оно должным образом оценит тот безудержный, сумасшедший антисемитизм, который имеет место сейчас в СССР, если оно покажет советским властям, что такая идеология не котируется на международном рынке, это будет означать еще одну гирьку на чаше “практического” (умеренно, практически антисемитского) крыла в СССР в его борьбе с крайним, мистически-антисемитским крылом.

Если мы не будем учитывать, как главное, что антисемитизм в СССР связан с борьбой за власть и выражает собой интересы реальной группировки в партии, мы рискуем не понять, что происходит в СССР. Я решительно не верю, что антисемитская пропаганда имеет чисто идеологическое значение. Я уверен, что она является оружием в политической борьбе, и не в борьбе с Израилем, поскольку Израиль для СССР — это внешнеполитическая проблема, для решения которой существуют свои методы, а во внутренней политической борьбе между силами, противостоящими друг другу в нынешнем ЦК.

---

**Л. Цигельман-Дымерская:** Для того, чтобы представить, что такое современный советский антисемитизм, мне кажется, следует рассмотреть его в контексте общей идеологической ситуации, сложившейся в советском обществе в 60–70-е годы. Я разделяю ту точку зрения, что антисемитизм — составная часть политики и идеологии властей. Я согласна и с тем, что интенсивность и направленность очередной антисемитской кампании во многом определяется борьбой господствующих группировок за власть. Но для понимания общей ситуации важно также понять, каково отношение к еврейскому вопросу и других, неправительственных кругов.

Разумеется, в официальной советской литературе трудно найти ответы на эти вопросы. Но, начиная с 60-х годов, значительным явлением духовной и политической жизни в СССР стал Самиздат, в котором нашли отражение взгляды и настроения людей и групп, в той или иной мере оппозиционных по отношению к властям. Однако, если поначалу в Самиздате преобладали работы разобла-

чительного и оппозиционно-демократического направлений, явно противостоящие идеологии тоталитаризма, то сейчас, в 70-е годы, начинают появляться и направления, явно созвучные ей. В связи с этим становится несостоятельным простое полярное противопоставление официальной и оппозиционной идеологий.

Ближе к реальности кажется мне модель спектра связанных между собой идеологий современного советского общества. Такую модель недавно предложил А. Амальрик ("Идеология в советском обществе", АС № 2536). В этой модели "колеса" господствующая идеология представлена двумя направлениями: "неосталинский марксизм" (идеология захвата и удержания власти) и "неосталинский национализм" (то же самое, но на основе великодержавного русского национализма). Шовинистические черты связывают это последнее направление с примыкающим к нему дальше по кругу неославянофильством, которому, в отличие от официальной националистической идеологии, присущи гуманистические черты ("национализм с человеческим лицом"). Наиболее репрезентативная фигура этого направления — Солженицын; опираться оно может на интеллигенцию и полунинтеллигенцию города и деревни. Через идею русского мессианства это направление связывается со следующим сектором "колеса" — социально-религиозной идеологией, "народнической" по своим истокам. Эта идеология находит отклик в разочаровавшейся в марксизме, но "народнически" настроенной интеллигенции. Ее правое крыло представлено бывшим Всероссийским социально-христианским союзом освобождения народа (ВСХСОН) во главе с И. Огурцовым. Левое крыло этой идеологии, по мнению Амальрика, — чисто этическое, и идея гуманизма связывает его со следующей, "либерально-демократической идеологией". Последняя, сложившаяся под влиянием западного либерализма, считает желательной постепенную трансформацию советской системы в демократическое плюралистическое общество западного типа. Социальную опору этого направления составляет часть интеллигенции, самым видным ее представителем является академик А. Д. Сахаров.

Далее расположен либеральный марксизм ("социализм с человеческим лицом"), который связан с демократическим направлением общей обиходной идеей правопорядка. Социальная опора либерального марксизма — значительная часть воспитанной на марксизме интеллигенции, а также часть партийных функционеров

и администраторов. Представляют это направление Р. и Ж. Медведевы, П. Григоренко.

Либеральный марксизм скорее "верой", чем "правдой", связан с неосталинским марксизмом идеей построения социализма. Так замыкается "колесо идеологий". Как легко видеть, в нем отсутствуют национальные движения окраин, антиимперские по своему направлению, равно как и идеология еврейского национального движения. Впрочем, включение их в "колесо" не представляет труда.

Нельзя не согласиться с Амальриком, что при сложившихся в России обстоятельствах больше шансов на победу будет у тех, кто будет руководствоваться идеологиями тоталитарными, а не демократическими, доморощено-восточными, а не западническими, чисто политическими, а не политико-этическими. Сегодня только одна идеология отвечает всем трем условиям — "неосталинский русско-имперский национализм". Официальная литература, выражающая шовинистически-антисемитский аспект этой идеологии, представляет лишь надводную часть айсберга; о его невидимой части дают представление такие материалы Самиздата, как "Письмо Ивана Сомолвина Солженицыну" и "Замечания русского человека журналу "Вече". М. Агурский, опубликовавший эти документы в 118-м номере "Нового журнала", с полным основанием квалифицирует их появление как симптом возрастающей опасности неонацизма в СССР. По своим позициям эти материалы слишком близки к официально признанным и распространяемым в сотнях тысяч экземпляров произведениям Иванова, Бегуна и др., чтобы не принять их всерьез; с другой стороны, они во многом созвучны неославянофильству, которое пользуется все большим влиянием в стране и в эмиграции.

Письмо Сомолвина основано на версии "самоизбранности" евреев, претендующих на мировое господство; упрекая Солженицына за исторически недостоверный образ еврея (Илья Исакович в "Августе 14-го"), Сомолвин цитирует "Протоколы сионских мудрецов". Он утверждает, что для Герцля создание национального очага было лишь прикрытием истинных целей — сплочения евреев в борьбе за мировое господство. Он заявляет, что страны Запада давно уже задыхаются в тисках еврейского владычества: "Богатым евреям принадлежит на Западе все: политическая власть..., земные богатства, золото, банка, заводы..., печать, радио и телевидение. Вы не задумывались, Солженицын, почему им

хочется вас печатать. Почему не проникает в печать ничего, кроме хвалы евреям? Почему заметаются следы убийств?”

“Кто не с нами, — пишет “русский человек” в журнал “Вече”, — тот против нас. Кто не против сионизма во всех его проявлениях, — тот против русских, против славянофилов, против всего честного, что есть на земле... Международный сионистский концерн сосредоточил в своих руках 80% капитала всего несоциалистического мира. Это пострашнее фашистской чумы. Если они победят — это смерть всем, в первую очередь — русским...”

Комментируя письмо анонима, М. Агурский расценил его как реакцию на неудавшуюся попытку околуправительственных неонацистских кругов сделать “Вече” своим неофициальным рупором. Хотя эта попытка и не удалась, но антисемитская линия журнала во многом соответствовала правительственному курсу. И линия эта поддерживалась не только мирянами, но и православными, хотя многим казалось, что именно христианская религия окажется наиболее могущественным барьером на пути неонацизма. Так, М. Агурский писал, что позиции таких христианских националистов, как В. Осипов, Л. Бородин, иеродиакон Варсонофий, будут препятствовать расизму. Но вот выдержка из обращения к членам Великого Собора, среди подписей под которым — имя иеродиакона Варсонофия (Хайбулина): “Нельзя молчать, когда самоочевидной стала чрезвычайно возросшая опасность со стороны организованных сил сионизма и сатанизма. Агенты сионизма и сатанизма... искусственно создают трения между Церковью и Государством с целью их общего расслабления... Церковь является нравственной силой и опорой Государства в его благородной борьбе против сил разрушения и хаоса... Одной из первых задач нашего времени является изыскание способов практического сближения Церкви с Государством на основе общих интересов, патриотического долга и полного невмешательства во внутреннюю жизнь Церкви”.

Отношение к евреям со стороны русского христианского движения, разумеется, не исчерпывается позицией иеродиакона и иже с ним. Нам многое останется неясным в процессах духовной эволюции советских интеллектуалов, если мы не учтем того влияния, которое оказали прочитанные ими в последние годы русские религиозные философы — Н. Бердяев, В. Соловьев, о. С. Булгаков, о. Флоренский и др. Для многих оказалась чрезвычайно притягательной проводимая этими философами мысль о внут-

реннем единстве иудаизма и христианства и о возможности русско-еврейского сотрудничества на ниве общего духовно-религиозного возрождения. Но эта тенденция немедленно встретила жесточайший отпор со стороны другой части русских националистов. Показательной в этом отношении является позиция М. Скуратова, одного из основных авторов "Вече". В интервью журналу "Евреи в СССР" (журнал "Двадцать два" № 1, 1978) он заявляет, что те евреи, которые тешат себя иллюзиями об ассимиляции, но уже не в лоне марксизма-ленинизма, а в лоне православной церкви, жестоко обманываются: православие превосходно уживается с антисемитизмом. Родство христианства с иудаизмом — не основа для нахождения ими общего языка, а наоборот. Обе религии — порождение еврейского мышления, которое стремится "свести все мироздание к некоему общему знаменателю". "Именно здесь корни воинствующей нетерпимости, характерной для любой идеологии еврейского происхождения". Этой склонностью к тотальности, считает Скуратов, можно объяснить, почему евреи свою ненависть к немногим погромщикам "перенесли на русский народ в целом и, захватив в свои руки рычаги власти, организовали сознательное и планомерное уничтожение сначала русской интеллигенции, потом русского крестьянства, то есть духовного цвета нации и ее главной физической основы. Это была политика геноцида в чистейшем виде. После всего произошедшего в первые два десятилетия трудно удивляться столь широкому распространению антисемитизма в наши дни". Физическое разделение русского и еврейского народов в таких условиях, заключает Скуратов, и необходимейшая мера.

Скуратов — искренний и толковый выразитель умонастроений, которые получают все большее распространение в интеллигентской и студенческой среде Москвы и Ленинграда. Эти же умонастроения показательны и для значительной части русской эмиграции, особенно для тех, кто по идеологическим или профессиональным мотивам продолжают там заниматься советологией и Россией, предлагая все новые и новые рецепты ее спасения и усовершенствования. Характерна в этом плане реакция эмигрантской прессы на сборник "Демократические альтернативы" (изд-во "Ахберг", ФРГ, 1976). По существу, сборник является ответом на "Письмо вождям" Солженицына и на статьи его же и Шафаревича в сборнике "Из-под глыб". В "Демократических альтернативах" широко обсуждается авторитарная вер-



сия русской истории, наиболее четко сформулированная в статье А. Янова "На полпути к Леонтьеву (парадокс Солженицына)". В этой и других своих публикациях ("Континент", № 13, 1977, "Двадцать два, № 1, 1978) Янов пытается продемонстрировать цикличность русской истории и доказать, что каждый ее цикл воспроизводит автократию в той или иной форме. По его мнению, нынешнее усиление националистической фракции в партийном руководстве означает приближение нового цикла автократии, чреватой новым Гулагом. Янов считает, что эта фракция, лишь по видимости конфронтируя с оппозиционно-националистическими силами и их пророком Солженицыным, на самом деле приобретает в их лице верного союзника. Путь, пройденный славянофильством от Ив. Аксакова до Союза русского народа, должен был бы послужить предостережением для нынешней русской духовно-национальной оппозиции.

Эти публикации оживили дискуссию о природе большевизма — чисто ли он русское явление или явление, для России чужеродное, универсальны ли пороки коммунизма или они обусловлены лишь особенностями его русского воплощения. Соответственно решается и вопрос о роли евреев в установлении советской власти и меры их ответственности за преступления режима.

Идея русского происхождения большевизма встретила дружный отпор, хотя еще Н. Бердяев в 1937 г. писал, что большевики создали полицейское государство по образу и подобию старого русского государства ("Истоки и смысл русского коммунизма"). В. Варшавский (статья "Родословная большевизма", "Новый журнал", №№ 125, 128) объясняет позицию Бердяева "комплексом национальной неполноценности", позицию же "иных" — либо "желанием во что бы то ни стало снять с марксизма ответственность за архипелаг Гулаг, либо доходящей до антирусского расизма застарелой утробной враждой ко всякой России". В. Варшавский очень опасается настроений, которые возникают на Западе из-за разговоров о татарском иге, опричнине и сугубо русском характере коммунизма. Эти опасения разделяет и профессор политологии Мюнхенского университета В. Пирожкова ("Новый журнал", № 127). Расценивая некоторые пессимистические прогнозы относительно судеб империи как призыв к самороспуску Российской державы, Пирожкова предлагает их авторам попробовать обратиться с подобным призывом к еврейскому

народу, да еще сделать это на Масаде, где израильские солдаты присягают: "Масада больше не падет".

Приглашение к евреям убраться из российской истории и поучаствовать в собственной звучит в эмигрантской прессе все настоящей. И за теми, кто это произносит с чувством симпатии к Израилю (та же Пирожкова), маячат черносотенцы типа В. Орехова -- редактор журнала "Часовой", идеологического близнеца "Вече" в эмиграции. В. Орехов призывает всех русских патриотов объединиться перед "девятым валом", вынесенным третьей эмиграцией. Речь идет "о тех евреях или полуевреях, которые воображают себя оракулами, говорят от имени взлелеянного с помощью иностранного капитала "демократического движения", существующего почти исключительно в еврейских кругах. Эти господа с исключительной напористостью захватывают ключевые позиции нашего зарубежья: радиовещание, эмигрантскую печать, разные организации" (статья "Еврейский вопрос в России", в "Информационном бюллетене российского национального объединения", Бельгия, март 1976).

Стремясь дискредитировать конкурента по оппозиции -- демократическое движение -- Орехов действует по проверенной формуле: "Бей жидов и трактористов!" Такую же попытку разделиться с демократической оппозицией, объявив ее еврейской, можно видеть и у столь нелюбимых Ореховым советских властей: чем, как не этим "чувством локтя", можно объяснить, что в одном из последних номеров "Огонька" с явным сочувствием писалось о русских эмигрантах, которым приходится отстаивать свои патристические позиции в борьбе с "диссидентами"?

Таким образом, идея спасения Святой Руси от еврейского застоя объединяет сегодня справа налево и слева направо самые разнородные силы -- от советского правительства до белоэмигрантского зарубежья, превращая вчерашних врагов в союзников, а если понадобится -- и в боевых соратников. На этой основе в русской эмиграции производится переоценка ценностей и прямо провозглашается, что "национал-большевизм" (в союзе с "Вече" и ВСХСОН) и есть та сила, которая поведет страну по пути национально-государственного развития. Четче других эту мысль формулирует Е. Р. Сергеева ("Непонимание России Западом", "Посев", № 12, 1977). Она считает, что Запад не понимает потенциал русского национального движения и упрекает Янова за искаженное представление "правого крыла" и тех ужасов,

которые якобы ожидают мир в случае его победы. По ее мнению, национал-большевизм "все-таки содержит потенциал российской национальной государственности, во всяком случае — в людях, которые в нем находятся". И тут Сергеева не ошибается. Опору национал-большевизма составляют партийные и государственные функционеры среднего и нижнего звена, военные, а также значительная часть руководителей предприятий и учреждений. Именно они (в большинстве своем — образованцы первого призыва) являются проводниками имперской политики руссификации ("национально-государственного развития", по Сергеевой), проблемы которой пытаются решить за счет усиления антисемитизма в национальных республиках. Нужно сказать, что такая политика встречает полную поддержку со стороны "руководящих кадров" местной национальности: на Украине, в Белоруссии, Молдавии "национал-большевизм" как имперский, так и "доморощенный", опирается на богатые исторические традиции и встречает понимание в "народе".

Однако оппозиционные националистические круги, выступающие с антиимперских позиций, ищут союза с евреями. Они высоко оценивают их сионистские устремления и их вклад в общую борьбу за свободу национального самовыражения и национальную культуру. Об этом говорили еще в 1966 г. на митинге в Бабыем Яру украинские писатели Давидович и Дзюба. Правда, менее чем через 7 лет КГБ добилось от Дзюбы покаяния и публичного самобичевания, оставив его доживать опустошенным и вконец сломленным человеком и отправив большинство его сторонников в тюрьмы, лагеря и ссылку. Но такие люди, как В. Черновол, Е. Свирстюк, и там выступают в поддержку узников Сиона, отстаивают право евреев на свободный выезд.

С точки зрения отношений внутри треугольника: русская имперская политика — антиимперские движения — еврейский вопрос, — интересна дискуссия, открытая на страницах "Континента" статьей С. Рафальского "Болезнь века". Этой "болезнью" Рафальский считает национализм, который, по его мнению, держится на "фальшивых идеях сепаратизма" и разрушает единство России, имеющее под собой большие исторические, экономические и этнографические основания. Подвергая критике антиимперские устремления украинцев, поляков, Рафальский не забывает и евреев. О них он говорит как об изменниках, покидающих страну,

которая — единственная — была их защитницей и благодетельницей.

За этим последовал ответ Э. Оганесяна, который убедительно доказал неизбежность возникновения и усиления национальных движений в СССР. Возмущаясь нападками Рафальского на евреев, Оганесян пишет: "Мой народ, отталкиваясь от сионизма, назвал свое движение "арартизмом" и книжку Герцля сделал своей настольной книгой". Что же касается ухода части евреев в наднациональные проблемы, то, по мнению Оганесяна, это — способ ухода от национальных трудностей и ответственности. "Если посвятить себя национальным проблемам Израиля, так ведь надо с израильтянами встать на баррикады. А занимаясь общечеловеческими проблемами, мы никому ничем не обязаны". Россией же, считает Оганесян, некоторые евреи занимаются, "потому что она в центре политического рынка и кто же ею не занимается?"

С последним не согласен Вас. Михальчук, выступивший с резкой критикой Рафальского. Он считает, что запрещать евреям любить землю их предков, где они родились, росли, трудились, страдали, запрещать им думать о несчастьях этой земли и анализировать ее общественные проблемы не только не демократично, но и бесчеловечно. Как украинец, Михальчук может лишь усмехнуться бессильной враждебности Рафальского к Украине и ее народу, но не может оставаться безучастным, когда раздаются презрительные слова в адрес публицистов-евреев лишь за то, что они осмеливаются осуждать преследование народов в советской империи и поддерживать разделение ее на самостоятельные национальные государства. Для Михальчука такие евреи — естественные союзники в борьбе против имперских притязаний.

Отношение к евреям со стороны либерально-демократического движения проявилось в постоянной и полной поддержке всех трех основных для советского еврейства лозунгов: свободы эмиграции, возрождения национальной культуры и национального самосознания и противостояния государственному антисемитизму. Такую поддержку евреи получали со стороны А. Д. Сахарова, Б. Чалидзе, Ю. Орлова, А. Твердохлебова, В. Буковского и многих других участников демократического и правозащитного движения.

Иногда демократическое движение отождествляется с еврейским. В таком утверждении есть доля истины -- действительно, среди активных участников демократического движения было

много евреев. Но если говорить об отношении *идей*, то тут мы видим различия в конкретных целях, которые разделяют эти движения, при общности исходных принципов, которые обуславливают их глубокое родство.

Если еврейское движение сосредоточено на защите права на эмиграцию, на изучении языка и культуры, то демократическое ставит вопрос шире: о соблюдении прав человека на все гражданские и личностные свободы. Проблема тут, собственно, одна — суверенность личности. И в такой постановке критика советской системы выходит за рамки политических разоблачений и приводит к выводу о социальной несостоятельности этой системы вообще. В самом деле, состоятельна ли система, которая свои "героические" эпохи оплатила миллионами загубленных человеческих жизней, а свои относительно стабильные периоды оплачивает тотальным растлением личности? Вот почему демократическое движение по своему характеру — более протестантское, этическое, нежели политическое движение. И вот почему оно воспринимается властью как смертельно опасное, и власть пытается его искоренить, используя для этого обвинение в связях с сионизмом и поддержке сионизма.

Либеральные марксисты — прежде всего, Р. Медведев, — протестуя против явно антисемитских публикаций, защищают права евреев, среди которых главным считают... право на органичную ассимиляцию. Как курьез отметим что в ассимиляции евреев в православии видит решение еврейского вопроса и один из ведущих авторов христианского Самиздата Г. Шиманов ("Сион", № 21, 1977). Либеральный марксизм наилучшим для евреев считает путь полной социальной ассимиляции. Таким образом, обе утопии — религиозная, шимановская (растворение евреев в христианстве) и социальная, медведевская (растворение евреев в "советском" народе) -- в решении еврейского вопроса сходятся, несмотря на антисемитизм первой и филосемитизм второй: еврейство должно исчезнуть, правда — не путем физического истребления, а согласно законам духовного (Шиманов) или социального (Медведев) развития человечества. На этом основании либеральный марксизм критикует "псевдомарксистское советское правительство" за непоследовательность в проведении "марксистско-ленинской политики ассимиляции".

Итак, круг идеологий замкнулся, и мы можем сделать некоторые выводы.

Первый из них сводится к тому, что в СССР ширится фронт

противостояния евреям. Политика государственного антисемитизма активно поддерживается и сторонниками усиления национал-большевистского курса и русским националистическим движением, религиозным и секулярным, причем националисты, модифицируя идеи славянофильства, поставляют для этого общего фронта недостающие идеологические концепции. Сочетание национальной проповеди с нравственно-религиозными призывами и протестом против злоупотреблений властей привлекает к последнему движению самые различные и широкие слои, делая их естественными союзниками государственного антисемитизма; к этой коалиции примыкают также определенные силы в русской эмиграции. Во-вторых, вопреки официальной политике, препятствующей еврейской эмиграции, различные круги, хотя и из различных побуждений, поддерживают идею эмиграции евреев. Эти проэмигрантские настроения юдофобского и юдофильского толка создают вокруг советских евреев атмосферу ожидания, иногда терпеливого и доброжелательного, чаще нетерпеливого и злобного. Полную свободу выбора — жить в стране или эмигрировать — поддерживает только либерально-демократическое движение, которое, таким образом, могло бы стать естественным союзником еврейского, если бы не находилось на грани полного разгрома.

Если в итоге оценить ситуацию советского еврейства, то приходится сказать, что силы, его выталкивающие, в целом несравненно мощнее и к тому же нарастают, причем они исходят не только от "партии, правительства и народа", но и все чаще из среды интеллигенции.

В этих условиях в идеологии советского еврейства все резче обособляются два направления — возрождение национального самосознания и широкий спектр ассимиляторских тенденций (доходящих до национального ренегатства). В этих направлениях нет ничего нового, — все это уже было и с удивительным постоянством воспроизводится в каждом новом витке еврейской истории. Быть может, это объясняется более или менее стабильными типами еврейской личности, которые сама же история и творит? Во всяком случае, условия, в которых оказываются сегодня советские евреи, объективно способствуют разрушению их духовных и интеллектуальных сил и росту потребительских и приспосабливательских форм поведения. Это подтверждается такими фактами, как, например, рост "неширы", а также растущее участие самих евреев в нынешней антисемитской кампании. Мне бы не хотелось занимать

ся оценками — мы не на митинге. Важнее понять, что потребительство и приспособленчество — скорее, симптом и следствие, чем причина. А причина — это стремление бежать, избавиться от своего еврейства. И вот как еврейский интеллеktуал такого типа “обосновывает” свой выбор (я цитирую книгу москвича-диссидента, историка Юрия Глазова “Тесные врата. Возрождение русской интеллигенции”): “Мне нужно уезжать из России, где меня хотели уморить. Куда? В Израиле я должен поджаться и разговаривать о величии еврейского народа с моими собратьями по крови, презирающими кроткого сына Марии из Вифлеема. Уйти от русского языка, от культуры, которая стала мне родной? Отдать то, что принадлежит мне по праву, только потому, что каким-то людям показалось, что я к этой культуре не имею прямого отношения? Снова начинать учить язык, на котором говорили мои далекие предки? Нет, во мне нет ни капли национализма. Не могу я уподобиться какому-то дикому мусульманину, презирающему всех других, как гяуров. Нет, нет и нет”.

В этом самовывявлении несомненно способного и духовного по ориентации человека характерно отождествление еврейской национальной идеи и примитивно-шовинистической формой ее толкования (автор, очевидно, полагает, что приобщение к русской национальной идее гарантирует его от узости и примитивного национализма?) и предъявление “прав” на русскую культуру.

На мой взгляд, это — самое красноречивое свидетельство нравственного кризиса, который переживает значительная часть евреев-интеллектуалов, пытающихся всеми силами удержаться в “русских”. Чем иным объяснить слепоту — не обывателя, нет! — профессионала-историка, ухитрившегося не заметить, что самобытность и спасительное для человеческого духа разнообразие национальных культур — то единственное, что можно противопоставить сегодня разрушительному шестивью стандартного производства и массовой культуры? Конечно, этот ренессанс национализма чреват и активизацией его примитивных шовинистических форм. Не свободен от него и Израиль. Но в еще большей мере такая активизация происходит при возрождении национализма в условиях тоталитарного общества, что мы и видели на примере современного русского национализма, в котором его культурные и духовные мотивы все основательнее подавляются государственно поддерживаемым шовинизмом.

“Интернационалисты” типа Глазова, которые все же предпочи-

тают быть не “гражданами мира”, а считаться русскими, как-то не замечают, что чувства человеческого и национального достоинства неразделимы. И что национальность не исчерпывается, увы, ни знанием языка, ни приобщением к культуре, ни даже привязанностью к природе и жизненному укладу страны. Она имеет другое измерение — общность исторической судьбы, которая для каждого человека определяется мерой его сопричастности к истории и судьбе собственного народа. Но если для других эта сопричастность дана изначально, то для еврея она, во многом, — вопрос выбора, и нелегкого, ибо ни одному народу не приходится на протяжении всей его истории доказывать свое право на существование. Тем более нет оснований для человека нравственного уходить от такого выбора и от такой судьбы в “стан сильных и благополучных”. Но беда в том и заключается, что советское общество, его жизнь разрушает нравственные критерии, оставляя в силе либо чисто прагматические, либо абстрактно-идеологические. Это особенно верно в последние десятилетия, когда советское общество все более перерождается в особый тип потребительского общества, которое отличается от своих западных аналогов (“обществ потребления”) постоянно нарастающим дефицитом все большего числа товаров. Завоевание (“доставание”) жизненных благ становится условием жизни и мерилем успеха, а удержание — жизненной целью, которая все больше вытесняет любые “идеи” и “мораль”. Этими обстоятельствами можно объяснить и рост того самозабвенного и бесстыдного национального ренегатства, который находит свое выражение в антисоветских и антисемитских выступлениях самих евреев. Порой создается впечатление, что это ренегатство приобретает массовый характер, словно бы подтверждая изобретенный антисемитами образ еврея — корыстолюбца и предателя. Но массовидное не есть всеобщее. И нельзя забывать, что порой за отступничеством кроется подлинная трагедия. И это лишний раз подтверждает тот тезис, что нынешнее развитие советского общества чревато для еврейства разрушением духовного и интеллектуального потенциала. В этих условиях единственный путь его сохранения — это путь возрождения национальной самосознания.

Означает ли это уход в узконационалистическую замкнутость, которой так опасаются бывшие советские граждане еврейской национальности? Такая тенденция среди евреев имеется. Но преобладает все же стремление к диалогу, — только диалогу подлин-



ному, в котором могут участвовать лишь равноправные и суверенные партнеры. А равноправие и суверенность предполагают, что мы уже нашли **свое** место под солнцем, занялись **своими** проблемами. Только на этом условии мы получим право вести с другими разговор на-равных о духовных ценностях, о мировых проблемах и самой из них актуальной — способах противостояния тоталитаризму, насилию и одичанию “хомо сапиенс”.

Даниэль Мойнихен, при вручении ему диплома почетного доктора наук Еврейского университета, сказал (“Сион”, № 21 1977): “Точно так же, как Израиль стал синонимом демократии, так и в высшей степени беспринципные нападения террористов на израильскую цивилизацию стали синонимом общего наступления на демократию и человечность, которое является ведущим мотивом современного тоталитаризма... Враждебность Советов к Израилю порождена той же ненавистью к свободе и тем же презрением к правам человека, которые побуждают их преследовать Сахарова... Ибо Сахаров здесь. И те, кто вместе с ним, тоже здесь. Мы — это Сахаров”.

Будем надеяться, что тех, “кто здесь”, — где бы они ни находились, будет становиться все больше.

---

**Д. Штурман:** Тема, которую мы затрагиваем сегодня, чрезвычайно сложная; к ней можно подходить по-разному. Наиболее трудный и наиболее ответственный подход — концептуальный. И тут, мне кажется, нужно быть в высшей степени осторожным, потому что проблема эта ответственная, и всякая концепция, вероятно, требует коллективной и серьезной научной обработки, прежде чем быть представленной аудитории.

На всякий сложный процесс, как известно, можно наложить чуть ли не бесконечное множество моделей. И поэтому, если мы хотим наш разговор об антисемитизме рассматривать не только как некое культурно-массовое мероприятие, то надо, по-моему, очень вдумчиво и тонко отнестись к концепциям.

Например, я не думаю, что правомерен подход, утверждающий, что та структура человеческих отношений, та система ценностей, система нравственных критериев, система общественных социально-экономических отношений, которой является советский режим, — это особая цивилизация или что это исключительно русское, народное, национальное явление. Это столь же ограниченный подход, как объявление марксизма, коммунизма или социализма

порождением еврейского духа. Пробраз тоталитарной структуры (с известными оговорками) существует в античной утопии, в античной философской литературе, в европейской социальной утопии ХУ1—Х1Х веков. Он неоднократно реализовался в разных национальных и исторических обстоятельствах. Не исключена возможность рассматривать этот строй, в какой-то мере, как результат постоянно присутствующих в человеческом сознании двух утопий: идеального централизма и идеального примитивного равенства. Утопии эти с давних пор воздействуют определенным образом на реальные политические процессы. Кроме того, против модели "особой", "чисто русской" цивилизации, есть еще одно возражение.

Советская власть с первого дня своего возникновения вела войну с русским народом, с Россией. Это была война тотальная и непрерывная, и в этой войне было подавлено и колонизировано русское крестьянство, была уничтожена русская интеллигенция нескольких поколений — вне зависимости от национального происхождения. И мне не кажется, что то, что сейчас происходит — эскалация антисемитизма, явное его нагнетание, — это результат возникшего единства между советской властью и русским народом. Конечно, Россия претерпела за 60 лет огромные изменения: крестьянство в дореволюционном понимании термина перечеркнуто; колхозник и совхозник в такой же мере не крестьяне, как советский специалист массовой стандартной формации — не "интеллигентный интеллигент" (по определению Г. Померанца). На смену уничтоженной интеллигенции пришел совспециалист в первом поколении — с завода, из пригорода, из села. Это дипломированный городской мещанин — такой же, грубо говоря, в основной своей массе "жлоб", как то городское мещанство, на которое опирался и немецкий фашизм. Фашизм всегда, при любой политической окраске, опирается именно на этот полуобразованный мещанский слой.

Мне пришлось 15 лет жить и работать в селе, а затем 8 лет заниматься со взрослыми на абитуриентских курсах, и мне представляется, что вся антисемитская литература, о которой здесь говорили, великолепно рассчитана именно на этот "новоспециалистский", мещанский стандарт мышления. Не на крестьянина. Чем дальше от города, тем меньше евреев, тем реже туда попадает и антисемитская литература, и Шевцов, и вся эта накипь. И там чаще бытует личностное отношение к человеку, нежели националь-

ное. Пригород, город, городское учреждение любого типа, администрация — вот на кого рассчитана эта литература.

Что же касается интеллигенции, настоящей интеллигенции, то если в Библии сказано, что можно целому городу простить грехи ради одного праведника, то и мы не имеем права игнорировать существование в России людей, которые не стали ни антисемитами, ни антидемократами.

Официальная советская антисемитская пропаганда очень усилилась в 70-е годы, и у меня такое ощущение, что не единство советского общества играет в этом решающую роль, а, напротив, стремление правительства пресечь и подавить развивающийся в советском обществе со второй половины 60-х годов и неподвластной правительству плюрализм.

В эпоху Хрущева, когда, помимо всех прочих явлений, возникли "верховные" попытки "оптимизации" социализма, несколько приподнялся давящий на общество пресс. И как только он чуть приподнялся, началось развитие разнообразия, естественного для всякого современного сложного общества. Если взглянуть на сегодняшнюю Россию, то в ней как раз наблюдается небывалая для советского строя (после 1927 года) разноголосица, урезанное, подавленное, но все-таки разнообразие групп, тенденций, движений, настроений, не запланированное правительством. Это ситуация, которую советский режим долго выдержать не может. Он должен подавить это разнообразие, он должен привести его к прежней норме, а это чрезвычайно сложно. Почему сложно? Основная всякой диктатуры — три монополии: экономическая, политическая и идеологическая, которая всегда была по возможности полной. И все же при всей полноте этого трехстороннего монополизма, никакой верховный контроль не может абсолютно исключить и предупредить все возникающие в системе "шумы" и "искажения". Эпоха Хрущева, несколько ослабившая давление верховной власти на общество, чрезвычайно усилила все эти "искажения" и тем предопределила нынешнюю реакцию и нынешнюю тенденцию советской правительственной пропаганды.

Чтобы понять основную особенность этой пропаганды, я вернусь к основателю советского государства Ленину. В 1907 году на Лондонском съезде ему предложили отчитаться по поводу его недавнего привлечения к партийному суду за клевету на меньшевиков, которых он обвинил в продаже кадетам думских мест. Оправдываясь, Ленин выразил свое кредо, свое представление

о полемике. Он заявил: когда мы полемизируем с нашим политическим врагом, а не с человеком нашей партии, мы не ведем полемику, рассчитанную на выяснение истины. Мы ведем полемику, рассчитанную не на оппонента, — он и его ухищрения нам совершенно безразличны, его мы стремимся только уничтожить. Мы ведем истребительную полемику, и она рассчитана на слушателя, на то, чтобы вызвать в слушателе отвращение к нашим противникам раньше, чем слушатель поймет, о чем идет речь. И дальше Ленин привел такой пример: если Бунд еще раз выйдет из партии, разве мы не вправе сказать (чтобы отвлечь от Бунда рабочую массу), что вожди Бунда продались мировой еврейской буржуазии?

Итак, советская полемика или пропаганда — это полемика и пропаганда истребительная, рассчитанная не на то, чтобы убедить противника или выяснить истину, а на то, чтобы дискредитировать объект полемики и вызвать у слушателей определенные эмоции. Вместо объекта полемики создается его муляж, причем в зависимости от аудитории он может быть самым грубым и фантастическим. И муляж этот поднимается за шиворот перед аудиторией, осыпается руганью, пощечинами, плевками.

Герцен когда-то сказал: "Люди не слышат тех, кто доказывает им истины подобно тому, как доказывают геометрические теоремы. Люди слышат только того, кто грезит их собственные сны ярче, чем они сами их грезят". В отношении к советской мещанской обывательской массе, фашистской по своей психике, по своему культурному уровню, по своим запросам и потребностям, советская антисемитская пропаганда получает колоссальный коэффициент усиления, потому что она грезит ее сны ярче, чем эта масса сама грезит их. Она выдает массе то, что в ней самой живет. Она выдает ей антисемитизм такого рода, какой внушает молодая, хорошо одетая женщина на улице своему ребенку: "Идем, а то жид забереет!".

Я бы хотела сказать следующее: не нужно считать, что эта тотальная пропаганда тотально всех себе и подчиняет, но она иногда действительно выглядит сознательной эскалацией политического психоза, предвоенной эскалацией ненависти, идеологической артподготовкой. Она дословно напоминает фразеологию Третьего рейха перед началом эскалации нацизма за пределы Германии. И это может быть опаснее, чем кажется, и тут наверно надо было провести какое-то серьезное исследование, а не ограничивать-

ся полуэмоциональными нашими умозаключениями, основанными на недостаточном количестве фактического материала.

И все-таки советская пропаганда все время — при том, что ей удается одерживать колоссальные победы, — терпит локальные и нелокальные поражения. В каждом слое общества (я знаю это по своему учительскому опыту) есть люди мыслящие, склонные к анализу, к духовной и интеллектуальной независимости и к выработке собственных критериев. (Это, собственно, то, что отличает интеллигента от специалиста — стремление к собственной системе отсчета, собственной системе ценностей и критериев.) И они тремя, по меньшей мере, методами проверяют эту пропаганду, которой, в общем-то, привыкли не очень верить. Метод первый — сопоставление взаимоисключающих сообщений; метод второй — переход от сообщения пропаганды к обобщению; метод третий — переход от советских марксистских постулатов к советской же действительности. И все методы немедленно обнаруживают лживость этой пропаганды.

Несколько слов о том, как действует эта пропаганда на советских евреев. Очень сильно представлен такой тип реакции: "Во всем виноват Израиль". Эта группа еврейских обывателей доходит до ненависти к Израилю, считая его генератором антисемитизма в советской политике. Помню фразу одной преуспевающей учительницы-еврейки: "Бросить бы одну хорошую бомбу на весь этот Израиль, и нам было бы легче жить".

Есть и другой тип реакции: "Меня не бейте, я свой!" Это тоже вполне понятная реакция, я никого не собираюсь за нее осуждать. Но вместе с тем просыпается, и широко просыпается, национальное чувство. Оно просыпается тоже по-разному. У одних — как синдром осажденности, перенесения страха, недоверия на всех неевреев. Этот синдром заставляет повторять все, что направлено против евреев, но с обратным знаком. Но бывает и подлинное национальное чувство, причем зачастую сочетающееся с гордостью, решимостью демонстративно быть евреем, с идеализацией всего еврейского и израильского (кстати, этот тип идеализации: раз "они" говорят, что "там" все черное, значит "там" все белое, — создает наиболее кризисную ситуацию при репатриации в Израиль). Под влиянием антисемитской пропаганды возникают серьезные и сознательные попытки национального самоопределения. Чаще всего это кончается отъездом в Израиль. Но не надо считать, что все рвутся уехать. Национальное чувство просыпается у многих из

тех, кто уезжать не собирается. И о них нужно подумать, вооружить их какой-то противоантисемитской пропагандой, пропагандой еврейского собственного достоинства и культурной автономии вне зависимости от выезда. Нельзя предоставлять антисемитизму развиваться беспрепятственно, считая, что “чем хуже — тем лучше”. Я считаю, что этот большевистский тезис — тезис безнравственный.

**В. Меникер:** Когда евреи в своей среде обсуждают проблемы антисемитизма, такой дискуссии угрожают две крайности. Она может переродиться в паранойю, манию преследования. Или же, особенно если евреи сидят в своем непобедимом государстве, далеко от реальности России, Аргентины или Франции, дискуссия об антисемитизме легко может превратиться в резвое зубокальство по поводу их (антисемитов) глупости и злобности.

Конечно, дискуссии о формах антисемитизма нужны для формирования политики и контрпропаганды против антисемитизма всех “уровней” — от звериного бытового до более утонченного — религиозного, интеллектуального, психоаналитического. Это бесспорно важно, хотя бы потому, что сейчас перед многими представителями русской алии впервые широко открываются каналы массовой информации — и в Израиле, и на Западе.

И все же — в отношениях народов, в их притяжении и отталкивании друг от друга участвуют, по меньшей мере, две стороны. И было бы поучительно или хотя бы не слишком тривиально взглянуть на нашу, **еврейскую**, роль во взлетах и падениях антисемитских настроений. Конечно, большинство из нас искренне — или не слишком — разделяет известный принцип Бен-Гуриона: “Не важно, что говорят о нас гоим, важно, что мы сами думаем о себе”. Однако не надо быть мазохистом или подхалимом, чтобы желать исчезновения или спада антисемитизма — как по соображениям практическим (четыре пятых еврейского народа живет в диаспоре), так и по соображениям самым возвышенным, например, чтобы уменьшить сумму ненависти в мире. Равнодушие израильтян к антисемитизму — печально, а подсознательное (временами и открытое) одобрение его как фактора, подстегивающего алию, — по меньшей мере, наивно, ибо оно неизбежно ограничивает роль еврейского государства функцией убежища. А в убежище можно только прятаться, но не жить полной жизнью, в том числе национальной.

Взглянуть на себя в дискуссии об антисемитизме — вполне дозволенный прием интеллектуального анализа, подобно тому, как дозволена и рекомендуется попытка встать на точку зрения противника в споре. Даже если прав Сартр, и антисемитизм — страсть (и притом преступная), а не объект интеллектуальных упражнений, то и для страстей существует психоанализ и другие адекватные методы понимания. К сожалению, даже в среде коренных израильтян вопросы национальной самокритики отданы на откуп сатирикам, а не исследователям и публицистам. Что же касается советских репатриантов, то в наших обсуждениях еще полно внутренней цензуры и “священных коров”. Мы за 6 лет свободы мало чему научились не только от пророков Израиля, гневно обличавших царей и толпу (по-современному — народ). Мы еще далеки даже от уровня практического политика и публициста Жаботинского, который не боялся говорить горькие истины своим читателям — русско-еврейской интеллигенции. Сегодня его могли бы назвать... антисемитом, за его глумление над нашим еврейским сервиллизмом, нашими паразитическими наклонностями, нашим равнодушием и насмешкой над трагедиями других народов и движений. Формально “критики” Жаботинского могли бы указать, что его сближает с антисемитами нежелание делать скидку на обстоятельства двухтысячелетней истории, придавшие нашей национальной жизни множество отрицательных, нами же осуждаемых черт. Но он-то понимал, что это “карета прошлого”. Дело не только в том, что антисемиты никогда не прочитают добродетельных филосемитов типа Амфитеатрова, Градовского и других, писавших об ужасах инквизиции и запрещении продавать евреям землю. И у нас нет двух тысяч лет для исправления того, чем нас сделали предыдущие две тысячи. И мы не можем ссылаться на прошлое, когда на 70-м году существования собственной экономики и 30-м году существования собственного государства у нас чиновников и торговцев больше, чем нужно в цивилизованном обществе. Мы должны чаще оглядываться на самих себя и помнить, что в деле автоэмансипации у нашего народа не будет помощников. Таким представляется один из важнейших выводов раздумий об антисемитизме для человека свободного и от мании преследования, и от неистребимого зуда — показывать кукиш в кармане.

# — НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

ЛЕОНИД ПЛЮЩ

## УКРАИНЦЫ – РУССКИЕ – ЕВРЕИ

(Беседа с главным редактором журнала "22" Р. Нудельманом)

— *Являетесь ли вы украинским националистом?*

— Я предпочел бы слово "сепаратист". Я стою за самоопределение наций. Когда-то Шульгин очень точно предсказал трагедию Октябрьской революции, в том числе — трагедию украинцев. Он писал, что "белая идея" победит "красными руками", и перечислил основные моменты этой идеи: воссоздание имперской армии, воссоздание империи в прежних границах, воссоздание самодержавия. Когда его спросили, монархист ли он, он ответил, улыбувшись, что он — "моно": за монархизм, за монопартию. Это и есть "белая идея", и она победила в СССР. Именно это привело меня к сепаратизму. Не просто сочувствие национальному движению, не просто национальные чувства, а понимание того, что белая идея победила большевиков.

— *Иными словами, вы являетесь, так сказать, "логическим" сепаратистом?*

— Да, в какой-то степени это выбор логический, а не эмоциональный. Эмоции накладываются в тот момент, когда я вижу уничтожение нашей национальной культуры. Я полагаю, что до тех пор, пока будет существовать империя, любая революция приведет только к ее воссозданию. Видимо, в истории существуют какие-то устойчивые структурные элементы, тяготеющие к воссозданию. А пока будет империя, будет та или иная форма Гулага. Поэтому необходимо сломать это историческое имперское клише.

Этот вопрос, на мой взгляд, связан с общим состоянием нашей цивилизации, которая сейчас, как мне кажется, движется к гибели и пытается искать пути спасения в возврате к национальным корням. История показала, что Маркс недооценивал национальный вопрос, рассматривая его как подсобный: помогает или мешает национальное движение социальному. История показала, что культура может существовать только, как разнообразие культур,



как групповое разнообразие — национальное, классовое. Это еще одна причина, по которой я против ассимиляции.

— *Вы полагаете, что эта ошибка Маркса не отменяет общий правоты марксизма? Что идея Маркса о гибели национализма вычленима из его учения без ущерба для всех остальных прогнозов?*

— Как всякая модель исторического процесса, марксизм отражает объект неполно и нуждается в последующих исправлениях. В этом смысле я — за критику марксизма.

— *Я несколько изменю вопрос. Марксизм пытается найти общее в различных национальных обществах. Он ищет социальную общность, которая как бы замаскирована в национальной форме. Между тем, современный национализм считает, что нация обладает некой индивидуальной исторической (и даже надисторической) "идеей", и только это оправдывает и сохраняет ее существование. Таким образом, налицо принципиальное противоречие: что именно доминирует в истории — внеациональные социальные закономерности или национальные идеи, им противоположные?*

— Как марксист я считаю, что не идеи определяют исторический процесс. Укажу хотя бы на одну ошибку сторонников "национальной идеи": они не учитывают, что в понятие национальной культуры входят не только культура идей, культура языка, но и материальная культура нации. Ошибка Маркса лишь в том, что он игнорировал национальную специфику социального процесса. Мне кажется, что вполне возможно найти общечеловеческие закономерности, действующие на национальном фоне. В этом смысле не случайно возникновение "еврокоммунизма". Западные компартии начинают понимать, что необходимо учитывать национальные закономерности.

— *Возможно, вы правы, — если "еврокоммунизм" не просто тактическая уловка. Но я хотел бы добавить, что у самого Маркса было одно исключение, когда он, вопреки тому, что говорил сам и что вы сейчас повторили, признавал наличие метаисторической национальной идеи. Если вы помните, сущность его статьи по еврейскому вопросу сводится к настойчивому утверждению той мысли, что еврейское существование не есть существование, обусловленное социальными или историческими закономерностями, а есть развитие некой надисторической идеи. Как совместить это с его сугубо "историческим" подходом к другим нациям?*

— Мне кажется, что я иначе понимаю эту статью. Когда-то я ее специально изучал и пытался полемизировать с Марксом, учитывая то рациональное, что в ней есть. Фактически, Маркс утверждает то же, что позднее, в 20-е годы, утверждали "махаевцы", — что есть нации буржуазные и небуржуазные. Евреи есть буржуазная нация до возникновения буржуазного строя. Исторические усло-

вия сложились так, что они еще в рабовладельческие времена сформировались как буржуазная нация и потому сыграли такую огромную роль в становлении буржуазного общества. Маркс не случайно пишет в этой статье, что современные ему христианские государства являются "еврейскими". Здесь еврейство нужно понимать не как особую идею, как он ее называет (корыстолюбие, "их бог есть деньги" и т. п.), а именно как материальный способ существования, определенное отношение к вещам. Я думаю, что в какой-то степени Маркс здесь прав, хотя он игнорирует другие грани проблемы. Заметьте, в других работах — о славянах, немцах — он рассматривает другие грани, противопоставляя их евреям.

— *Итак, вы считаете, что национальная идея может существовать только в рамках четкой исторической оболочки? Метаисторической национальной идеи нет?*

— У Маркса этого нет. Я считаю, что этого нет и в природе. Есть миссия, национальная миссия, определенная конкретными историческими условиями, но нет метаисторической "национальной идеи", определяемой структурой нации. В смысле культуры такая национальная миссия состоит в обогащении человеческого видения мира. Каждый язык, каждая культура обогащают общечеловеческую культуру, дают возможность видеть мир шире, чем если бы человечество состояло из одной нации. В этом смысле я и понимаю национальную миссию, но опять-таки на коротком историческом отрезке.

— *Скажите, почему тогда марксизм и порожденная им марксистская интеллигенция сегодня так устойчиво антиеврейски настроены? В чем причина? Есть ли это некая идеологическая традиция, пошедшая от Маркса, или порождение неблагоприятных исторических условий?*

— Я бы не назвал это "антиеврейством". Следует различать между отношением к евреям и к Израилю. Отношение к Израилю тоже, конечно, в достаточной степени мифологизировано, но все же определяется в основном реальными причинами — ситуацией с палестинцами. Против Израиля сыграл тот же комплекс чувств — сочувствие к побежденным, депортированным, — который сразу после войны вызывал симпатии к евреям.

Кроме того, многие марксистские партии, к сожалению, мыслят мифологическими категориями. Марксизм в наше время превратился в большинстве партий просто в миф, это омертвевшая идеология, которая видит мир через мифологические очки. Но тут не только Маркс виноват. Уж его-то никак нельзя обвинить в антисе-

митизме. Дело даже не в том, что он сам был евреем, — но он прекрасно понимал то, что сформулировал Энгельс: “Антисемитизм есть социализм для дураков”. Я думаю, что многие марксистские партии культивируют антиеврейские мифы просто потому, что они в своей сущности остаются сталинскими, — хотя в их рядах и много евреев.

— *Чем же, по-вашему, вызвана историческая потребность существования нации, некая теологическая потребность нации, как отдельности? Чем исторически вызвано появление украинского национализма и его обострение? Только ли это реакция на угнетение властью украинской культуры или это еще какой-то внутренний процесс?*

— Я назвал бы несколько факторов, способствующих появлению украинского патриотического чувства. Прежде всего, это память о том, что было сделано с украинской нацией в 30-е годы: уморено голодом более 6 миллионов украинских крестьян, уничтожено около 80% украинской интеллигенции. Далее, украинцы сегодня сталкиваются — хотя и меньше, чем евреи, — с национальной дискриминацией, с личными оскорблениями по национальному признаку. Я сам немножко испытал чувства еврея, — достаточно мне было заговорить по-украински, как я дважды за месяц услышал: “Говорите по-человечески” (т. е. по-русски). И это — в своем государстве! Кроме эмоционального национального протеста, существует еще и протест, как вы сказали, “логический”, исходящий из понимания того, что, пока будет существовать имперская структура, она неизбежно будет накладывать отпечаток на проблему социалистической демократии, заранее уничтожая возможность всякой демократии, всякого гуманизма, всякой справедливости.

С какого бы мотива человек ни начал, за какие бы права он ни боролся, он убеждается, что они не могут существовать без осуществления других прав — религиозных, социальных и т. д. Поэтому в украинском национальном движении участвуют и русские (сравнительно мало), и евреи (больше), и белорусы...

— *Насколько широка поддержка или база этого украинского национального движения? Естественно, что сами националисты склонны преувеличивать и рисовать картину так, будто национальное движение охватывает чуть ли не основную часть населения. Напротив, власти говорят о “кучке хулиганов и уголовников”. Как реально оценить глубину движения? Затрагивает ли оно национальные чувства украинского колхозника на Полтавщине или шахтера в Донбассе? Чувствует ли он себя украинцем, или это относится только к верхушечной части интеллигенции?*

— Очень сложно говорить что-либо о количестве. У нас нет оп-

росов, нет социологии, только собственные наблюдения. Я не могу согласиться со Штерном, утверждающим, что существует тотальная поддержка. Это верно лишь в том смысле, что у украинского национального движения есть более широкая база, чем у русского правозащитного, особенно на Западной Украине, где память о прошлом достаточно свежа. В Восточной Украине движение начала интеллигенция, причем филологическая — в отличие от русского правозащитного движения, где преобладает интеллигенция техническая. Это связано с тем, что филологи ближе к проблемам языка и культуры, а им навязывают русские модели, русскую культуру, которая далека от украинской. Потом присоединились ученые, которые больше занимаются правозащитными проблемами внутри национального движения. Еще одно преимущество нашего движения — активное участие молодежи.

*— Я вижу еще одно преимущество. В русском движении правозащитная и национальная ветви находятся в оппозиции, тогда как на Украине они смыкаются, так как преследуют одну и ту же цель: правозащитное приобретает характер защиты национальных прав и наоборот, национальное преследует общедемократические цели. В России это не так.*

— В России сравнительно мало преследуют русских националистов, поэтому они меньше понимают связь между национальным вопросом и правозащитным. Потом и в целях они расходятся. Демократическое движение стоит за демократизацию, которая, в сущности говоря, может быть заменена и космополитизацией. Национальное стоит за националистический путь вплоть до монархии (как у Солженицына и других). Но есть и там такие националисты — “культурники”, — которые видят, что гибнет и русская культура. Эти могли бы встать на общедемократические позиции. Но как раз они, судя по Самиздату, не входят в правозащитное движение, а занимаются чисто культурническими проблемами. Все же другие русские националисты проявляют имперские тенденции и являются, по сути, противниками правозащитного движения.

На Украине большую роль играет национальное религиозное сознание. Пока еще рано говорить об автокефальном движении, но я думаю, что оно неизбежно возникнет. Не потому, что кто-то вспомнит, что автокефалия была уничтожена в 30-е годы, а потому, что неизбежно всплывет понимание, что есть еще и украинское православие, которое в каких-то своих структурных чертах отличается от русского, — ну, хотя бы потому, что не было связано с государством.

На Западной Украине огромную роль играет украинская като-

лическая церковь, которая, по сути, стала национальной. Борьба за ее легализацию становится национальным вопросом. В этом отношении и атеисты, и верующие националисты, и сепаратисты, и католики едины. В частности, здесь, в эмиграции главной проблемой является борьба за киевское патриаршество, и я, атеист, поддерживаю эту идею, ибо это, помимо всего, еще и национальная политическая идея.

*— Вы сказали, что в украинском движении участвуют и евреи.<sup>14</sup>Что их приводит в украинское национальное движение?*

— Некоторые евреи исходят из того, что, пока будет существовать империя, будут существовать все виды национального угнетения, в том числе и антисемитизм. Другие считают: мы живем на Украине и, если будем, как это часто бывало, поддерживать тех, кто над нами, т. е. русских, будем занимать промежуточное положение между угнетенной нацией и властвующей, то всякий протест снизу и всякое угнетение сверху ударит по нам, по евреям, мы окажемся в клещах. Евреи-марксисты просто исходят из того, что, пока существует империя, невозможно построить социалистическое общество. Есть, наконец, "культурники", которые присоединяются к украинскому культурному движению.

*— Как идеологи и участники украинского национального движения относятся к присутствию в нем евреев?*

— Видимо, по-разному, нельзя обобщать. Истерические националисты из евреев вызывают у всех неприятное чувство, у некоторых даже антисемитизм. У меня лично — просто сострадание, мне жалко и противно. Такие приспособленцы наносят вред, так же как любые приспособленцы — к славянофильству, к фашизму, к чуждому крупному национализму. Но нельзя обобщать, как некоторые, что, мол, все евреи приспособливаются. Если это нормальные, без психопатии люди, и понятны их мотивы, то к ним относятся разумно, без претензий. В Харькове, например, была интернациональная группа еврейских и украинских диссидентов, как-то связанная с украинским правозащитным движением, но не национальная. В Киеве мы делали попытки объединиться — не слиться, конечно, а объединить усилия, организовать, в частности, журнал "Бабий Яр", где постоянно описывать историю антисемитизма на Украине, давать все факты, не умалчивая, с анализом причин того, что было и что сейчас происходит. Но нам не удалось скооперироваться. Очень жалко.

Власти, конечно, пытаются нас расколоть. Есть и внутренние

противоречия. Препятствием являются два мифа: первый — что все украинцы антисемиты, и второй — что евреи всегда помогали русским и поддерживали империю.

— Вы сказали об *“истерических украинских интонациях”*, имея в виду еврейских участников этого движения. Но, наверно, истерический национализм встречается и у украинцев тоже. Он ведь не вызывает таких отрицательных эмоций?

— Это вполне понятно. Когда слышишь истерический крик: *“Даешь Курьску губернию!”*, *“Хай живэ ненька — Украина!”* и знаешь, что кричат евреи, это вызывает удивление. Собственно говоря, почему ты более требователен, менее умерен, чем сами украинцы, почему ты расписываешься за украинцев? По-моему, никто не вправе заявить: *“От имени украинского народа я требую...”* Мне даже трудно было бы сформулировать, чего требует *“украинский народ”*. Я могу лишь говорить, что, на мой взгляд, объективно полезно украинскому народу. Истерические националисты встречаются и среди украинцев, но они быстро становятся сотрудниками КГБ. Он их быстро ломает. Такая истеричность характерна для неофитов. Если это — комплекс неофита по отношению к самому себе, комплекс вины перед своей идеей, своей нацией, то его можно понять и простить. Но и тут не следует быть святее папы римского и распинаться за всех. Но зачастую такой закомплексованный неофит яростно ненавидит тех новопришедших в национальное движение, которые не высказывают такого рьяного чувства вины. Он хочет их заставить каяться и быть националистами на 120 %. Если же они недостаточно каются, то он обвиняет их в том, что они недостаточно националистичны. Такие закомплексованные неофиты есть в каждом национальном движении. Я наблюдал их в украинском национальном движении. Я бы сказал, что это — от нечистой совести.

— Вы сказали, что выдвигалось предложение о сотрудничестве пиберапов, демократов, украинских сепаратистов и сионистов — в Харькове, в Киеве. Но это задача тактическая. А обсуждалось ли, как решить еврейский вопрос потом, в случае отделения Украины? В русском национальном движении, например, мы видим попытку выработать практическую идеологию, решить вопрос, как устроить национальное государство, каковы должны быть отношения государства и религии, как решить вопрос с еврейством. У них есть некая программа по этому вопросу. Она варьирует от: *“Ассимилируйтесь себе на здоровье, пока не сдохнете”*, до: *“Езжайте в Израиль, дай вам Бог счастья и арабов побольше”*. Существует ли такая *“практическая идеология”* или ее вариант в украинском национальном движении?

— Украинское национальное движение сегодня еще мало отли-

чается от правозащитного движения. Единственное отличие состоит в том, что существуют группы, занятые только "своим" делом — чистые националисты, чистые "религиозники". Характерно, что, если на Украине и были фашистские организации, они не были украинскими национальными организациями. Во Львове, например, была большая фашистская организация. Она была имперско-русской, хотя в ней были и украинцы — но украинцы, национально себя не осознавшие. Правозащитное движение, мне кажется, тем и отличается, что не хочет предопределять точные контуры будущего строя. Оно считает что в конце концов это должен решить сам народ, демократическим путем. Демократическое движение при этом вносит только общий гуманистический элемент, на этом в нем сходятся марксисты и антимарксисты, социалисты и антисоциалисты. Все понимают, что пока не будет решен центральный вопрос демократизации, все остальное — вопрос завтрашнего дня, который никто не имеет морального права предопределять. Для русского националистического движения как раз характерно стремление сменить одну утопию другой, не спрашивая народ. Они лучше знают, что народу нужно. Увы, это все та же старая имперская традиция.

Что касается еврейского вопроса, то, насколько я знаю, у украинцев нет разработанных программ, только отдельные тезисы: кто хочет — уезжает, кто хочет жить в "самостийной" Украине — должен подчиняться ее законам. Некоторые считают, что нужно, как в свое время Центральная Рада, создать специальное министерство национальностей — для русских, евреев и т. д. Другие полагают, что всем, не согласным с отделением Украины, нужно предложить выехать в Израиль или в Россию. В разговорах часто дебатировался вопрос о возможности референдума по вопросу об отделении Украины, если это произойдет после демократизации России. Я, например, считаю, что референдум нельзя проводить, так как народ к нему не подготовлен.

Если на Украине повторится то, что было после революции, когда евреи все поголовно пошли с Москвой, малая часть — с белыми, большая — с красными (которые выступили против самостийной Украины), то это, естественно, вызовет спонтанную реакцию неразвитых народных масс. Если еврейские и русские демократические деятели займут неразумную позицию, то существует опасность повторения той же трагедии на новом круге — опять

погромы, опять русская империя или опять антисемитизм — уже в “демократической” России.

Об отношении украинского национального движения в эмиграции к еврейскому вопросу достаточно говорит позиция журнала “Сучасність” и издательства “Пролог”, так называемой партии “Викарин” — одного из направлений нашего движения. Недаром “Викарин” обвиняют в “жидофильстве”, в отсутствии исторической памяти. Но это не “жидофильство”. Это просто нежелание повторять старые трагедии. Сейчас три украинские партии в эмиграции объединяются в Украинское демократическое движение. В еврейском вопросе, да и в русском, они стоят на достаточно идейных позициях. Разумные позиции занимает и еще одна большая партия — мельниковцы, если судить по их органу парижской газете “Украинское слово”. Пожалуй, только в одной партии — в бандеровской — появляются антисемитские нотки: либо вообще замалчивается еврейская проблема, либо проводится мысль, что-де антисемитизм, конечно, плохо, но его вряд ли удастся искоренить, потому что евреи проводили коллективизацию, участвовали в ЧК, в захвате Западной Украины. Но мы знаем, что то была политика Сталина: сначала он присылал евреев из Москвы, затем обвинял их в предательстве, сажал и стрелял, а потом заменял кадрами из местных евреев, — все для того, чтобы вызвать национальную вражду.

Отмечу еще позицию Конгресса украинцев Канады. Эта организация, по сути, поддержала все хельсинкские группы, не только украинскую, как выход за пределы национальной ограниченности.

Вообще в эмиграции гораздо большее место занимает отношение к русским; отношение к евреям особых проблем не вызывает, и особого антисемитизма в украинской эмиграции я почти не встречал.

*— Вы говорили об участии евреев в украинском движении. Но есть еще чисто еврейское движение за выезд, за еврейскую культуру. Сочувствуют ли украинцы этому движению?*

— Я думаю, вы знаете о выступлении Зубана в Париже. Там же выступал и Давидович. Обычно знают о выступлении Некрасова, меньше — о выступлении Зубана и еще меньше о Давидовиче, старом украинском националисте, который сидел еще при Сталине. Когда КГБ угрожал сионистам Киева, запрещая устраивать голодовку в Бабьем Яру, пугая “славянами”, которые их побьют, мы пришли туда тоже, и КГБ не решилось явиться.



О планах сотрудничества я уже упоминал, и это не наша вина, что они не осуществились, а вина некоторых сионистов, которые говорили нам: "Антисемитизм — это ваши болячки, вы их и лечите, мы участвовать в совместном журнале не будем". И добавляли: "Антисемиты работают на нас". Это страшная точка зрения. С этого начинается подготовка к новому погрому, и готовят его сами такие сионисты. Для нашего отношения характерно, скорее, то, что произошло на конгрессе психиатров в Гонолулу. Там украинская организация из партии мельниковцев раздавала листовки, в которых говорилось, что Глузман — еврейский психиатр и сионист, сидящий в советской психиатричке, — это украинский националист. Это было сделано из чисто рационалистических, прагматических соображений, чтобы подчеркнуть, что мы поддерживаем евреев-сионистов. Но в этом отношении есть свои перегибы, когда украинцы говорят: "Мы предпочитаем иметь дело с сионистами, а не с еврейскими демократами, потому что сионисты понимают наши национальные нужды, а демократы их не замечают".

Я полагаю, что главным критерием в вопросе об отношениях между любыми движениями, в том числе — сионистским, демократическим, национальным, — должен быть критерий будущего, желание разумно, рационально подготовить и провести те изменения, которые позволяют нациям безболезненно перейти к самостоятельному существованию и сохраниться в историческом процессе.

*— Многие сионисты как в Израиле, так и в России, считают неразумным любое участие в демократическом и нееврейском национальном движении. В лучшем случае они согласны на уважение, дружественный нейтралитет. Многие националисты тоже считают, что сионисты им только мешают. Что вы об этом думаете?*

— Я так не думаю. В украинском движении я не видел нежелания сотрудничать. Я не говорю об эмиграции. На Украине я видел только желание сотрудничать. Я думаю, что сионистам мешает сотрудничать миф об украинском антисемитизме и неизбежности погромов. Этот миф распространяется на всю империю и приводит к полному обособлению сионистов. К тому же он лежит в основе той еврейской "нечаевщины", о которой я уже упоминал: "Чем хуже — тем лучше, антисемиты работают на нас, борьба украинцев с антисемитизмом вообще ослабляет сионистское движение".

*— Не могу с этим согласиться. Большинство сионистов дает другое обоснование, не "нечаевское". У нас есть исторический опыт, мы знаем, что наше вмешательство в дела других народов всегда оборачивалось плохо и для этих народов, и для еврейского народа. С какими бы благими*

*намерениями мы ни пришли к русским, украинцам и т. д., добра от этого не будет. Они должны устраиваться сами. Есть и еще одно соображение: роль евреев в России — в прошлом. Их единственная задача на будущее — уйти. И поскольку это главная задача, то не считаете ли вы разумным для сионизма изолироваться практически?*

— Однажды я спросил у киевского сиониста Алика Фельдмана: “Ну, хорошо, положим, вы уедете. Но ведь здесь все равно останутся евреи, которые считают Украину своей родиной”. Он сказал: “Тем хуже для них”. Это страшный тезис. Ведь и те, кто уезжает, и те, кто остается, — люди. А когда мы говорим о погромах, то речь идет как раз о тех, кто остается. Если начинаешь делить на плохих и хороших евреев, то подходишь близко к большевизму, только тот делил людей по классовому признаку, не по отношению к отъезду. Отсюда уже легко перейти к тому, кто худший сионист, кто лучший, кто правильный, кто неправильный, кто искажает, кто не искажает.

Что касается вмешательства евреев в чужие дела, то я уже говорил, что не стоило бы некоторым евреям расписываться за украинский народ, чего он хочет и чего не хочет. Но это и самим украинцам не стоит делать. В остальном же все дело в том, какое вмешательство, каковы его формы. И это — вопрос практический, а не теоретический. Теоретически ясно только одно, — что на практике вмешательство неизбежно.

Нельзя думать, что евреи уже никогда не будут играть никакой роли в России, на Украине. Какая-то роль будет — хотя бы потому, например, что отношение к евреям является в нашей цивилизации критерием демократичности. И для нас, украинцев, это отношение будет показателем того, за какую Украину мы боремся — за “вильну вид Москвы” или за “вильну для сэбэ”. Наконец, я думаю, что евреи, даже если их останется очень мало, могут все же сыграть большую историческую роль просто как люди, индивидуально.

*— Вы упомянули о мифе об украинском антисемитизме. Не правильнее ли сказать, что антисемитизм действительно был, но что это был сложный процесс, в котором участвовали обе стороны?*

— Существуют факты, существуют и мифы. Мифы тоже не возникают из ничего. Несколько фактов не определяют действительность, но вполне могут породить миф, который ее подменяет. На Украине были погромы, но это не значит, что весь народ состоит только из антисемитов. В украинском национальном движении были отдельные антисемиты, но не было фашистов.

— *Дальше вы скажете, что движения Хмельницкого, гайдамаков были народными движениями...*

— Вот именно. И опять-таки нужно учесть конкретную историческую реальность. Хмельницкому приписывают еврейскую резню. Но на самом деле он был против нее, резню устроил Кривонос, не украинец, а, кажется, шотландец. Резня была обусловлена национальным крестьянским бунтом, восстанием черни. Кстати, эта чернь была и против Богдана. Гайдаматчина была организована хитрой политикой поляков, феодалов, священников. Евреи просто попали в клещи. Конечно, объяснение не есть оправдание. Но все же я считаю неправильным, когда по тому или иному факту делают вывод обо всей нации на все времена.

— *Да, вы ведь считаете, что у нации нет неизменных черт...*

— Что-то неизменное есть, но оно вне социологии, вне оценки по типу "добро-зло". Нынешние норвежцы не имеют ничего общего с викингами, и только очень внимательный структурный анализ национальной культуры сможет обнаружить, что это — та же нация, но преобразованная под влиянием истории и сейчас уже вовсе не собирающаяся захватывать Англию, резать французов, идти "из варяги в греки".

Поэтому все разговоры об "украинском антисемитизме" — это ложь, это пример мифологизации. Такими мифами мы и питаемся. Все буржуи — эксплуататоры. Все жидаы — своекорыстны. Часто спрашивают, почему во время войны не евреи, а прежде всего украинцы (меньше — русские и белорусы) были капо в немецких лагерях. Ну, во-первых, были и капо — евреи. Во-вторых, совершенно очевидно, что еврею очень трудно было стать капо. У Гитлера только один маршал был евреем, но он тщательно это скрывал. Украина же была готова перейти на сторону немцев, потому что она только что пережила 1933 год. На Западной Украине так и произошло. Немцев там встретили, как освободителей, как избавителей от того ужаса, который большевики сотворили всего за два года. Все это и обусловило, почему на Украине больше выдавали евреев, чем в России. Впрочем, и украинцы через несколько месяцев отрезвели, когда увидели, что избавители еще похуже "товарищей".

Нельзя говорить, будто "все украинцы" выдавали евреев. Проследите, например, историю Украинской повстанческой армии (УПА). Она боролась некоторое время с Советами. В ней участвовали евреи. УПА часто освобождала евреев. УПА боролась с нем-

цами. Иное дело — часть ОУНовцев, которые пошли с Гитлером и, естественно, делали то же, что он. ОУНовцы прошли весь путь с Гитлером и не собираются раскаиваться, это просто обычные фашисты. А УПА раскаиваться не в чем.

В украинском Самиздате немало написано о национальном покаянии в связи с еврейскими погромами. Но призывать к покаянию целую нацию, как призывает Солженицын, — это, по-моему, опасное занятие. Если есть покаяние нации — значит есть “вина нации”, есть наказание нации, есть суд над нацией, возможна депортация нации и ее уничтожение.

Мы не призываем русский народ к покаянию. Нас интересуют только практические шаги. Наша претензия к ним иная: вы говорите о праве на самоопределение, но мы это уже слышали. Мы хотим практических шагов. Если вы их делаете — мы сотрудничаем. Если вы не делаете практических шагов — не сотрудничаем. Те же самые требования, я думаю, могут предъявить евреи к украинским националистам: делаются практические шаги — можно сотрудничать. Но именно сотрудничать, а не сливаться в одно движение.

*— Вас не пугает, что участие сионистов может ослабить национальное и правозащитное движения, которым власти смогут тогда приписать сговор с “мировым сионизмом”?*

— Всякое движение определяет себя из себя самого, из внутренней логики, внутренних потребностей своего развития, а не через то, что говорят власти. Если внутренняя сущность движения требует сотрудничества, то нужно на это идти. То, что говорит власть, это вторично. Власть все равно постоянно долбит, что украинские буржуазные националисты руководятся сионистами и помогают им. Они твердили это и тогда, когда на Украине еще не было сионизма. Обо мне говорили, что я вождь украинских сионистов.

О Светличном говорили, что он — связной между украинскими националистами и сионистами.

*— Не кажется ли вам более разумной позиция Жаботинского, которая соединяет в себе национальное достоинство с учетом интересов других движений и в то же время ставит на первый план собственные интересы?*

— В такой постановке — да. Но я не согласен, когда из этого делают вывод, что к союзникам нужно относиться, как к временному оружию. В каждом движении есть своя внутренняя сущность, которая диктует, где искать союзников. Но должны быть какие-то честные принципы отношений между союзниками. Это значит —

идти к нему с открытым забралом, без вероломства. Я считаю, что статья Фельдмана в "Сионе" о взаимоотношениях Петлюры и Жаботинского, где он говорит, цитируя де Голля, что у евреев, как у Франции, нет друзей, а только союзники, — это и есть образчик вероломства. Я думаю, что он мифологизировал того же Жаботинского. Когда через одну точку пытаются провести одну-единственную "правильную" плоскость, всегда происходит мифологизация.

*— Из ваших ответов можно понять ваше отношение к еврейскому народу, к еврейским проблемам. Остается задать последний вопрос: каково ваше отношение к Израилю и израильским проблемам?*

— Некоторые тупоголовые левые называли меня сионистом. В определенном смысле они правы, но в очень узком. Я — сионист, поскольку считаю, что существование государства Израиль необходимо для евреев всего мира, не говоря уже о самих израильтянах. Израиль должен существовать. У нации, поскольку она сложилась, есть право на существование своего государства.

Мне кажется, что формально это все признают, даже Советский Союз. Но есть еще палестинская проблема. Это очень сложная проблема. Я не знаю, как она решится, но мне кажется крайне важным, чтобы и арабы, и Израиль поняли, что советская помощь в этом вопросе — это самая страшная помощь, это помощь данайцев. Советы постоянно кладут палец в рану, не давая ей зарости. Сейчас я вижу попытку достаточно разумного, холодного подхода, без национальной истерии, с обеих сторон, и это мне кажется большим шагом вперед.

Но я не сионист в том смысле, что не считаю верным или обязательным основной тезис сионизма — возвращение всех евреев в Палестину. Для меня это опять попытка решать за других. Я могу понять это как идеологию, но не как практическую программу. Очень опасно заставлять людей или требовать от них. Если евреи считают своей родиной Россию, Украину, Америку или Францию, нельзя от них требовать, чтобы они так не считали. Я наблюдал те же споры среди украинской эмиграции, — ведь украинцы сейчас играют в некоторых странах роль евреев в диаспоре. Я считаю, что это очень разные уровни: с одной стороны, право государства на существование и признание необходимости такого государства, а с другой — заявление, что все евреи должны в это государство вернуться. В конце концов, они — люди. А личность первична. Сначала — личность, а потом уже все надстройки над ней: классы, нации, идеологии.

НАФТАЛИ ПРАТ

**ЕЩЕ РАЗ ПО ПОВОДУ "РУССКОЙ ИДЕИ"  
(ответ Александру Янову)**

Идут славянофилы и нигилисты.  
Ибо если они не сходятся в теории вероятности,  
То сходятся в неопрятности.  
И поэтому нет ничего слюнявее и плюгавее  
Русского безбожия и православия.  
(Церемониал погребения тела в Бозе усопшего  
поручика и кавалера Фаддея Козьмича П...).

1

У авторов, пишущих по поводу идей, часто наблюдается склонность устанавливать между этими идеями и действительностью произвольные связи, а также предполагать прямое влияние идей там, где оно является в лучшем случае косвенным и опосредованным. Существует неискоренимое стремление "идеологов" (как презрительно называл эту породу людей прагматик Наполеон) видеть в диалектическом саморазвитии идей единственную причину общественных катаклизмов. Когда же эта профессиональная склонность распространяется на популярные статьи, она приобретает черты явной мифологии. Такая мифология, поставленная на службу определенному "социальному заказу", становится "идеологией".

В русской самиздатской и тамиздатской публицистике стараниями ее "национальной" фракции понятию "идеология" придано значение самостоятельной и притом зловещей, разрушительной силы, субъектом которой (если таковой вообще предполагается) выступает сам Отец Лжи. В действительности идеология всегда играет подчиненную роль. Она обслуживает реальные интересы, часто не имеющие ничего общего с той системой фраз, которая призвана их прикрывать. Это существенное свойство идеологии

\* См. статью А. Янова "Судьба русской идеи" ("22", № 1, 1978).

весьма часто скрыто от ее творцов. Об этом много и верно писал непопулярный среди русских эмигрантов мыслитель К. Маркс. Писали и другие. Понятно, что такая точка зрения не привлекает к себе симпатии тех, кто искренне считает, что правители Советского Союза, которые на самом деле давно не верят ни в какие идеи и заботятся лишь о сохранении собственной власти, остаются пленниками своей "идеологии" — ужасного марксизма, изобретенного на растленном Западе и завезенного в Россию злоумышленниками (главным образом инородцами) для погубления ее доброго, но, увы, склонного поддаваться влияниям народа.

Понятно раздражение тех новых эмигрантов, которые не разделяют правонационалистических воззрений, почти нераздельно господствующих на страницах зарубежной русской печати. Однако в своем раздражении противники "национальной" фракции порой не замечают, что пользуются по существу тем же самым методом полемики, что и "националисты". Они приписывают все зло некоей "идеологии", внедрение которой в историческую действительность производит неисчислимые бедствия. Если в мифологии нынешних русских неословянофилов главным злодеем обычно выступает Маркс с его аггелами, то нынешние неозападники готовы во всех погромах и мракобесиях винить первых славянофилов: это они-де импортировали в Россию из Германии (откуда пришел и марксизм) реакционную утопию, чреватую мрачными последствиями.

Этот порок присущ и превосходно написанным статьям А. Янова, посвященным печальной судьбе "русской идеи". Во избежание недоразумений я должен сразу заявить о своей симпатии к той фракции в русском зарубежье, которую он представляет и которую можно назвать "либерально-демократической". Я полагаю, что в ответ на грубую травлю, которой подвергаются ее представители на страницах русской эмигрантской печати, они имеют право полемически заострять свои тезисы и даже высказывать их в подчеркнuto резкой форме.

Однако при всей моей симпатии к либерально-демократическим идеям, я не могу согласиться с упрощенной трактовкой сложнейших вопросов истории русской социально-философской мысли. Тем более, что высказывается она не одним из тех неискоренимых дилетантов, которыми избилует русская оппозиция, а человеком, превосходно знающим свой материал и оперирующим этим материалом легко и свободно.

Главное мое возражение А. Янову есть, в сущности, возражение

против определенной традиции в русской интеллигентской публицистике, — той традиции, которая некогда была подвергнута гораздо более глубокой критике на страницах сборника “Вехи”. Янов интересуется лишь **политическая** сторона спора между западниками и славянофилами. Он оставляет в стороне не только “социальные эквиваленты” идей, но и сам их **смысл**, отнюдь не сводимый к прикладной, конкретно-политической роли. При таком подходе действительно можно вывести бесчинства охотничьих мясников из романтической мечтательности первых славянофилов.

Янов очень верно характеризует эпоху европейского романтизма, как “глубочайший идейный кризис, далеко превосходивший по своему значению все современные ему военные и политические кризисы”. Однако он сводит все духовные искания этой эпохи к одному лишь “элементарному принципу, известному в математике под именем “от противного”, а это явное упрощение. Тогда не просто “фетиши побивались фетишами”. Возникало совершенно новое, небывалое мировоззрение, открывались такие стороны мира, о которых прошлые века не имели понятия, новые грани истины становились доступны человеческому разуму, осознавшему свою ограниченность и тщету своих претензий на самодержавие. Именно тогда возникла наука истории и постепенно стала достоянием людей мысль о том, что общество — не просто конгломерат индивидов, но живой организм. Он развивается по собственным законам и допускает лишь ограниченное вмешательство человеческой воли в свою жизнь. Пусть эта мысль и не содержит всей истины, но она все же плодотворнее, чем наивные рационалистические конструкции просветителей.

Эпоха Романтизма открыла реальность нации. Этой реальности не знал век Просвещения. Можно по-разному относиться к спорной идее “нации-личности”, но нельзя отрицать, что нации представляют собой живые силы истории, демонстрирующие сегодня свою реальность самым наглядным и ощутимым образом. И, наконец, — last, but not least — возрождение религии, о котором Янов говорит лишь мимоходом. Оно тоже имело глубочайший и самостоятельный смысл, который никак не исчерпывается социальной ролью религиозных институтов и настроений.

Упрощение сложной картины, нежелание видеть автономность высших проявлений человеческого духа мстит за себя тем, что образ эпохи, созданный Яновым, оказывается обедненным, а следовательно, — искаженным.



Определяя русское славянофильство как частицу кризиса, охватившего Европу после наполеоновских войн, Янов смело утверждает: "Страшно бедно элементами его миропонимание. Их можно перечислить по пальцам: деспотизм и свобода, "внешнее" просвещение и "внутреннее" нравственное здоровье, рационализм и вера, космополитизм и национализм. Поскольку один комплект этих элементов: "свобода = просвещение + рационализм + космополитизм" — исторически обанкротился, славянофильство перетасовало его, связав "свободу" с "верой, нравственной целостностью и национализмом". Но грех забывать, что исходным пунктом его социологического поиска была Свобода"!

Требуется, пожалуй, чрезмерная взыскательность, вернее — пристрастность, чтобы мировоззрение старших славянофилов, сохранившее в себе, как в зародыше, почти все главные темы последующей русской философской и общественно-политической мысли, назвать "страшно бедным"! Да и можно ли вообще расчленить цельную систему мировоззрения на абстрактные "элементы", допускающие затем механическое соединение в ином порядке? Ведь мировоззрение — это не произвольный набор ничем не связанных друг с другом идей. В нем существует иерархия элементов, ограничивающая возможность их "перетасовки" и замены. В сущности, это признает и Янов, когда говорит о "Свободе" как стержне всех славянофильских построений. В действительности, однако, подлинный стержень славянофильства — не любовь к свободе (как она ни важна сама по себе), а православие и горячая вера в русский народ. Это переплетение религиозных и национальных элементов и предопределило дальнейшую эволюцию славянофильства.

Янов ограничивает свою задачу анализом лишь одной линии этой эволюции. Он говорит о переходе славянофильства от чистой теории к политической практике и справедливо отмечает, что этот переход повлек за собой вырождение славянофильства, потерю лучших его свойств и усиление худших. Однако блестящий и внешне убедительный анализ Янова неполон и односторонен. "Судьба русской идеи не сводится к превращению "ретроспективной утопии" в реакционно-шовинистическую "идеологию". Но чтобы заметить это, нужно обратиться ко всей сложной совокупности идей, образующих славянофильское мировоззрение.

Весьма характерно, что, говоря о "русской идее", Янов почти не касается учения основателей славянофильства, больших и благородных мыслителей И. Киреевского и А. Хомякова. А ведь имен-

но им принадлежит заслуга создания того мировоззрения, которое по установившейся (хотя и неверной) традиции именуется славянофильским. Это странное на первый взгляд умолчание Янова о самых важных представителях критикуемой им школы отнюдь не случайно.

Киреевский и Хомяков лишь часть (хотя и немалую) своей души отдали созданию "ретроспективной утопии". Киреевский был прежде всего философом, стремившимся поведать миру "о возможности и необходимости новых начал в философии". Его мысли о познании истины не одним разумом, но всей совокупностью духовных сил, о личности как цельной структуре, обладающей внутренним центром, легли впоследствии в основу утонченных систем религиозной философии, созданных в России в XIX и XX веках. Хомяков, необычайно богатая и разносторонне одаренная личность — философ, историк, поэт и публицист — был прежде всего светским богословом, творцом глубокого учения о церкви.

Конечно, здесь не место рассматривать философские и богословские идеи старших славянофилов по существу. Но автору, взявшемуся говорить о славянофильстве как течении русской социально-политической мысли, непозволительно совершенно игнорировать философскую сторону этого течения. Иначе свободолюбие старших славянофилов окажется странным и чужеродным моментом в их мировоззрении. Действительно, как объяснить, что "свободолюбие" сочетается у них с осуждением именно того общественного слоя, которому оно присуще в наибольшей степени?

Старшие славянофилы соединяли глубокую религиозность с преклонением перед русским народом, в котором видели носителя **высших** форм общественного бытия, основанных на братской любви и согласии. Их мысль о его особом призвании и составляет, собственно, сущность "русской идеи".

Разумеется, весьма легко продемонстрировать ошибочность этой идеализации русского народа и на этом основании повернуться спиной ко всему, что писали эти мыслители о его особой миссии. И однако, думается мне, не все в этих мыслях — заблуждение. У каждого народа, действительно, есть своя неповторимая судьба, свой уникальный образ. А что такое эта "историческая судьба народа"? Что делает его носителем и творцом неповторимо-индивидуальных культурных ценностей? Не есть ли это — "Божий замысел о народе", его особая национальная "Идея"?

Позитивист или материалист, атеист или агностик только пожмут плечами, услышав такой вопрос. Но и они едва ли решатся отрицать реальность особых исторических путей разных народов. Это вовсе не значит, будто между различными народами нет ничего общего, будто их судьбы ничем и никак не похожи друг на друга. В сложном переплетении этих судеб (“Идей”, “Миссий”) разных народов и творится общая судьба рода человеческого.

Бытие народа не исчерпывается его эмпирической реальностью. Не только **настоящее**, но и все его **прошлое**, а также таящиеся в нем **потенции будущего** образуют нераздельное единство. Гегель был неправ, когда утверждал, что всякий народ призван реализовать какую-то одну идею и, выполнив эту задачу, как бы выпадает из истории. Пока народ жив, он не сказал еще своего последнего слова, не реализовал еще свою идею, не выполнил предназначение Божие. Поэтому “Божий замысел о народе” раскрывается лишь любовной вере — не слепой, но зрячей вере, которой открыты все пороки и слабости любимого народа, но открыто и нечто большее, сокровенное в нем. Именно любовная вера в русский народ характерна для славянофилов. И хотя не всегда она была зрячей, хотя и туманился взор витязей “русской идеи”, все же им открывалось многое.

Для тех же, кто не верит в Божий замысел и промысел, ту же мысль можно сформулировать иначе. Славянофилы обратили внимание на особенный характер исторического развития России, отличный от того пути, по которому шла Западная Европа и на которой тщетно пытались повернуть Россию интеллигенты-западники. Хорош ли этот особый путь России или дурен — вопрос другой, но история России в XX веке убедительно продемонстрировала тщету западнических надежд. И с этим горьким историческим опытом нельзя не считаться.

Славянофилы подвергли острой и во многом справедливой критике пороки рассудочной западной цивилизации, преданной “промышленным заботам”, ее культ материального благосостояния, всеобщий эгоизм и утрату высших духовных ценностей. Исследователи не раз отмечали родство этой критики не только с идеями немецких романтиков, но и с мыслями датского религиозного мыслителя С. Кьеркегора, оказавшего огромное влияние на философию современного экзистенциализма и т. н. “философию культуры”. Однако Кьеркегор, выросший на почве индивидуалистического протестантизма, выражал в своей философии духов-

ный кризис одинокой личности, предстоящей Богу в своем абсолютном уединении. Славянофилы же, укорененные в стихии православия, утверждали идеал "соборности" — свободной общности людей, соединенных любовью к общим ценностям и друг другу. Этот идеал даже скептически настроенные критики едва ли решаться назвать бесплодным. Ибо общеизвестно, что без морального обоснования обречены на крушение самые совершенные планы общественного переустройства.

Янов недвусмысленно отрицает какое-либо положительное значение религии (в данном случае — православия) для единственно интересующей его области — политики. "Православие? — пишет он. — Оно уже тогда, в середине XIX века, не возродилось само и не возродило нацию. Не оказалось реальной альтернативной "идеологией". Оно не сумело ни ограничить авторитарную Власть, ни изъять из обращения либералов-западников. Короче говоря, его политическое значение равнялось нулю. Таковы были реальные результаты экзамена, устроенного православию жизнью столетие назад. Можно ли не считаться с этими результатами теперь?"

Нигде талантливый обличитель "русской идеи" не демонстрирует с большей наглядностью ограниченность своего критического метода. Можно ли говорить о религии как об "идеологии", смотреть на нее только с точки зрения ее политического значения? Религии принадлежит иная и, смею полагать, более важная роль в человеческой жизни. Религия наполняет жизнь смыслом, и ее влияние не может не сказаться (хотя и не прямо, и не сразу) на всех видах человеческой деятельности, включая и политическую. Это не значит, однако, что религия должна брать на себя функцию политической "идеологии", формулировать политические платформы. Политика хлопочет о злобе дня, религия занята вечным. Но политика, как и любая другая человеческая деятельность, обесмысливается, если злоба дня поглощает ее целиком, без остатка, если Сиюминутное не повергается непрерывно Вечным.

Именно потому, что учение славянофилов не сводилось только к "реакционно-утопической" политике, оно смогло породить в процессе своего естественного расщепления не только натуралистическое учение Данилевского и блистательное мракобесие Леонтьева, но и полное мучительных идейных диссонансов гениальное творчество Достоевского, и универсальную, всеохватывающую систему христианской философии В. Соловьева.

Старшие славянофилы были не только благородными, но заблуж-

ждающимися мечтателями. Они были творцами русской утопии, которая содержала прямо-таки опасные для будущих поколений элементы. Однако в их мировоззрении была не только ложь, но и правда. И правда была важнее, существеннее лжи. Правда содержалась более в их утверждениях, ложь — в отрицаниях. Утверждая “истинность” православия, они отрицали истинность других религий. Они отрицали за католичеством и протестантством даже право называться христианскими вероисповеданиями.

Утверждая религиозное признание русского народа, они ему одному приписывали способность спасти гибнущий, сбившийся с пути Запад. На Западе они не видели признаков духовного возрождения. Все положительное ассоциировалось для них только с Россией.

“Тут мы имеем черту, — говорит русский философ Е. Трубецкой, — где истина незаметно переходит в ложь, где христианский идеал легко смешивается с чуждыми ему, но яркими и соблазнительными чертами националистической романтики... Ошибка их заключается только в **преувеличении своего** и в вытекающем отсюда неправильном соотношении между народным и христианским. Соблазн, которому они беспрестанно поддавались, заключается в отождествлении вселенского и русского. И отсюда — та в корне ложная антитеза, в которой противоположность западноевропейского и русского отождествляется с противоположностью расудочного, рационалистического, с одной стороны, и религиозного, христианского — с другой”\*.

Давно известно, что “лучшие сорта лжи делаются из полуправды”. Технология этого процесса прекрасно показана Яновым. Он указывает на те элементы социологической доктрины славянофильства, которые впоследствии отделились от нравственных постулатов православия и культа крестьянской общины и легли в основу казенной, официальной идеологии. Эти элементы — “обожествление нации и племени, к которому она принадлежит”, и имманентная враждебность к либеральной интеллигенции (“образованщине” по Солженицыну). Н. Данилевский, создавший теорию взаимнепроницаемых “культурно-исторических типов”, отрицавший единство человеческого рода и сводивший православие лишь к атрибуту славянской культуры, был уже явным выразителем дегенерации славянофильства. Но будем справедливы и к этому малосимпатичному мыслителю. Его идеи, в конце концов, не были совершенно

\* Е. Трубецкой. Мирозерцание В. С. Соловьева, т. 1. М., 1912. стр. 61.

бесплодны. Они предвосхитили некоторые теории XX века, в частности, столь популярные ныне исторические концепции Шпенглера и Тойнби. Идея культуры как цельной системы, так же как идея сравнительного изучения культур, уже содержались в писаниях Данилевского, далеких от строгой научности, но и не совершенно бесполезных для науки.

К. Леонтьев как мыслитель не имеет почти ничего общего со старыми славянофилами. В оценке этого талантливейшего представителя русской реакционной мысли я не стану спорить с Яновым — отличным знатоком Леонтьева. Мне представляется, однако, что было бы интересно исследовать особенности религии Леонтьева, его эстетизированное “византийское” православие, чуждое каких-либо гуманистических черт. Леонтьев даже христианство Достоевского считал “розовым”, чрезмерно сентиментальным!

## 2

Но не только старшие славянофилы оказываются вне поля зрения Янова. Чрезвычайно важная для понимания места славянофильства в истории русской общественно-политической мысли полемика В. Соловьева с эпигонами славянофилов также совершенно им не упоминается. А между тем эта полемика представляется мне ключом к пониманию внутренней диалектики “русской идеи”.

Владимир Соловьев был несомненным духовным наследником старого славянофильства. В гораздо меньшей степени он был связан с его конкретными социальными построениями. Влияние славянофильства на Соловьева было особенно сильным в первый период его творчества. В своих ранних произведениях Соловьев отдал дань русскому мессианизму, предсказывая русскому народу решающую роль в деле спасения мира на пути, ведущем к идеалу “свободной теократии”. Подобно Чаадаеву, который в своей “Апологии сумасшедшего” предсказывал России великое будущее именно благодаря ее незатронутости европейской цивилизацией, Соловьев писал: “Внешний облик раба, в котором находится наш народ, жалкое положение России в экономическом и других отношениях не только не может служить возражением против ее призвания, но, скорее, подтверждает его. Ибо та высшая сила, которую русский народ должен про-

вести в человечество, есть сила не от мира сего, и внешнее богатство и порядок относительно ее не имеют никакого значения”.\*

Следуя Киреевскому и Хомякову, Соловьев ждал от восточного православия того преображения духовного облика России, которое сделает ее достойной своего великого призвания. Однако в 80-е годы в его религиозно-философских воззрениях происходит знаменательный перелом. По-прежнему веря в призвание России, он усматривает его теперь в объединении христианских церквей под властью римского папы. Мистическую глубину православия он хочет дополнить социальной активностью католичества. Историческое призвание России он видит теперь в том, чтобы доставить вселенской церкви политическое могущество, которое ей необходимо, чтобы спасти и возродить Европу.

Так неожиданно и парадоксально трансформируется у Соловьева “русская идея”. Во имя своей теократической утопии Соловьев объявляет войну всякому национализму, и прежде всего — русскому. Он отрекается от славянофильской идеализации православия. Он осуждает преследование национальных и религиозных меньшинств. В своей публицистике этого периода Соловьев формулирует новую философию русской истории, согласно которой величие России покоится на “силе самоотречения русского народа”. Согласно Соловьеву, культурная миссия великой нации — это не привилегия: великая нация должна не господствовать над другими народами, но служить им — и всему человечеству. Недавние единомышленники Соловьева не могли простить ему эту перемену взглядов, которая выглядела в их глазах “предательством православия и России”. Проповедь национального самоотречения повергла в ярость хранителя заветов старого славянофильства И. Аксакова, который безосновательно отождествлял христианский универсализм Соловьева с абстрактным космополитизмом и призывал Соловьева, прежде чем заботиться о воссоединении церквей, воссоединиться с духом собственного народа.

Сближения Соловьева с либералами, принятие им ряда западных представлений о прогрессе оттолкнуло от него и К. Леонтьева, который симпатизировал, скорее, “папистскому” уклону философа, чем его религиозному гуманизму.

Этот переход Соловьева в стан либералов-западников полон глубокого смысла. Духовный наследник Киреевского и Хомя-

\* В. Соловьев, Сочинения, изд. “Общественная польза”, т. 1, стр. 225.

кова вступил в союз с той самой интеллигенцией, чьи материалистические и позитивистские предрассудки он не уставал разоблачать. Это был союз во имя беспощадной борьбы с реакционным национализмом, к которому скатились эпигоны славянофильства. В блестящих статьях, объединенных впоследствии в книгу "Национальный вопрос в России", Соловьев подвергает уничтожающей критике учение славянофилов и показывает, как из свободолюбия Киреевского и Хомякова могло развиваться поклонение идолу национального эгоизма. В одной из этих статей — "Славянофильство и его вырождение" — Соловьев дает самый глубокий анализ того процесса, который является темой статьи Янова "Судьба русской идеи". Он указывает, что основатели славянофильства вели "прогрессивно-либеральную борьбу" против подлинного зла, существовавшего в тогдашней России. Они защищали западный по своему происхождению принцип человеческих прав и безусловной моральной ценности отдельной личности. Однако уже старому славянофильству, по мнению Соловьева, был присущ коренной порок. Он заключался в том, что в основу своего учения оно положило не идеал будущего, а идеализацию прошлого — Московской Руси, ее "татарско-византийской сущности". Именно здесь, как полагает Соловьев, лежит причина позднейшего вырождения славянофильства. В истории этого вырождения он различает три стадии: "Поклонение своему народу как преимущественному носителю вселенской правды, затем поклонение ему как стихийной силе, независимо от вселенской правды, наконец, поклонение тем национальным односторонностям и аномалиям, которые отделяют народ от образованного человечества, т. е. поклонение своему народу с прямым отрицанием самой идеи вселенской правды"\*

Перед нами та же трехчастная схема, которая содержится в статье Янова. Правда, в этой схеме не находится места для самого Соловьева, который во всяком случае духовно ближе к старшим славянофилам, чем Данилевский, Леонтьев или Катков. Но эту близость можно видеть, если выйти за рамки чисто "политического" подхода к славянофильству, характерного для статьи А. Янова. С. Булгэков относил В. Соловьева к славянофильской "левой", которая, по его мнению, включала также Достоевского и И. Аксакова, т. е. тех, в мировоззрении которых религиозно-этические мотивы старого славянофильства сохра-

\* В. Соловьев, Сочинения, т. 5., стр. 206—207.



нили свое центральное значение. Отношения между самим Соловьевым и Достоевским были весьма сложны. То, что написано Соловьевым о творчестве Достоевского, не свидетельствует о подлинном проникновении в глубину поставленных великим русским писателем духовных проблем. Несколько поверхностный, эволюционно-оптимистический прогрессизм, целиком принадлежащий XIX веку, который был свойствен Соловьеву в период "теократической утопии", мешал ему понять трагический антиномизм Достоевского. Но в том, что касалось "русской идеи", весьма дорогой Достоевскому, Соловьев солидаризировался ( в статье "Русский национальный идеал") с выраженной Достоевским в его знаменитой Пушкинской речи формулой всеобъемлющего, всеобъединяющего и всепримиряющего русско-христианского идеала "всечеловечества". В то же время он никак не мог согласиться с нападками Достоевского на "жидов", поляков, французов, немцев, на всю Европу и все другие религии.\*

Вступив в беспощадную и победоносную борьбу со славянофильством, сблизившись с западниками, Соловьев все же удержал гораздо больше элементов славянофильского мировоззрения, чем это готовы признать сегодняшние последователи славянофилов, которые считают, что он впал в гипертрофированный универсализм, чрезмерное сближение национального и всечеловеческого. Он, например, сохранил в своей "теократической утопии" русский мессианизм в форме утверждения, что России (хотя под духовным главенством папы) должна принадлежать честь основания всемирной христианской империи. Тем самым Соловьев, в сущности, погрешил против собственного идеала национального самоотречения. Он бессознательно впал в тот самый грех преследования эгоистических целей под видом благородных идеалов, который обличал в славянофильстве. Более того, его представления об идеальном политическом устройстве оказались чрезмерно близки к тому идеализированному образу самодержавия, который рисовался воображению старших славянофилов.

Лишь в самом конце жизни Соловьев осознал фальшь своей "теократической утопии" и спародировал ее в "Повести об антихристе". Его прежний эволюционный оптимизм уступил место повышенному ощущению реальности зла в мире, апокалиптическому предчувствию великих катастроф. Он фактически сблизился не только с Достоевским, но и с Леонтьевым, который

\* Там же, стр. 381–382.

под конец жизни все более утрачивал веру в Россию как носительницу византийского начала и предчувствовал, что его родине уготована поистине ужасная судьба и что, быть может, из недр русского народа родится антихрист.

Преемники Соловьева — представители русского религиозного возрождения начала XX века — уже не питали никаких утопических иллюзий.

Вместе с тем они сохранили те элементы славянофильского мировоззрения, которые делают его не просто одним из вариантов реакционного романтизма, как утверждает А. Янов, но одной из подлинных вершин духовного развития России.

Сегодня сохраняют всю свою силу слова, сказанные в начале века С. Булгаковым: "Довершив свое окончательное преобразование, реформированное славянофильство или, лучше сказать, национальный универсализм окажется способным сделать и политическим знаменем для прогрессивных элементов нашего общества, а вместе с тем утолить его философскую и религиозную жажду; шаткие основы позитивного мирозерцания "западничества", привлекательного теперь в силу связанных с ним прогрессивных политических стремлений, быстро утратили бы свою обаятельность, раз только стало бы ясно, что переход к новому мирозерцанию не обязывает от них отказываться, и основное историческое недоразумение русской жизни было бы наконец исчерпано. Пора уже". \*

В последней четверти XX века приходится констатировать, что "основное историческое недоразумение русской жизни" все еще далеко от разрешения. Свободная русская социально-философская мысль стоит сегодня там же, где в первой половине XIX века произошел ее великий раскол. В русской эмиграции вот уже 60 лет не прекращается дискуссия о наследии славянофилов, — достаточно вспомнить спор, развернувшийся после второй мировой войны вокруг книги Н. Бердяева "Русская идея". Приход в русское зарубежье "третьей волны" эмиграции придал новую и едва ли оправданную остроту старому спору. Я не надеюсь на то, что моя статья сможет утихомирить страсти. Но, может быть, ей удастся хоть в какой-то мере содействовать большему пониманию сторонами спора точки зрения своих оппонентов. Пора уже!

---

\* С. Булгаков. Что дает современному сознанию философия Владимира Соловьева. В кн.: От марксизма к идеализму, СПб, 1903, стр. 259.

АРТУР КЕСТЛЕР

### СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ

Речь Артура Кестлера, произнесенная в Карнеги-Холл в марте 1948 года, звучит сегодня как сиюминутный ответ американскому представителю в ООН Эндрью Янгу, который недавно едва ли не оправдал процесс Щаранского на том “основании”, что в США, видите ли, “тоже есть политические заключенные” — он сам провел недельку в тюрьме за выступления в защиту прав негров. Кто знает, — может, Брежнев тоже назначит Щаранского представителем СССР в ООН?!

История любит повторяться. Люди — тоже. Может быть, это единственное, что заслуживает название “уроков прошлого”? Ведь сказал же Бернард Шоу, что “единственный урок истории состоит в том, что люди не запоминают ее уроков...”.

Военная истерия никогда не является доказательством того, что люди, ею охваченные, обеспокоены всерьез. Равным образом не доказывают этого и действия “умиротворителей”. Умиротворение агрессора создает лишь туман, в котором ни одна из сторон не может определить своего истинного положения. Агрессор, которому уже позволили захватить пункты А, Б и В, надеется безнаказанно захватить еще и пункт Д, — а почему бы и нет, коль скоро он уже получил столько поощрений? Но оказывается, что умиротворители именно пункт Д почему-то считают “принципиальным”. И вот уже мир незаметно соскальзывает в войну, против желания каждой из сторон. Умиротворение похоже на покер; решительная, четкая, принципиальная политика сходна, скорее, с шахматами.

Итак, я приму без дальнейших доказательств, что военная истерия и политика умиротворения — это наши Сцилла и Харибда. Сложная задача подлинного либерала — пройти, как Улисс, между этими двумя крайностями.

Разрешите мне в помощь навигатору указать на некоторые логические рифы и эмоциональные водовороты, в которых часто гибнут неопытные идеалисты. Я насчитал для себя семь таких опасностей — семь “смертных грехов”, весьма распространенных среди людей, которых можно было бы назвать, с вашего позволения, “левыми Бэббитами”.\* Вот эти грехи.

Первым является отождествление Левого с Восточным. Определенная часть реакционной печати не может или не хочет проводить различий между либералами, социалистами и коммунистами; для нее они все — “проклятые красные”. Но левые сами частично повинны в этой путанице. Левый Бэббит искренне полагает, что имеет место непрерывный переход от него, бледно-розового либерала, к ярко-красным социалистам, и от них — к багровым коммунистам. Пора бы понять, что Москва не “левее”, а всего лишь — восточнее. Что Советский Союз — не социалистическая страна. И что его политика — не социалистическая политика. Так что давайте помнить, что “Лево есть Лево, и Восток есть Восток”,\*\* а даже если они временами сходятся, то это бывает чисто случайно.

Второй грех состоит в раздувании своих собственных недостатков. В одном из интервью я как-то сказал, что испуганные европейцы смотрят сегодня на американцев, как на свою единственную надежду. Тогда один из репортеров задал мне вопрос: “Вы действительно полагаете, что мы можем помочь Европе своими грязными лапами?” Я спросил: “Что вы имеете в виду под “грязными лапами”?” Он ответил: “Я имею в виду нашу политику в Греции, в Палестине, нашу поддержку Франко, наше отношение к неграм и евреям. Мы в грязи с головы до ног, и, когда мы притворяемся защитниками демократии — это чистейшее лицемерие”.

Чтобы понять, в чем тут логическая ошибка, нужно перенести этот разговор назад, — скажем, в 1938 год. Тогда слова репортера будут звучать следующим образом: “Мы не имеем никакого права возражать против гитлеровского плана загазировать евреев, поскольку в Америке тоже (!) существуют гостиницы, куда не пускают цветных, и вообще до тех пор, пока негры не

\* Бэббит — герой романа американского писателя С. Льюиса — символ среднего, “здравомыслящего”, слегка мещанистого американца. (Прим. ред.)

\*\* Перефраз известных строк Р. Киплинга: “Запад есть Запад, и Восток есть Восток, и вместе им не сойтись”. (Прим. ред.)

получат равных прав. Вот когда наша американская демократия станет идеальной, тогда и только тогда мы заслужим право защищать то, что к тому времени останется от Европы. А если от нее к этому времени ни черта не останется, что ж — это, конечно, плохо, но тут уж мы ничем не можем помочь”.

Третий и тесно связанный со вторым грех — это грех ложного тождества. В европейском варианте он звучит так: “Советский тоталитаризм плох. Американский империализм не лучше. Между ними нет никакой разницы. Поэтому давайте останемся на ничейной земле до тех пор, пока не наступит неизбежная развязка. “Чтобы доказать, что американская система “так же плоха”, как русская, и тем самым уравнивать две стороны этого “тождества”, наш чистюля прибегает к маленьким полусознательным подлогам. Он приравнивает чистки в Голливуде к советским чисткам. Ему никогда не доводилось жить в тоталитарном режиме. Поэтому, когда он проводит сравнение, он попросту не знает, о чем толкует. Его совесть восстает против трущоб Чикаго, в которых негры на скотобойнях работают, как крысы. Я тоже провел несколько дней в Чикаго, и мне тоже были отвратительны и это зрелище, и эти запахи. Я бы не хотел, чтобы меня считали наивным туристом, романтическим обожателем американской системы. Но сравните, пожалуйста, американское отношение к национальным меньшинствам — пусть даже в самом худшем его варианте, — с советским отношением к крымским татарам, немцам Поволжья, чечено-ингушам, которые были поголовно депортированы, поскольку они, как выразился советский офицер, “доказали свою ненадежность во время войны”. Даже грудные дети оказались “ненадежными” и были вывезены в Сибирь. В Чикаго я видел бастующих. Я симпатизировал им. Но в России забастовки или даже подстрекательство к забастовкам рассматриваются как тягчайшее преступление. Они караются самыми суровыми наказаниями. Американская машина голосования продажна и искажает волю избирателей, согласен. Но в России 99,5 процента неизменно голосуют за официальный (и единственный) список (остальные полпроцента, я полагаю, лежат в это время в постелях с гриппом). Наш образованный Бэббит отождествляет неидеальную демократию с идеальным тоталитаризмом. Его совесть, видите ли, выиграла настолько, что он уже не усматривает разницы между корью и проказой.

Грех номер четыре — это “анти-антипозиция”. Она гласит: “Я

не коммунист. В действительности, я даже не люблю коммунистические методы. Но я не желаю, чтобы меня отождествляли с охотниками на коммунистических “ведьм”. Поэтому я не коммунист, но и не анти-коммунист. Я — анти-антикоммунист. Если мистер Херст утверждает, что дважды два это четыре, то я немедленно заявляю, что дважды два это пять. Или, по крайней мере, четыре с половиной.

В последней войне мы воевали — во имя демократии— в союзе с диктатором Греции, диктатором Китая и диктатором России. В то время нацизм был главной опасностью для всего мира, а политика строится на союзах. Но есть фундаментальная разница между политикой времен войны и полным отождествлением себя со своими союзниками. Быть в союзе с Чан Кай-ши не означает, что мы хотим подражать чанкайшистскому режиму. Оказаться — даже против своей воли — в одном лагере с печатью Херста или сенатором Мак-Карти еще не означает отождествить себя с их взглядами и методами. Боязнь оказаться в дурной компании не есть свидетельство политической чистоплотности; это, скорее, свидетельство недостатка уверенности в самом себе. Если вы уверены в себе — и политически, и идеологически, — вы не побоитесь сказать, что дважды два равно четырем, даже если сенатор Мак-Карти говорит то же самое.

Грех номер пять — грех сентиментальности. Многие годы мы отождествляли коммунизм с борьбой против нацизма. И сегодня, когда нам необходимо разойтись, нам трудно порвать нити нашей прежней лояльности. Но наши вчерашние союзники такой сентиментальностью не страдают. По всякому мельчайшему поводу они, не колеблясь, объявляют нас фашистами, изменниками и людоедами. Наши эмоциональные связи — односторонни, и нужно помнить, что они абсолютно иррациональны и консервативны по своей природе.

Грех номер шесть — требование “идеальной чистоты” дела. Он связан со вторым по счету грехом — самоосуждением. Только абсолютно чистое дело достойно того, чтобы за него бороться. И вот поиск абсолютно справедливого и чистого дела превращается в повод для бездействия.

История не знает абсолютно справедливых дел. Она не знает ситуаций, в которых абсолютно белое сражается с абсолютно черным. Восточный тоталитаризм черен; его победа означала бы конец нашей цивилизации. Но западная демократия тоже не

белая, — она серая. Жить или даже умирать за абсолютно правое дело — это роскошь, доступная немногим. Во время войны я опубликовал статью, которая начиналась словами: “В этой войне мы сражаемся с абсолютной ложью во имя полуправды”. Полной ложью был тогда гитлеровский “новый порядок”. Полуправдой была наша демократия. Сегодня мы стоим перед той же необходимостью и тем же затруднением. Снова перед нами выбор между серыми сумерками и абсолютной тьмой. Но спросите беженцев, которые ухитрились бежать из-за железного занавеса в наш сумеречный серый мир, рискуя собственной жизнью, спросите их — стоит ли бороться за существование такой альтернативы. Они-то знают. Это вы сомневаетесь.

Последний, седьмой по счету, грех — смешение краткосрочных и долгосрочных целей. Этот грех наиболее опасен. Под долгосрочными целями я понимаю нашу вековую борьбу за реформы, за социальную справедливость, за более демократичную систему правления. Под краткосрочными целями я понимаю необходимость бороться с сиюминутной опасностью.

Смешение этих целей может быть двояким. Левый Бэббит может отказаться от борьбы против сиюминутной опасности, пока не закончит свой труд по созданию идеальной системы в собственной стране — этак, лет через сто-двести. Противоположная опасность состоит в том, что он может так увлечься сиюминутной борьбой, что предаст забвению все принципы борьбы долгосрочной. Бывшие коммунисты и разочарованные радикалы особенно подвержены опасности качнуться в другую крайность. Следует всегда помнить, что в нашей борьбе имеются эти два отчетливо различимых уровня. Защищать нашу систему от сегодняшней непосредственной опасности вовсе не означает соглашаться со всем, что есть дурного в нашей системе, не означает отказываться от наших долговременных целей. И напротив — критика недостатков нашей собственной системы не освобождает нас от обязанности защищать ее, несмотря на ее двусмысленную серость, от полной коррупции человеческих идеалов.

Н. РУБИНШТЕЙН

УРОК МАРГОЛИНА

Памяти Евы Ефимовны Марголиной

Летом прошлого года я была в этих комнатах в последний раз. А до этого забегала, но не часто, хоть и всегда с удовольствием, выслушивала сетования хозяйки на редкость посещений, извинялась занятостью, жарой, семейными трудностями, и уже тогда знала, чувствовала, как буду жалеть и сокрушаться потом...

В тот последний мой визит, когда мы договорились издать вот эту самую книжку\*, Ева Ефимовна жила уже из последних сил. Грузно лежала она на кровати, немного наискось, раскинув усталые полные руки. Почему-то приходило в голову сравнение с перебарывающим волны пловцом. Она с трудом удерживалась на поверхности, предчувствуя и зная бездонность глубин, готовых ее поглотить, но отважно поддерживала ту неуверенную жалкую игру, которую вели с нею мы — посетители и близкие к ней люди. Реку свою она переплывала одна, не обижаясь, что мы остаемся на берегу, сочувственно улыбаясь нашему бессильному желанию помочь ей. А мы с берега махали белыми платочками, точно провожали ее ненадолго, и делали вид, что в скорости ждем обратно. И она приветливо шевелила пальцами, чтобы утешить нас немного. Потому что в этот час она, сильная, жалела нас, слабых.

Мне она сказала:

— Вы ведь знаете, как я ждала вас. И за что я на вас обижена...

Конечно, я знала.

— Я уезжаю теперь в Париж. Вернусь — ...

— Надолго?.. Ах, на шесть недель...

У нее не было впереди шести недель, чтобы дожидаться выполнения моего еще зимнего обещания написать о Юлии Марголине. В этом поручении была большая честь для меня и очень непростая задача, которую — худо ли, хорошо ли — я выполняю только сейчас.

\* Настоящая статья представляет собой предисловие к готовящейся к изданию в книговариществе "Москва—Иерусалим" книге статей и очерков Ю. Б. Марголина "Над Мертвым морем".



Из всего, написанного Марголиным, встает лицо знакомо-незнакомое. Сказанное им двадцать и тридцать лет назад вдруг обретает силу пусть не ответа — но отклика на самые сегодняшние вопросы. Словно кто-то очень близкий, свой, прямо-таки один из нас, только раньше пришедший на эту землю, позаботился о нас, думал, ждал и писал нам письма.

Вслушиваясь внимательно в негромкий голос Марголина, трудно автору статьи о нем избежать искушения: так и хочется предложить читателю вместо себя в собеседники самого Марголина, заместив свои абзацы обширными выписками. Ведь окажись мы способными выслушать и воспринять то, что действительно несет с собою марголинское слово, жизнь многих из нас стала бы хоть осмысленнее и многие помирились бы наконец сами с собою. Но нетрудно нынче взять с полки любую книгу Марголина, все они опубликованы, а письма его — мне кажется — все еще не дошли до адресата.

Легко сказать, что Марголин — один из нас, русский еврей, русский интеллигент, с коротким, но драматически насыщенным опытом советской жизни, опытом лагеря и ссылки. Это очевидное сходство не откроет причин нашей собственной глухоты, невосприимчивости к марголинскому уроку, охоты раздергать цельное творчество на цитатки и пройти мимо того, что составляет самую его суть. Важнее для нас, может быть, осознать различие между Юлием Марголиным и нами, провести черту и не набиваться ему в очень уж близкие родственники. Потому что Юлий Борисович Марголин был русским евреем по-другому и русским интеллигентом по-другому, чем мы, и опыт лагеря и ссылки был пережит им иначе, чем многими его советскими современниками.

Общим же у нас с ним был опыт чтения — азбуке он выучился по Гоголю, а любви к поэзии — по Блоку и Пастернаку. Но сходство и тут не полное: он не только Мандельштама, он и Тувима читал в подлиннике, и Рильке, и Верлена. Русскую культуру любил не по скудости образования, связавшего его одноязычием: он был европеец высокой пробы, для которого любая национальная культура была лишь частью культуры универсальной. И еврей он был не со вчера, не вычислил, не надумал себе "еврейское

самосознание”, а был знаток литературы на идиш, ценитель новой поэзии на иврите, участник горячих сионистских дискуссий. Тезис об изолированности, неслиянной обособленности еврейского народа среди других народов мира считал он пошлой сублимацией вынесенного из веков рассеяния комплекса национальной неполноценности и справедливо замечал, что в “Книге Эсфири” знаменитые слова о народе, который живет отдельно, произносит злодей Амман, а не Мордахай. Велик и значителен был, с его точки зрения, вклад его народа в западную культуру. Но вкладом этим он числил не только Библию, а и еврейское участие в европейском культурном творчестве нового времени, на каком бы языке и в каком бы географическом пространстве этот вклад ни был сделан.

Широк был его еврейский мир, и для поддержания национальной гордости маловато было бы ему указать на Осипа Рабиновича или Семена Юшкевича как на русских еврейских писателей (хоть второсортное, но свое родное, и уж тем дороже чужого первосортного). Для него еврейскими вложениями в мировую культуру были Гейне и Тувим, Кафка и Мандельштам. Житель Тель-Авива с 1939 года, он только улыбнулся бы, вспомнив, что некогда страстное желание услышать детскую речь на иврите заставило Жаботинского — сионистского вождя, но ведь и русского писателя! — воскликнуть: одно слово ребенка на иврите дороже всей русской литературы. В открытое окно с тель-авивской улицы доносился оголтелый ребячий галдеж — и все сплошь на иврите! Но праздничная радость этого обстоятельства не заменяла и не отменяла для него никакой из многих литератур, к которым он был причастен; ни русской, ни немецкой, ни еврейской.

х х х

Юлий Марголин был русский еврей, но он никогда не был советским евреем. Дитя глухой русско-еврейской провинции, екатеринославский гимназист в 1917 году, он только раз оказался случайным свидетелем того, как действует “революционное правосознание”. В городском комитете провинившийся коммунист метался с воплем среди своих коллег: “Кто будет меня расстреливать?” Эта встреча с новым строем оказалась решающей: “Я выбрался за двери, пока меня не заметили, и бежал, бежал из

страшного дома, из круга этих людей, из круга их идей и "идеалов" навеки..."

Он был увлечен и убежден идеями и идеалами Жаботинского. Задолго до второй мировой войны знал и чувствовал угрозу, нависшую над его народом. Но осень тридцать девятого года застала его в Польше, гостем в родительском доме, и вплотную придвинулось к нему гитлеровское нашествие: "О патриотизме польских евреев можно говорить уже в прошедшем времени. Нет больше польских евреев. На улице Берка Моселевича живут поляки, который обойдутся без нас и нашей привязанности. Но в то утро, когда началась моя беженская эпопея, я был искренне взволнован, и польская трагедия заслонила в моем воображении ту единственную, о которой следовало думать: трагедию моего народа... ("Сентябрь, 1939").

Так он был увлечен судьбой с того пути, который выбрал для себя сам, с пути сиониста, израильтянина, деятеля "национальной революции". И его протянуло по маршруту, следовать который он отказался в самом начале жизни. В Пинске, городке его детства, достала его советская власть, чтобы отправить в многолетнее "путешествие в страну Зэка".

Его книга, не первая, но довольно ранняя книга о советских лагерях, вышла в "Издательстве Чехова" в 1952 году. Она разошлась довольно быстро, но международного резонанса не имела. Не потому, что автор плохо справился со своей задачей, но потому, что он говорил вещи, которых никто не хотел тогда слышать. Теперь, когда живая жизнь Юлия Марголина прожита, можно думать, что судьба была права, забросив его свидетелем на дикие острова ГУЛАГа. Даже сокрушительная сила томов Солженицына не отменяет значения "Путешествия в страну Зэка". Марголин одним из первых нанес ее на карту и дал ей географическое имя.

От всех, кто писал об этой стране по-русски, Марголина отличается особый угол зрения — взгляд пришельца из другого мира. Он был свой в русском языке и культуре, и через то было ему абсолютно доступно охватить мыслью открывшееся взгляду явление — "позорную тайну режима" — без наивного ребяческого испуга иностранца. Но, с другой стороны, его не мучил, как героя Артура Кестлера, вопрос о вине и расплате, проклятый вопрос: "Почему и за что?" Ничем в своей предыдущей жизни, в отличие от многих еврейских коммунистов и европейских левых, он

не послужил созданию страны лагерей. В лагерь он принес "чувство собственного достоинства, этот хрупкий и поздний плод европейской культуры". Для наиболее способных к мысли из числа советских людей лагерь был школой освобождения от идеологической повинности по отношению к государству, лагерная неволя (вспомним автора и героев "В круге первом") часто оборачивалась путем к внутренней свободе. Но никогда не сказал бы Марголин: "Благословение тебе, тюрьма", и ничему не мог научить его лагерь. "Социалистический гуманизм" и "буржуазный индивидуализм" не могли устоять в лагере. Но Марголин прибыл с другим багажом — он был гуманист, либерал и индивидуалист без эпитетов. Убеждения его были тверды, и, хотя сохранить их не всякому было легко, в пересмотре они не нуждались.

Тут все зависит от точки отсчета. Любимые герои Солженицына проходят в лагере процесс очеловечения. Марголин же посвятил в своей книге большую главу другому процессу и назвал его "Расчеловечивание": "Быть сытым — лежать отдыхая — чувствовать благодетельное тепло — жить текущим днем, не допуская ни воспоминаний о прошлом, ни мыслей о будущем: вот предел желаний и степень расчеловечения, к которой рано или поздно приходит каждый заключенный... необходимость лгать для спасения жизни, лгать непрерывно, годами носить маску и не говорить того, что думаешь..." Для среднего советского гражданина najить свое, отличное от введенного сверху, самосознание — уже большое достижение; научиться сохранить его, укрыть от всевидящих очей — еще большее. Но для интеллигента Запада необходимость скрывать себя, рядиться в идеологический мундир, применяться к чужим правилам игры — для него это "атрофия сознания и марионетизация духа". И в тех случаях, когда он, по необходимости, оказывается восприимчив к лагерным "урокам", успехи не радуют его: "В первый раз в жизни, если не считать мальчишеских драк, я ударил человека... Меня понесло, точно кака-то черта была пройдена, и я ощутил всем существом — силу, охоту, право и неожиданную легкость, с какой можно бить".

Интеллигент в лагере — тема, изобретенная лагерем, поскольку лагерь — идеальное место встречи интеллигенции с народом. Теперь они попробуют друг друга на зуб. И если интеллигент окажется не плох, он скоро усвоит необходимые навыки, дающие возможность выжить: непререкаемость тона, быструю готовность дать в зубы, способность излучать волевое свечение. Он научится

переводить интеллектуальное превосходство в физическое. И выживет. И будет прав и горд. И если напишет — прочтите недавнюю яркую книгу Вл. Маркмана “На краю географии”, — вы и сами почувствуете привлекательность этой сведенности в кулак, единственно дающей возможность выжить и сохраниться.

Интеллигентные еврейские мальчики, смолоду попавшие в лагерь и не пропавшие там благодаря силе кулака и духа, зачастую на всю жизнь сохраняют черты этого лютого суперменства и кулак, пожалуй, ценят больше. Они уверены, что успех приходит только к сильному, что жестокость или, по крайней мере, жесткость поведения убедительнее всякой другой манеры поведения и всегда готовы к отпору рзньше, чем на них нападут.

Но Марголин не хотел учиться на супермена: “Среди переживаний, которых я никогда не прощу лагерю и мрачным его создателям, — на всю жизнь останется в памяти моей этот удар в лицо, который на одну короткую минуту сделал из меня их сообщника, их последователя и ученика”.

Внутреннее задание у него было другое: “Я относился к лагерю, как наблюдатель со стороны, как литератор, как человек, которому в будущем предстояло написать о нем книгу. Лагерь казался мне редчайшим секретным документом советской действительности, к которому я случайно получил доступ, захватывающим документом и панорамой”.

Такая позиция не кажется сегодня слишком оригинальной. Кто из сидевших не писал о лагере! Нынче этих книг уже целая библиотека, и читатель, особенно если помоложе, уже устает от этих книг. Те, кого судьба и жизненная активность заталкивают за решетку сегодня, похоже, часто испытывают остро возбужденный литературный интерес: “Ужо напишу!” Однако и в этой горькой теме вырабатывается свой шаблон: все те же нравы, характеры, споры, все тот же жаргон. Нынче лагерь уже досконально изучен, освоен литературой во всех родах и видах. Но даже на этом фоне книга Марголина выделяется свежестью — это действительно новооткрытый мир, впервые предстающий европейскому у глазу.

Что-то в марголинских интонациях роднит порою его описания с африканскими дневниками Миклухо-Маклая. С чувством соглядатая, подсмотревшего тайну скрытного племени, описывает путешественник этот не-западный, не-европейский мир, его географию и население, его диковинные порядки и повадки: “Прямо против вахты — банька, ветхая покосившаяся избушка, при ней

прачечная. Здесь улица делает изгиб. Направо стоит хлеборезка и пекарня. По левой стороне вещкаптерка, при ней сапожная и портняжная мастерские. Дальше крошечный "стационар" — больничка на 8—10 кроватей. На пригорке стоит новый чистенький домик. С одной стороны он огорожен колючей проволокой. Там помещаются женщины, которые среди мужского населения должны особо охраняться..." Мы так привыкли жить в непосредственной близости лагерей, что воспринимаем это соседство, как нечто трагическое, но вполне естественное; как некое обстоятельство, которое невозможно не принимать в расчет. Лагерная вышка уже привычная деталь родимого пейзажа, при виде запретки мы испытываем грустную радость узнавания. Нужен изумленный глаз иностранца, его остраненное видение, чтобы и мы увидели не только трагизм и очищающую силу лагерного страдания, но и все омерзительное безобразие нашей родной тюрьмы.

Ограниченность лагерного опыта не помешала Марголину цепко охватить глазом всю многообразную советскую действительность.

Эзка Марголин считал себя ее знатоком только лишь на основании знакомства с другими эзка: "Эти люди принадлежали к пятнадцатимиллионной массе советских эзка, а эта масса, в свою очередь, представляет собой девяносто процентов населения России. Можно было бы в один день освободить все эти миллионы и посадить на их место другие — с тем же правом и основанием". Чтобы составить себе представление об уровне жизни вольной России, ему достаточно было взгляда, брошенного из бредущей этапом лагерной колонны: "Крестьяне выходили на дорогу просить хлеба у арестантов!" И достаточно ему было немногих лагерных встреч, чтобы оценить достижения советского еврейства, "наши достижения" в деле ликвидации устарелых национальных перегородок: "вид русских евреев, заглохших, как бурьян, оторванных от живой связи со своим народом, был вдвойне тягостен нам... Так выглядели дети тех, кто был когда-то авангардом еврейского народа, кто создал сионизм и заложил основы новой Палестины".

В пятьдесят втором году вышла в свет эта книга. Тогда в Москве и Ленинграде гнали с профессорских кафедр "безродных космополитов", считавших себя цветом русской интеллигенции, и пухли следственные дела "убийц в белых халатах".

Не слушали мы тогда иностранного радио, не знали ни самиз-

дата, ни тамиздата, не могли увидеть себя его удивленным взглядом: “ничего не слыхали о Палестине, не знали Библии, не имели понятия о национальной культуре и тех именах, которые дороги каждому еврею, — точно они были с другой планеты. Когда мы им рассказывали о Тель-Авиве и Эмеке, они слушали, как негры из Центральной Африки слушают рассказ белого человека о чудесах Европы — с удивлением, но без особого интереса, как о чем-то, что слишком далеко от них, чтобы быть реальным”.

Но не такой писатель был Юлий Марголин, чтобы обвинить жертв “беспримерного в истории человеческого несчастья”. Спросить с нас могли бы только мы сами. Он же искал ответственность на другой стороне, на той, к которой принадлежал сам: “И я вспомнил первомайские плакаты на улицах Тель-Авива с приветствиями Сталину (то есть начальнику нашего лагпункта) и Красной Армии (то есть нашему комвзводу) — и подумал, что мы, евреи, щедрый народ, если так легко забываем о собственной плоти и крови...”

х х х

Самый главный урок марголинского творчества содержится для нас в его личности, так счастливо просматривающейся из совокупности им написанного. В его личностных качествах и коренится то, что отделяет нас от него, несмотря на желаемую близость. Нам легко ощутить своими его постулаты и принципы, но не легко с его последовательностью построить свою жизнь в соответствии с ними. Суть же дела чрезвычайно проста и заключается в его абсолютной верности двум словам — **с в о б о д а** и **п р а в д а**. Эти два слова содержали в себе все его жизненные, нравственные, художественные и политические установления.

Но разве кто-нибудь из нас мыслит иначе, разве кто-нибудь — кроме откровенных рвачей и мерзавцев — готов согласиться с ложью и насилием? Нет, конечно, нет! Но по привычкам и рефлексам нашей предыдущей жизни, от которых труднее избавиться, чем от заблуждений, уже осознанных как заблуждения, мы всегда готовы покуситься на свободу другого, на его “неверную” правду ради нашей, единственно верной. Все мы знаем, что надо и что не надо печатать, какой сионизм настоящий и правильный, а какой ошибочный и вредный. Мы приносим наши лагерные кандалы или диссидентские заслуги, выкладываем их на круглый стол обсуж-

дения, и эти вещественные доказательства наших доблестей требуем принять как существенные доказательства нашей правоты. Мы всегда норовим кого-то одернуть, с высоты нашего московского, ленинградского или львовского снобизма упрекнуть кого-то в провинциальности: “касриловский мудрец” или там “егупецкое быдло”. Нигде наша безродность, наш разрыв с традицией не обнаруживают себя сильнее, чем в этом предположении, что само по себе слово “Егупец” или “Бердичев” может прозвучать обидно.

Для европейского интеллигента и еврейского писателя Юлия Марголина это было и невозможно, и непонятно. Он родом именно оттуда, из местечка Полесья, из глухой русско-еврейской провинции начала века: “Встает рассвет над страной моего детства, и сердцу зябко, все отходит, все бледнеет перед этим возвращением, перед этой потерянностью заброшенных белорусских просторов, глухих и заглушенных, щемяще-бедных и тихих... Город начала века и начала жизни. Теплый город, которого больше нет, как нет и домика, где я рожден, и людей, из года в год столетиями создававших заколдованный замкнутый мир еврейской жизни, как крепость в тройной ограде — географической дали, исторического отчуждения и культурной изоляции”. И хоть доктор философии Ю. Б. Марголин был противник исторического отчуждения, ненавистник культурной изоляции и борец против местечковых комплексов, вынесенных в государственную израильскую жизнь и политику, а какой ностальгией, какой благодарной памятью овевано для него видение исчезнувшего местечка! Увы, нет больше еврейского Егупеца, Касриловки или Шепетовки, нет населявшего их говорившего на идиш простонародья, которое так легко, в полемическом азарте укоряя противника, обозвать “быдлом”. Нет его — и не отыскать следов, вот разве что в писаниях неугодного нам литератора!

Так выясняется, что и родина у нас с Марголиным не одна, и ностальгия другая, и еврейство наше разное. Наша любовь к еврейству выражает умеренную привязанность к кругу наших московских знакомых. А Марголин обнаруживал следы местечка в шумной жизни Тель-Авива не с безгливостью чужака, а с той радостью, с которой выученный на медные деньги сын смотрит в простое лицо матери: “Тут можно услышать сочный идиш и политические споры на этом языке... А при малярах пристроилась и старая женщина в платке, продающая бублики. В Польше они назывались “бейгелах”, а в Западном крае — “баранки”...



Все вместе — в самом центре израильского Мегалополиса — воскрешает времена Шолом-Алейхема, еврейско-русскую провинцию времен давно минувших. Удивительное и живописное зрелище в самом центре большого города”.

Есть много охотников перебросить мост из энергичного настоящего в легендарное библейское прошлое, сбросив в ров забвения, как нечто постыдное, тот кусок истории, который еврейский народ провел в галуте, в рассеянии. Но для Марголина живой сегодняшней Израиль аккумулировал все еврейское время и не было в нем ни провалов, ни перерывов. Не с нуля начиналась здесь жизнь: каждый новый иммигрант ввозил с собой часть привычного уклада. И в экзотической природе Израиля взгляд писателя без труда обнаруживал устойчивые черты знакомого ему еврейско-русского мира: “Всюду рассыпаны белые домики селений, и если забраться в знойный полдень куда-нибудь в глушь и пойти по деревенской улице вдоль кактусовых изгородей, за которыми безмолвие нарушается лишь отдаленным клохтаньем кур и утробным урчанием невидимого осла в невидимом дворике (подобным деревянному скрипу колеса в белорусской деревне), то становится ясно, что никаким западным и незападным империализмом этого не объяснишь”.

И как Израиль Марголина вмещал в себя все прожитое и пережитое евреями в разных краях земли, так и израильтянин Марголин сохранял и вмещал в себя все прожитое и пережитое им самим. Ничто из любимого им прежде не потребовалось ему отбросить: ни одного идейного пристрастия, ни одной культурной привязанности, ни одного личного сентимента. “По горам, по долам” назвал он свою корреспонденцию, повествующую вовсе не о путешествии по Валдайской возвышенности, а об автобусной экскурсии на север Израиля. То назовет израильского кибуцника — “сожженный солнцем голоногий м у ж и к из Эйн-Геди”, то заметит над озером Кинерет “п л а к у ч и е” эвкалипты — и читатель согласится мгновенно: и впрямь вислые ветки эвкалипта заставляют вспомнить об иве. То вдруг скажет в интонациях едва ли не “Записок охотника”: “Входим в просторный деревенский дом бетонной постройки”, хоть ни дом, ни деревня ничуть не похожи на те, в которых обитали Хорь и Калинич.

Человек абсолютной внутренней свободы, он не желал освобождаться ни от европеизма, ни от привязанности к русской речи, ни от любви к немецкой музыке, ни от осознанной вражды к дема-

гогии любой окраски. Его израильский патриотизм не требовал таких жертв и не принял бы их. Наши дискуссии о том, нужна ли в Израиле литература на русском языке только насмешили бы его.

х х х

Марголин не был писатель-выдумщик. Он держался факта, воспоминания, документа. Его любимое амплуа — не амплуа романиста, хозяина судеб своих героев, но рассказчика, верного хранителя сюжетов, изобретенных самой жизнью. Его книги сопряжены с собственным жизненным опытом. Это верно и для “Книги о детстве”, повести о начальных годах еврейского мальчика из семьи провинциального врача, и для книг, которым сам автор предназначал роль свидетельских показаний — “Сентябрь, 1939” и “Путешествие в страну Ээка”; это верно и для совершенно документальных книг, имеющих специальную внутреннюю установку, четкое политическое задание, — таких, как “Еврейская повесть” и “Изра-

“Еврейская повесть” написана, как можно догадаться, и по внутренней потребности автора рассказать об Израиле Эпштейне, террористе из Эцеля, и по внешнему побуждению, исходившему от партийных товарищей погибшего. Марголин выполнил задание — написал “Еврейскую повесть”. В эпилоге он рассказал, как она была оценена: “Рукопись о Сролике встретила решительный отпор со стороны именно тех лиц, на воспоминаниях и свидетельстве которых она была построена. Она разделила судьбу портретов, которые не удовлетворяют заказчиков и возвращаются ими художнику, обманувшему ожидания. — “Портрет не похож, — сказали мне. — Сролик совсем не был таков”. ...Я не был задет отказом... Но я был живо заинтересован другой версией, которую могли бы дать люди, лично знавшие Израиля Эпштейна... Я ждал годы... но этой версии нет и, как видно, не будет. Сролик покоится в молчании. Он похоронен окончательно. Бледнеют воспоминания, и скоро некому будет поправить меня”.

“Портрет не похож”, — сказали заказчики, герои и идеологи Эцеля. Они были правы. Портрет и в самом деле не был похож. Он не был похож на привычное житие героя, безликое и величественное. И несходство с каноном было принято за отсутствие сходства вообще. Марголин же добивался как раз сходства не с каноном (при котором Хану Сенеш не отличишь от Зои

Космодемьянской, а Шломо Бен-Йосефа — от Александра Матросова), а с правдой, со срединным ходом жизни, выталкивающим из своей толщи массового человека на миг, на час, чтобы просияло и вспыхнуло то, чему обычно нет выхода в потоке жизни, но что накапливается именно в нем.

Книга о Сролике полна иронии по отношению к отработанным обрядам, торжественным похоронам, посмертным почестям и подобающим случаю речам: "Нет сомнения, что эти люди умеют хоронить и привыкли воздавать честь мертвым... Начинаются речи, много официальных и приличных случаю слов... Честь, оказанная погибшему, — это честь, оказанная самой Партии. Они воздают честь самим себе, и почему бы нет? Она положена им. Хоронят одного, чтобы жили все остальные".

Прежде всего заказчиков не устроила ироническая интонация. Они были люди серьезные. Автор "Еврейской повести" не стремился воздвигнуть пышный курган над героем во славу его Партии — он хотел оставить героя живым и восставал против похорон. И вообще у него было странное понятие о героях и героизме. Похоже, что он сознательно снижал ситуации, на которых другому захотелось бы "положительно воспитать" целое поколение. О Шломо Бен-Йосефе, например, написано так: "Наивный и простосердечный бейтари из Луцка... в ряд ли был достаточно взрослым человеком\* в то утро, когда он вышел на дорогу за Рош-Пиной и — на свою ответственность — открыл стрельбу по арабскому автобусу... Во всяком случае он плохо стрелял, никому вреда не причинил\*, и вся эта эскапада\* осталась бы незамеченным эпизодом без всяких последствий, если бы не классическая и образцовая тупость британских властей". А о самом Израиле Эпштейне, о герое книги, герое Эцеля: "Наш Сролик один из самых преданных и верных, плоть от плоти, кость от кости безымянной серой массы"!

Так ли пишут о герое?! В очерке "На кладбище в Цфате" раздумья писателя у геройских могил семи повешенных еврейских террористов могут обескуражить еще больше: "Все, что вы сделали при жизни, было так незначительно: при жизни ваша воинская доблесть и сила не могли сдвинуть с места врага. Это могла сделать только ваша смерть и то, как вы ее приняли: демонстра-

---

\* Разрядка моя. — Н. Р.

ция, жест... Были ли вы великие люди? Мужья науки и совета, дальновидные политики? Нет, право на бессмертие дала вам только ваша смерть, а не жизнь. И если бы вы остались жить, как сотни и тысячи ваших товарищей, из которых каждый мог бы быть на вашем месте, мне было бы скучно встретиться с вами. Нам не о чем было бы говорить... Кто знает, что бы вышло из вас?.. Один, может быть, открыл бы торговлю и по вечерам играл бы в карты; другой попался бы на шоссе с корзиной нелегальных яиц и двумя курицами..." Что за цинизм! Не отрицает ли Юлий Марголин смысл героического действия как такового? Не возмутительно ли прийти к гробам, чтоб обратиться к мертвым с такой непочтительной речью?

Но для Марголина возмутительно спекуляция на подвиге в политических интересах, он против стрижки купонов со страниц героических воспоминаний, он против пышных похорон прошлого, когда за помпой исчезает правда. Только правда помогает оставить прошлое живым. Не мумию, не мавзолей, не саркофаг — живого мальчика предлагает нам любить Марголин. "Вызванный на экзамен истории, Шлойме Табачник (Шломо Бен-Йосеф. — Н. Р.), один из массы, родной брат нашего Сролика, перестал быть смешным... Эта первая виселица, на которую луцкий парень пошел с великолепным презрением к смерти и полной уверенностью, что правда на его стороне, покончила все сомнения и убедила многих, кто еще топтался на месте".

Юлий Марголин открыл нечто новое, по сравнению с привычным пониманием героя. Не над толпой, не вне толпы — внутри нее нашел он героя. Герой и есть человек толпы, не философ, не мыслитель. Он лучшее, что может выдвинуть из себя народ, масса в критическую минуту, когда речь идет о жизни и смерти. И если героическое деяние не закрепит его поднятым виселицей над толпой навеки, он вернется в толпу, растворится в ней, с двумя курицами или колодой карт в руке.

"Маленькие люди делают большую историю, и в свою очередь история родит маленькое продолжение, серые будни, разочарование...". Здесь предостережение всем недавним героям, требующим за их ратные подвиги и за муки их товарищей вечного воздаяния в виде права на руководство жизнью: "Ибо душа моя устала от спасателей мира и благодетелей народа, от сочинителей программ и основателей новых партий. Что случилось с "национальным движением" в Израиле? — Партийные политики пыта-

ются существовать за счет вашей смерти и без конца возвращаются к вашим могилам, чтобы на них построить свое настоящее”.

Не Марголин — циник и осквернитель праха! Оскверняет прах тот, кто делает из пепла расхожую политическую монету: “Морального первенства никому нельзя ни завещать, ни передать в наследство... И нас не спасает ваша смерть — Грунер, Кашани, и Дрезнер, Алькоши, Вайс, и Накар, и Хавив! С нами случилось несчастье, со всеми нами случилась беда: мы потеряли моральное первенство, мы потеряли в а ш е моральное первенство... Не стало в нашем народе людей, которых прельщает бороться за моральное первенство, за чистоту, за близость к правде. Мы стали теперь все одинаковые, во всех партиях, под всеми названиями — те же серенькие, запыленные и бессильные люди, которым не нужна ни ваша корона, ни ваша виселица...”

х х х

“Книга о жизни (Восемь глав о детстве)” была напечатана в “Новом журнале” в 1965—1966 годах. Ева Ефимовна Марголина вспоминала, что редактор журнала ужаснулся: “Как можно так о своем отце!”

Отец в повести действительно выглядит неприглядно: “Я очень рано начал стыдиться за отца и из-за отца. Причиной тому были его скандалы... Впервые из уст отца я услышал матерщину и грязные ругательства по адресу моей матери... “Деньги, деньги, деньги”, — этот припев сопровождал его всю жизнь... Он не читал книг и рано прекратил выписывать газету... В моих глазах он стал в те отроческие годы... воплощением всего отрицательного, от чего надо уйти... Я презирал обывателя, филистера, умственное и нравственное ничтожество человека, оскорблявшего меня всем строем своей жизни... И каким было для меня потрясением, когда я узнал, что отец, недавно назначенный во врачебную комиссию по приему новобранцев, берет взятки за освобождение... Он был болен. Ухо, нос и глаза мучили его беспрерывно... Но жалобы его и стоны... вызывали во мне только досаду и враждебность. ... Я был жесток к нему и не понимал, кому и зачем нужна такая жизнь”.

Среди классических книг о детстве немало и горьких, где выросший ребенок рассчитывается за старые обиды и одиночество. (“Рыжик” Жюль Ренара — в этом ряду). Такую книгу окраши-

вает сознание ранней отторженности, выключения из мира родительского дома, отпадения от семейных ветвей. Будь “Главы о детстве” Юлия Марголина такой книгой, вряд ли это смутило бы редактора. Но повесть Марголина совсем не такова. Ее цель не обличение, не расчет с прошлым, а удержание, закрепление прошлого. Это самая большая художественная удача Марголина. Общий тон книги — лирический, и в ходе повествования, следующего за ходом жизни, недоброжелательство к родителям преодолевается не прощением и не раскаянием, но умудренным пониманием. Черты враждебной неприязненности, осуждения, погасшего, но не забытого и не отмененного, могли озадачить и показаться нарушением заповеди сыновней почтительности именно из-за общей элегической, ностальгической окраски повествования. В сатирической прозе они не показались бы неуместными.

Нигде внутренняя цель марголинского писательства не обнаруживает себя так ясно, как в этой книге. Нигде так полно не выявлен сам его принцип. Главные, ключевые слова появляются уже на первой странице, в первом абзаце, в первой строке: “Мой отец был слишком прост, чтобы лгать. Поэтому он и не хотел, не мог писать о своей жизни, как я ни просил его. Этот рассказ был бы ужасен. Он не умел лгать, не умел сказать правду. Такие — самые несчастные люди”.

Выясняется, что существуют два умения писать: “лгать”, т. е. украшать себя и действительность, и “сказать правду”. Между неприятием одного способа и владением другим помещается много промежуточных возможностей. Марголин трезво оценивал свое дарование беллетриста и знал, что бóльшее придает значение и силу написанному им. Умение сказать правду — редкий дар. Но как раз им он обладал вполне.

Он обращается к детству, чтобы удержать на бумаге бледные, убегающие в забвение тени. Приукрасить отца значит закрепить, задержать не — е г о, обличить и только — открыть лишь ту часть истины, которая ясна подростку, а не ту, к которой приблизился зрелый писатель. Прошлое озарено в этой прозе светом сегодняшнего знания. Неопытность детства сплавлена с опытом зрелой мысли. Почти нет действия, диалога, развивающегося сюжета. И так много того, что особенно любят пропускать неопытные или неразвитые читатели, — рассуждения, прямой медитации. Это и есть самое живое в повести, самая душа ее, максимальное при-

ближение к истине: “То, чего отец не открыл в себе, запечатано навеки... И обращая рефлектор памяти к истокам далекого детства, я, в котором еще тлеет отцовская жизнь, как фитилек в глухой ночи, — я, разумеется, не могу много сделать для него. Мне кажется, он кладет руку на эту страницу, руку со вздувшимися жилами и рыжими крапинками, и смотрит на меня с укором и страхом. Как он стар, Боже мой! Как страшно причинить ему посмертную боль! Но мы связаны словом и мыслью, и еще больше — кровной, телесной связью”.

Первая страница повести озадачивает резкостью тона, прямо-той осуждения, но дальше мало-помалу из смеси горечи, сожаления и любви выплывает печальный и чистый звук — тон примирения памяти с пониманием. Мать и сестра, город Пинск, дом и двор раннего детства, первые странствия, первые книги — все, что достает писатель со дна своей памяти, все омыто этим ясным звуком. И отчетливее всего запоминается именно отец, самодур, скандалист и взяточник. Но — странное дело! — осуждение ушло, а осталось впечатление поминальной элегии в память о чьей-то миновавшей жизни.

К истине нас ведут через лирику. Далеко сносит автора течением времени. Движением памяти он добирается до истоков собственной жизни, движением мысли — до истоков родовых, народных. Все начала он стремится найти в себе, и тут весь секрет подлинности — понять другого это и значит отыскать его в себе, себя узнать в нем: “Время сглаживает и выравнивает различия, и теперь мне ясно, что все люди одинаково заслуживают жалости, и я ничем не лучше своего отца перед судом совести и перед вечностью... Его взрослая мучительная, полная боли и разочарований, жизнь стала проплывать через мою и повторяться в ней так, что я стал узнавать его в себе, со смирением и смятением. ... И даже в эту минуту, когда я опускаю глаза и подпираю рукой лоб, — кто знает, не повторяю ли я жест одного из моих прадедов так точно, что он узнал бы себя во мне, как в зеркале, — и как эхо звучат во мне тысячелетия прожитых надежд, страстей, волнений, чтобы ожить на миг и уйти туда, где прошлое слито с будущим”.

Старый доктор Марголин на миг появляется еще раз в книге “Сентябрь, 1939”, где исторический сюжет дан уже в заголовке и исчерпан датой. Это сюжет национальной трагедии: “Трагизм положения польских евреев выражался в том, что одни были “безмерно счастливы”, спасаясь от немцев у большевиков, а

другие так же “безмерно счастливы”, спасаясь от большевиков у немцев”. Это книга о бегстве, о витке судьбы, возвращающем в город детства, в город “Книги о жизни”.

Рассказ документальный, не лирическое воспоминание, а публицистическое. Уже произошло все то, что произошло: “Кто-то зажал нам рот и говорил от нашего имени. Кто-то вошел в наш дом и стал в нем хозяйничать без нашего согласия”. И уже герою-автору нагадал провидец-следователь “дальнюю дорогу” и на долгие годы “казенный дом”. Ведущая интонация — гнев, отвращение, гадливость. И вдруг начинает звучать другая музыка, знакомая мелодия, тема отца: “Но самое большое впечатление произвел мой арест на старого доктора Марголина... После моего исчезновения он впал в глубокую задумчивость. Дня три подождал — и в одно прекрасное утро тихонько оделся и, не говоря ни слова, вышел на улицу. Место моего заключения было недалеко от нашего дома. Соседи из окон видели, как тихо брел по тротуару, опираясь на палку, маленький белый старичок. “Куда это пошел старый доктор Марголин?” Он подошел к массивным запертым воротам во двор НКВД. Это он выбрался поговорить с начальником НКВД и объяснить ему, что я человек хороший и меня не надо держать в тюрьме. На фоне больших железных ворот он был совсем маленький. Из окон домишек смотрели десятки глаз на странное поведение доктора Марголина: старичок поднял палку и постучал в ворота. Никто не услышал этого стука. Он подождал и постучал еще. Долго стоял он, понурив голову, и ждал... слушал. И наконец тихонько вздохнул и пошел обратно. И дома никому не сказал, куда и зачем ходил”.

Так добыта Марголиным правда о человеке, который “не умел лгать и не умел сказать правду”. В публицистической книге о том, как в Полесье пришла советская власть, как она вторично наступила для европейского писателя Юлия Марголина, упоминание о старом докторе не выглядит неуместно. Правда о человеке добывается тем же способом, каким добывается правда о “Стране Зэка”. Она добывается изнутри, из доверия к своему опыту, знаниям, моральной позиции “человека Запада, непроданного и свободного”.

В лагере Марголин сочинил небольшую работу “Теория лжи”. Место лжи в жизни, искусстве, политике занимало его чрезвычайно. Он отвергал даже “ложь во спасение” — просто не верил, что ложь может спасти. Он был убежден, что следовать правде —



для человека, правительства или народа — есть путь не жертвенный, ведущий к красивой героической смерти, а единственный разумный, единственный уводящий от гибели путь. Вот плебисцит — о присоединении Западной Украины и Белоруссии к Советскому Союзу. Известный образчик советского голосования! И какая разница — голосовать или нет. И уже дважды приходил милиционер — “почему не голосует?” — и обещал прийти в третий раз. Но у этого “русского еврея” иная, чем у нас, мера ответственности: “Я объяснил, что нахожусь во Львове проездом, проживаю за границей и не считаю себя в праве решать вопрос о государственной принадлежности Западной Украины... я показал удостоверение личности, выданное мне полицией города Тель-Авива в апреле того же года... Английский текст произвел впечатление на командира... “Вычеркните англичанина”... — и я ушел с победой. Прочие, невычеркнутые, проголосовали как полагается — и советская власть по всей законной демократической форме вошла во владение Западной Украиной и Белоруссией”. Нормально развитое нравственное сознание опережает на тридцатилетие самую сильную моральную проповедь нашего времени. “Не живите ложью!” И оказывается, что это не подвиг, а форма бытового поведения. Так выясняется степень нашего одичания, нашего калечества.

По Марголину есть возмездие за аморализм как человеческого поведения, так и государственной политики. И, как истый еврей, он полагает, что оно настигает нас еще здесь, на земле. Все сочувствие к гибнущей Польше не отменяет ясного видения: “За двадцать лет своей независимости Польша Легионов совершила три преступления, за которые теперь наступила расплата”. И вот перечень грехов: политика по отношению к национальным меньшинствам, политический цинизм во внутренних отношениях и нежелание служить обороне европейской демократии, помощь Германии в разделе Чехословакии в 1938 году. По мысли Марголина, история карает циническое стремление к выгоде, а реальная выгода и успех приходят как результат верности моральным принципам. Нравственная политика не жертвенна, а единственно прагматична. Гибель пинских евреев, зажатых между Сталиным и Гитлером, заставляет писателя искать задним числом для них возможность спасения. Ему кажется, что такая возможность была, хоть она и превышала их моральные и умственные силы. Это была возможность гражданского неповиновения чужой и чуждой советской власти.

“Учителям гимназии “Тарбут” не следовало принимать угодливого решения об отказе от национального языка и национального воспитания... То, что они сделали было обыкновенной подлостью и изменой... Тысячи евреев, которые не хотели советского гражданства, не должны были принимать участия в выборах в Верховный Совет и получать навязанные им советские паспорта. Вместо этого надо было сказать вслух то, что все они тогда думали: “Нам не нужно ваше гражданство, и мы просим записать нас на выезд в Палестину”. (...) “Кампания гражданского неповиновения имела бы фатальные следствия для пинских евреев. Советская власть не шутит в таких случаях. Но в конце концов она бы вывезла всех евреев, с их женами и детьми, с их молитвенниками и бебехами, по сто кило на человека, вон из пограничной полосы. И они были бы не первым и не единственным народом, с которым это случилось в Советском Союзе. В Центральной Азии или Якутской области пришлось бы им круто и тяжело. Многие из них погибли бы. Но, в общем и целом, эти люди не только пережили бы войну, но своим сопротивлением создали бы решающий аргумент в пользу национальной культуры и национального движения. Мудрая сталинская политика учла бы, что иврит и сионизм имеют некоторые корни в еврейском народе”.

Боюсь, что нашему поколению уже не вернуться к такому стойкому доверию к историческому разуму. Сильно удалились мы от Юлия Марголина, русского интеллигента старой формации. Мы пришли из страны Ээка после длинного опыта расчеловечивания. Нравственный компас наш сильно испорчен, и мы ищем ориентиры вовне. Пленники идеологии, мы одной идейкой подменяем совокупность нравственного знания о мире. Служба идее, верность добровольно принятой догме — таков максимум наших моральных возможностей.

х х х

Еще много раз мы остановимся перед тем, что сказано Юлием Марголиным: как своевременно было бы повторить ту или иную его мысль сейчас, и как он похож на нас и до чего же все-таки не похож! Тот, кто поспешит восхититься его гармонической личностью — Ах, как многое естественно и просто совмещалось в нем без борьбы! — рискует расшибиться при чтении об острые

углы противоречий. Марголин утверждает исключаящие друг друга вещи, спорит с тем, что сказал вчера и оставляет читателя в полной растерянности. В самом деле, любит он Польшу или ненавидит? сочувствует сегодняшней России или шлет ей проклятья? осуждает замкнутость местечкового мира или ностальгически любит ее? и кто он, апологет Израиля или его жестокий критик? сторонник движения Херут или его постоянный оппонент? И наткнувшись на очередной острый угол, читатель с обидой почувствует, что обескураживающее его противоречие для Марголина как бы вовсе не существует: сам автор уверен, что выражает одну мысль, занимает всегда ту же позицию. Такая авторская уверенность обязывает нас найти стержень, центральную идею, которая одна удерживает в равновесии все здание. Но есть ли у Марголина эта главная линия?

Марголин писатель с острым политическим интересом. Его публицистика прикреплена к новостям последнего часа. Сами новости уже прочно забыты. Кто вспомнит теперь о выступлении Ричарда Кроссмэна, члена англо-американской комиссии по делам Палестины в 1946 году? Стерлось в памяти даже самых давних израильских жителей происшествие с пароходом "Инге Тофт". И после распада правительственной коалиции 1957 года сколько еще распалось разных коалиций!

Некоторый свет на то, почему старая марголинская публицистика и сегодня читается, как свежая газета, проливает заголовки его очерков: "Дело становится серьезным", "О путях политики", "Чем это кончится?", "Что можно сделать для русского еврейства?", "Интерес" против "идеологии". Поводы устарели, но не устарела, более того — еще не скоро устареет та ведущая мысль, на которую опирается вся марголинская политическая журналистика. Мысль, которая его занимала и которую он хотел донести до своих читателей, чрезвычайно проста и звучит просто банально: "Всякая политика должна быть нравственна". Суть различия между Марголиным и присяжными моралистами на политические темы коренится в том, что требования политической нравственности он предъявлял себе, своей стране, своему народу, своей партии, а не партнеру, конкуренту или противнику, как это обычно принято делать.

Мы принесли с собой привычку непременно привалиться к какому-нибудь идеологическому столбу — так нам удобнее стоять. Вчерашний деятель "Общества по распространению политических

и научных знаний” надевает кипу — ныне он занимается у нас религиозной пропагандой и чувствует себя совершенно на месте: вернулся к любимому занятию, поступил на идеологическую службу. Всю жизнь он “колебался вместе с линией партии” и теперь будет колебаться с другой. Это крайний пример. Но в большей или меньшей степени мы все люди и деологи, а не мировоззрения. Одна идея — сионистская, демократическая или религиозная — поглощает нас целиком. Она требует жертв, стирания полутонов, строгой однотонной расцветки. Таким путем мы надеемся достичь цельности.

Но марголинская цельность иная. У него есть собственная линия правды, свободы и веры в нравственные силы истории. Когда “линия партии” расходится с внутренней линией, он немедленно фиксирует это отличие. Он не знает идеологической повинности. Сионистские пошлости нравятся ему не больше, чем коммунистические.

“Для значительной части еврейских националистов нет и не нужно другого основания права на страну Израиль, кроме того, которое троекратно указано в Библии... Не приходится сомневаться: авторитет Библии в еврейском народе гораздо выше, чем авторитет резолюции Объединенных Наций...” Народное чувство и опора на историю поддержаны автором, но только до тех пор, пока они не становятся предметом спекуляции, оформляясь в звонкую, трескучую фразу. И он упрекает партию Херут, самую близкую ему политическую партию, за то, что она “стала открыто правой партией, где Танах низведен до роли партийно-политического документа, доказывающего право Израиля на все, что обещано ему Богом”.

“Пойдем вперед и пойдем на запад”, — такова была бы внешнеполитическая программа Марголина и таково было его пожелание израильской молодежи. Ненавистней антисемитизма был ему израильский изоляционизм, дважды очерченный эгоистический круг, где интересы Израиля отрывались от национальных интересов еврейства в мире (и следствием оказывалось равнодушие к судьбе евреев России), а вторая окружность меловой чертой отделяла государственные интересы Израиля от судеб западной демократии. Вместо обязательств по отношению к свободному миру возникало эгоистическое желание “успеха для себя”. Но Марголин был уверен, что эгоистическая политика не расчетлива. Успех “для себя” требует выполнения нравственных обязательств

перед “другими”. Он возвращал своих читателей к “западным” понятиям честного партнерства и честной политики, внутренних связей и искреннего интереса к делам мира: “Стать на сторону демократии — ведь это внутреннее обязательство! Ведь это мобилизация на фронт мировой истории... Спросите у людей, которые у нас делают политику, уважают ли они западную политику, демократию, культуру Запада, свободу Запада? Они ответят — нет! Ненавидят ли они Запад? — тоже нет!.. И есть фраза, которой в этом случае прикрывают равнодушные: “Для нас существуют только интересы нашей родины”.

Он не прощал тогдашним правящим кругам заискивания и заигрывания с Советским Союзом, того, что им “национальная честь” не мешала приветствовать Сталина, ... равнодушно протягивать руку погромщикам сионизма и убийцам еврейских писателей, ... и отлично себя чувствовать на фестивалях и съездах, организуемых Москвой”.

Ну, уж в этом-то мы с ним едины — в чувстве омерзения и ненависти по отношению к советскому строю! Да полно, так ли это? Конечно, мы все протестуем и возмущаемся — в принципе; но каждый из нас отдельно имеет свой резон, а иногда и сердечный, трудно опровержимый довод желать перемигнуться со старой родиной. Вы только продайте нам билет на Олимпиаду, и мы поддержим ее помпезный показушный успех своим участием! И пока в Москве и Калуге судят Гинзбурга да Щаранского, два десятка израильских ученых (все — бывшие советские граждане) оформляют документы на участие в конгрессе генетиков в Москве и готовы показать (если Москва не откажет им во въездной визе), что зла на родное советское правительство за такие мелочи не держат. При случае они даже сумеют вам объяснить, как впечатляюще и полезно для дела будущей русской алии их появление среди советских участников конгресса. Будьте уверены: они будут вести себя тихо-тихо, ничем не омрачат московский научный праздник, они вспомнят давние привычки разговаривать под открытый кран в ванной комнате и оглядываться, в последнюю секунду впрыгивая в поезд метро, — и никакой пепел не станет стучать к ним в сердце! В отличие от Марголина, нам не ново отделять идейный принцип от житейского поведения.

В собрание национальных пошлостей включал Марголин и неприязненное отношение к христианским ценностям, понятное ему в истоках, но неприятное и непринятое им. Знал и помнил

он, что не только Ветхим, но и Новым Заветом подарила человечество эта земля, и, поднимаясь по серпантину на гору Табор, вспоминал он Барака, сына Авинаомова, пророчицы Дебору с суковатым посохом в руке, и как “всходили ученики за Иисусом в развевающихся одеждах, отдыхая в дороге на горной каменной тропинке”.

У него были большие требования к своему народу; он не прощал ему греха надменности и нетерпимости. Для него, например, не было вопроса (актуального и двадцать лет назад), кого считать евреем. Он утверждал, что “в Израиле впервые становится возможным то, что невозможно было нигде в мире: можно остаться евреем по национальности, приняв христианство”. Тогда эта точка зрения была так же непопулярна, как и сейчас. Но он еще и настаивал: “Евангелист-еврей в Петах-Тикве, всю жизнь отдавший родной земле, во всяком случае не худший еврей, чем ханжа в Бруклине, оплевывающий “безбожный” Израиль”.

Нравственное чувство делало его противником всякой демагогии, он распознавал ее мгновенно и точно, на какие бы глубокие национальные обиды и раны она ни опиралась: “Людей, по всякому поводу склоняющих “шесть миллионов убиенных немцами”, мы в излишней деликатности не обвиняем... Германофобия принимает подчас в Израиле отталкивающие, постыдные формы... По сей день единственными в мире сторонниками подлейшей нацистской теории, отождествлявшей Гитлера с Германией и видевшей в гитлеризме откровение немецкой души, — оказываются в массе евреи, не оправившиеся от шока того времени. Можно ли винить их? Но понять — не значит принять и оправдывать”...

Юлий Марголин был человек Культуры, просветитель по сути своего творчества, сторонник немодной точки зрения, что порядочность — лучший способ успешно вести дела и что честность окупается даже в политике. Просветитель нуждается в аудитории. Марголину с аудиторией не повезло. Он был еврейский сионистский писатель, резкий критик и ненавистник того, что казалось ему национальным пороком. На иврите он был бы услышан — хотя, возможно, и оспорен или даже освистан — но он говорил по-русски. Как писатель русского зарубежья, он неизменно встречал благожелательный прием, но там его еврейские, израильские интересы оставались незамеченными.

Аудитория опаздывала. Марголин, среди немногих в Израиле,

предчувствовал ее приход. Он высказал крайне непопулярный тогда тезис: "Я говорю вам, что каждый сионизм, который не приводит с внутренней последовательностью к антикоммунизму, несерьезен, нездоров, ненастоящий... Мединат Исраэль нельзя построить без миллионов русских евреев. Кто угрожает им — угрожает и нам". Слово "антикоммунизм" в политической лексике 1957 года еще звучало, как некая непристойность в интеллигентном западном обществе. В израильском — и подавно. В Тель-Авиве на выступлении Марголина, реакционера и антисоветчика, не собралось и десяти человек.

Марголин умер в январе 1971 года, при самом начале "большой алии". Аудитория собралась. Но автора нет в живых. Не он опоздал. Нам самое время его послушать. Но мы опоздали к нему. Без нас он был одинок? — Он был бы одинок и с нами. Моралист, если он не Тартюф, всегда одинок, всегда он старомоден и отстал от времени, у которого более гибкие взгляды. А Марголин настоящий моралист. И в писаниях своих он старомоден подчеркнуто: добивается простой отчетливой фразы, прозрачной ясности мысли, чурается игры парадоксов, не знает стилистических соблазнов новой литературы. Исключительный случай — в нем двадцатый век уживается с девятнадцатым. И перед нами редкая судьба — писатель без родства и соседства. Не великий писатель, не открыватель новых философских путей, не властитель дум... Человек, воспринимавший слово как исполнение долга, в нем, быть может, в последний раз торжествует нравственная норма, привычка к постоянной ответственности. В лице Марголина старая традиция деятельного европейского либерализма прощается с нами. Состоится ли передача наследства? В одной недавней статье о нем было сказано: "Краса и гордость современного человечества". Что стоит за пышной титулатурой, которую тяжело и нелегко было бы носить Марголину? Может быть, неосознанное понимание того, как мало мы годимся в наследники, как сильно мы отбежали назад, как далеко нам до марголинекой н о р м ы? Попытка возвращения к этой норме означала бы, что марголинские письма наконец нашли адресата.

---

**Н. Рубинштейн** — род. в Ленинграде, окончила историко-филологический факультет института им. Герцена, работала в средней школе, высших учебных заведениях и во всесоюзном музее А. С. Пушкина; в Израиле — с 1974 г., живет в Тель-Авиве. Автор литературоведческих и критических статей, опубликованных в журналах "Грани", "Синтаксис", "Время и мы" и др.

ГАЛИНА КЕЛЛЕРМАН

### СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ИЗРАИЛЬСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ИСКУССТВО?

В прохладных залах Государственного Люксембургского музея звучала тихая музыка Вивальди. Со стен смотрели Гоген, Ван-Гог, Утрилло, Сезанн, которые постепенно сменялись Кандинским, Миро, Клее, Поллоком.

Работы были мне незнакомы, хотя в манере знаменитых мастеров трудно было усомниться издали. Издали, потому что я быстро прошла по залам, чтобы получить общее первое представление, а потом принялась за медленный и тщательный осмотр.

Здесь и ждал меня сюрприз. Никаких работ знаменитых художников в Люксембургском музее не было. Все подписи под картинами были неизвестны. Это были имена местных люксембургских художников, верно и технически совершенно копировавших все основные направления мирового искусства.

Я вспомнила об этом в просторных залах Тель-Авивского музея на ретроспективной выставке израильского искусства "30 плюс 30", охватывающей тридцатилетний период до образования Государства и последние тридцать лет.

С несколькими первыми волнами иммиграции в Эрец Исраэль прибыли художники, воспитанные в восточноевропейской еврейской культурной среде, получившие образование в различных европейских школах. Третьей составляющей их мировосприятия стала сама Палестина, со столь отличными от Европы светом, воздухом, пейзажем.

Довоенные еврейские художники Эрец Исраэль следовали различным парижским школам. Особенно сильно было влияние Сезанна, Сутина, фовистов. Влияние немецкого экспрессионизма принесли репатрианты из Германии, а потом и из Австрии.

Среди художников довоенного периода выделяют Иосифа Зарицко-го, Анну Тихо, Реувена Рубина и других мастеров. Большинство этих художников пейзажисты. Их обращение к пейзажу было не случайно. Пейзаж давал им легкую возможность стать "палестинцами". Еврейская тематика привлекала их меньше — многие отталкивались от нее, как от галутного прошлого.

После образования государства художественная жизнь страны быстро изменилась, и эти перемены наглядно видны во втором зале, где выставлены произведения последних тридцати лет.

Хотя школа "Бецалель" существует в Иерусалиме с 1906 года, изобразительное искусство поначалу не играло значительной роли в жизни ишу-



ва. Скачок произошел за последние тридцать лет. В 1948 году в Израиле была всего одна галерея — “Кац” в Тель-Авиве, а сейчас в стране 168 коммерческих галерей и 60 музеев.

Однако дело не только в количестве. Скачок израильского искусства выразился прежде всего в том, что оно принялось спешно догонять Запад. Сформировавшаяся в 1949 году группа “Новые горизонты” (Зарицкий, Авигдор Штеймацкий, Иехизкиль Штрейхман, Цви Майрович и другие) следовала новым парижским веяниям и быстро обратилась к абстракционизму. Появились и свои сюрреалисты — Шмуэль Бак и Йосл Бергнер. Бак оказался под сильным влиянием Магритта, и, хотя он сейчас едва ли не самый “дорогой” из ныне здравствующих израильских художников, его работы в значительной мере талантливое подражание. Бергнер гораздо самостоятельнее, но и он остается в рамках этого западного художественного течения.

“Новые горизонты” доминировали в израильской художественной жизни вплоть до середины 60-х годов. Новейшие влияния — поп-арт и оп-арт — долгое время не находили отклика среди израильтян. Взрыв израильского авангардизма произошел после образования группы “Десять плюс” под руководством Рафи Лави. С этого момента молодое поколение израильских художников начинает усиленно подражать всем возможным направлениям западного авангардизма, следуя в этом — увы! — “люксембургской” модели. Эту тенденцию стала безоговорочно поддерживать и израильская художественная критика. За короткое время авангардисты оказались господствующим художественным направлением в стране. К ним примкнули многие талантливые художники йеменского, иракского и марокканского происхождения, прибывшие в страну детьми и выросшие уже в Израиле. Все остальные художественные направления стали рассматриваться — и ныне рассматриваются — израильской критикой с явным пренебрежением.

Устроители выставки “30 плюс 30”, несомненно, выражают эту господствующую в Израиле установку на авангардизм, хотя многие его направления (например, концептуальные работы) и не нашли на ней отражения. Не представлены, впрочем, также фотографии монументальной скульптуры, работы на ландшафтах, экспериментальное кино.

Можно ли говорить сегодня о существовании оригинальной израильской художественной школы? Вряд ли. В стране есть много талантливых художников, но они вынуждены втискивать себя в рамки современного художественного авангарда, который относится к национальному своеобразию, как к некоему свидетельству художественного провинциализма. Число независимых творцов — таких, как примитивисты Шалом Москович (не представленный на выставке) или тонкий романтик Иван Швельбел — не велико.

Но как это ни парадоксально, зачастую именно авангардистское искусство позволяет художнику обрести собственное лицо. И это относится прежде всего к концептуальным работам. Это направление авангардизма в наибольшей степени дает художнику возможность выразить свою связь со страной и ее проблемами. Примером тому являются хэппенинги одной из ведущих израильских эксперименталисток Йохевед Вайнфельд, на кото-

рых она, используя в качестве изобразительного средства собственное тело, доказывала нелепость иудаистских религиозных запретов, связанных с женской ритуальной чистотой. Значительной концептуалистской работой был "Иерусалимский речной проект" Иосуа Нойштайна, Жерара Маркса и Жоржета Баттл, расставивших в пустынных горных окрестностях Иерусалима магнитофоны и громкоговорители, имитировавшие звук стремительно бегущей речной воды. Подобные работы обращены непосредственно к израильскому зрителю и осуществление их возможно только в Израиле.

Однако и не-авангардистское искусство не утратило своего художественного потенциала. Но все же пока что еврейская традиционная тематика все более уходит в декоративное искусство, привлекая таких незаурядных мастеров, как Моше Кастель, чьи работы украшают президентский дворец.

На выставке совершенно не были представлены работы художников, приехавших в последние годы из Советского Союза. Они рассматриваются как принадлежащие к отсталому направлению, которое может считаться авангардом только в России из-за ее изолированности. С такой оценкой нельзя согласиться. "Высокомерие" израильской художественной критики, задающей тон в этих оценках, в значительной степени само пахнет провинциализмом. Не случайно она оказалась едва ли не главной причиной "люксембургизации" израильского искусства. Только постепенный спад исключительного интереса к одному лишь авангарду может создать условия, в которых художники из России сыграют большую роль в художественной жизни страны.

---

## НОВИНКА

### "СИНТАКСИС"

Публицистика. Критика. Полемика.

Выпуск № 1

В Париже начал выходить ежеквартальный журнал "Синтаксис", названный так в честь и память первого русского самиздатского журнала. Смысл этого имени, "Синтаксис", — связь (связь слов в предложении), т. е. преодоление разрыва в истории вольного русского слова.

Жанровая форма и направление журнала отпределяются его подзаголовком: Публицистика. Критика. Полемика.

В журнале принимают участие авторы разных убеждений, предполагающие единство на основе терпимости и широты взглядов: Лев Копелев, А. Дравич, Н. Рубинштейн, Андрей Амальрик, М. Каганская, Ю. Калмыков, Жорж Нива, Александр Янов и др.

"Синтаксис" редактируют — М. Розанова и А. Снявский.

Цена номера — 15 франков

Подписка на 4 номера — 50 франков

Адрес редакции: 8, rue Boris Vilde 92260 Fontenay aux Roses, France

ТРАГИЧЕСКАЯ БЕСТАКТНОСТЬ

Случалось ли вам краснеть за другого человека? Когда, например, милый, честный, наивный человек отколет номер, который ставит под удар его доброе имя, или появится в компании недостойных людей, не понимая своего положения, или ведет себя как мальчишка в кругу людей, которые уже давно все поняли.

Такое чувство возникает при чтении книжки Михаила Хейфеца "Место и время", опубликованной недавно во Франции издательством "Третья волна".

Автор назвал свою книгу "Еврейские заметки", и, кроме их общечеловеческого содержания, в них есть специфический еврейский элемент, который может привлечь внимание, даже взволновать читателя с еврейскими интересами. Дело в том, что М. Хейфец последовал призыву А. Солженицына ко всем народам покаяться и искренне пытается это сделать за весь еврейский народ. Еврею вообще и еврейскому народу в целом всегда есть, конечно, в чем каяться. Много мы грешили против Господа! И каждый из нас много грешил против других людей. Есть в чем каяться! Но есть ли перед кем?

Суть бестактности всегда не в содержании действия, а в его несоответствии обстановке. М. Хейфец выбрал прекрасный адрес. Он покался перед Дмитро Квецко, "прекрасным, убежденным украинским патриотом". И этот выдающийся патриот отпустил ему грехи: "Ничего, Миша, — ответил мне Дмитро, — за тридцать последних лет, что вы боретесь с дьяволом, вы искупили свои грехи". Оказывается, решен уже этот старый, многовековой спор между украинцами и евреями! Убежденный украинский патриот уже простил нам грехи, совершенные против его народа, за нашу самоотверженную борьбу в течение последнего десятилетия. С кем там, бишь, борьбу? Чтой-то я не вспомню нашей тридцатилетней совместной еврейской борьбы. Грешен, увы. Грешен — именно тем, что, по-моему, ни в какой совместной еврейской борьбе русские евреи уже шестьдесят лет не участвуют.

Хейфец кается не за себя, конечно, а за грехи отцов. Но спросил ли он прежде у Квецко, что делали его отцы с отцами Хейфеца? Да. Какое-то сомнение все же у него возникло. И он его высказал своему другу. Убежденный патриот Украины ответил ему: "Ты прав, но ты прав от ума, а у нас душа окровавлена..." Не могу не восхититься этим пронизательным патриотом, который правильно заметил, что сочувствие Хейфеца своим единокровным идет от ума, и почти правильно отметил, что у него самого, вот, душа окровавлена. Она окровавлена не только кровью ран, нанесенных украинскому народу жидами, но прежде всего еврейской кровью, которую обильно пролили украинцы во время гражданской войны (предвидя, по-видимому, будущее участие евреев в ЧК) и во время второй мировой войны, когда сотни тысяч евреев были убиты украинцами, не дожив до встречи с немцами и нашей тридцатилетней "борьбы с дьяволом", которая могла бы их реабилитировать.

---

М. Хейфец. Место и время. "Третья волна". Франция. 1978.

Примерно такие же разговоры ведет наш автор с литовскими националистами, которые тоже, как на лоббор, оказываются необыкновенно честными людьми, испытавшими необыкновенные гонения. Автор описывает эти гонения с ужасом, который наводит на мысль, что аналогичные, но более массовые гонения на евреев, наверно, были морально оправданы, раз они не вызывают у такого чувствительного автора такого чувства. При общении с литовцем автор позволяет себе также теоретическое обобщение, которое вызывает оптимизм: "Антисемитизм был неодолим, когда капланы разных степеней стояли у власти и трубили на весь мир, что "антисемитизм в СССР искоренен навсегда". Антисемитизм стал исчезать как раз тогда, когда евреев стали дискриминировать, и вопли о советском антисемитизме разнеслись по всему миру". Не будем говорить о времени, "когда капланы стояли у власти", но утверждение, что теперь антисемитизм в России стал исчезать, должно заинтересовать и позабавить всякого, кто знает Россию не понаслышке. "Евреи страдают эгоцентризмом, они часто не умеют посмотреть на себя глазами других народов. Поэтому, случается, они искренне считают себя благодетелями этих других народов и весьма удивляются, встречая вдруг в ответ ненависть". Все верно, все верно, кроме того, что это могло бы быть сказано и про любой другой народ и что евреи давно уже не удивляются. А возможность погрешить как народу против другого народа, пожалуй, нам представляется впервые за 3000 лет в Израиле, да и то арабы всячески нам препятствуют, превосходящая наши возможности грешить своим непотребством.

Что по-прежнему удивительно, — это что манера смотреть на себя "глазами других народов" так принята среди интеллигентных евреев, что они даже не сознают моральной сомнительности такой позиции. Например, тот факт, что всю первую половину этого века евреи играли в России роль цивилизованного меньшинства — роль, которую предыдущие два века играли в России немцы, роль, исполнение которой связано со служением существующему порядку и не может быть причиной самоосуждения, потому что по этой роли ни евреи, ни немцы самой этой политики не определяли, а лишь служили — кто за страх, а кто и за совесть, — вызывает у Хейфеца бурный поток покаяния. (Он, например, чувствует вину за то, что его однофамилец, адвокат Хейфец склонил к "чистосердечному раскаянию" в КГБ ленинградского писателя Владимира Марамзина, написавшего предисловие к нынешней книжке Хейфеца. Володя! Восстань и отведи вину от фамилии Хейфец! Неужто ты бы без него не расколослся?! Выскажи миру правду, что тебе стоит!) Кстати, эта роль цивилизатора, никогда в прошлом не вызывавшая у других чувства вины, а, напротив, являвшаяся поводом для гордости культурноодаренных народов, вроде греков в античные времена и германцев в средние века, превратилась в повод для моральной рефлексии только в наше апокалиптическое время, когда все что угодно, может оказаться губительным — автомобильный выхлоп или телеграф, так что морально невинен лишь тот, кто никогда в жизни ничего не создал. Кто из проживавших на территории России за последние 60 лет вовсе не был полезен советской власти? Боюсь, что только Трофим Денисович Лысенко. Он уничтожил советское сельское хозяйство, загубил животноводство и сгноил в тюрьмах советских ученых, которые могли бы прекрасно работать на советскую власть. Так как некоторые из них были евреи, Хейфец бы стыдился родства с такими извергами, а украинцы

могут, конечно, гордиться таким выдающимся геростратом и врагом советской власти, как Трофим Денисович, отомстившим ненавистным москалям и большевикам за все страдания крестьян.

В работе Л. Лурье "Антисемитизм в древнем мире" отмечается, что одной из причин презрительного отношения эллинизированных народов к евреям было их непонятное поведение, продиктованное иной концепцией личности в иудаизме, позволявшей и даже предписывавшей еврею каяться и смирять свою гордость перед другими людьми — в противоположность греческому идеалу героя, готового умереть, но не смириться или признать вину. Это связано с различием в микрокосме, при котором в иудаизме совесть абсолютна, а положение среди людей преходяще, а в эллинизме, напротив, положение в обществе абсолютно, а понятие совести относительно. Таким образом, евреи еще в античные времена обладали сознанием, близким к современному. Напротив, даже современный христианский мир еще в очень сильной степени находится под влиянием эллинской концепции героического поведения, и евреи все еще вызывают презрительное отношение своей готовностью каяться, раскрывать свои душевные раны и извещать мир о своих национальных недостатках. Я в принципе сочувствую М. Хейфецу, А. Суконику и другим авторам, которые готовы обсуждать наши вины, думать о наших грехах и недостатках, но совершенно не могу понять, почему при таком глубоком внимании к нашим еврейским делам эти люди печатаются в Париже! Я безусловно поддерживаю призыв А. Солженицына покаяться. Но нам нужно покаяться прежде всего перед **своим** народом за многолетнее пренебрежение его коренными интересами, за недостаток родственного чувства к **своим**, толкающий на заискивание перед другими, за отсутствие исторического такта, заставляющее вечно совать нос не в свои дела и танцевать на всех свадьбах. (В книге, например, приводится заявление М. Хейфеца о вступлении в Армянскую национальную партию, — глядишь, лет через двадцать придется каяться и перед армянами; до сих пор Бог миловал).

Группе парижских друзей М. Хейфеца, которые всячески хотят подчеркнуть общечеловеческий (т. е., "русский") характер книжки, следовало бы честнее отнестись к ее автору, попытавшемуся все же в робкой форме высказать свой сионизм, и не выбрасывать этих признаний из журнальной публикации ("Эхо", № 1, Париж, 1978) — и честнее отнестись к русским делам и русско-еврейским отношениям, не навязывая эту внутриеврейскую дискуссию русской эмигрантской прессе. В конце концов, они делают то самое, в чем Хейфец кается: "Там, где сидели цари и генералы, теперь сидим там мы..." — здесь это относится не к преуспевающим советским бюрократам, а к новой волне эмиграции. Пусть уж цари и генералы сами обойдутся! Но, быть может, друзья Хейфеца хотели его руками, не пачкая своих, тоже как бы покаяться скопом перед этими самыми царями и генералами, благо их в Париже и Нью-Йорке пруд пруди? А заодно и перед украинцами, литовцами, армянами — и кем там еще, не припомню? Благо Хейфец всю черную работу взял на себя, так что они могут задешево заработать одобрительное: "Осознали? Ну, то-то" — и, чем черт не шутит, согласие забыть, что они тоже — евреи... Вот почему я так настойчиво говорю о бестактности.

Эта книга издана таким образом, что к ощущению бестактности добавляется еще и ощущение трагедии: в предисловии В. Марамзина и вступительном

слове А. Глезера назойливо подчеркивается, что автор — закоренелый враг советской власти и что на днях-де кончается срок его заключения, так что, может быть, советская власть захочет надбавить ему срок в связи с выходом этой книги. Ей-Богу, будучи другом человека и учитывая эту опасность, я бы уж подождал полтора месяца с публикацией, до его выхода из лагеря. Но друзья не остановились и на этом. На последней странице обложки напечатано "Письмо к Председателю Президиума и т. д.", в котором авторы просят выпустить М. Хейфеца за рубеж, помиловать его в связи с состоянием здоровья и проч. Хорошо, вроде? Позаботились ребята о своем товарище, тем более, что он, сидящий в лагере, их — не сидящих и не севших — неявный заказ выполнил искренне и честно, выдал им вроде бы коллективное отпущение грехов за подписью всевозможных патриотов. Но в последнем абзаце "Письма" читаем: "Поверьте, господин Президент, что, если Вы не сочтете возможным прислушаться к нашей разумной просьбе, мы сумеем найти более действенные способы мобилизации мирового общественного мнения, к которым нам не хотелось бы обращаться (почему, собственно? — А. В.) и которые Вам, мы надеемся, были бы также достаточно неприятны". Ай да, молодцы! Как Леньку-то напугали! Если Хейфецу и после такого не дали добавочный срок, значит, силен еврейский Бог...

В начале книги — портрет автора: беззащитно наивное лицо, детские глаза, складка губ, которая бывает у раненого беспомощного человека. Как он мог прожить до 45 лет советским писателем? Но вот и наступил предел. Эти заметки он написал уже в лагере, между голодовками и сидением в карцерах, после тяжелой работы и под страхом обыска. Я вижу его, как живого, и это можно назвать литературным успехом, ибо он сам видел в своих заметках со всеми своими обаятельными недостатками, из которых главный состоит в том, что он человек ...невзрослый. Он по-детски увлечен лагерем, его романтикой, его "окопной правдой", он упивается "жизнью в коллективе", обществом диссидентов, "борьбой за права". Его рассказ пестрит такими выражениями, как "вызывают меня ребята", "прекрасно образованный, безупречно честный, безумно отважный", "он соединяет безумную смелость с мягкостью, отвагу прирожденного борца с застенчивостью девушки, смекалку политика с открытостью души". Это не стилистическая безвкусица, а романтический склад личности, живущей и в лагере "высокой жизнью", которой не хватало ему на воле, среди обыденных житейских обстоятельств.

Человек одаренный, он эту свою особенность отчасти понимает и посвящает свою книжку "ленинградским чекистам Г. Носареву, В. Рябчуку и др., пошедшим на должностные преступления, чтобы организовать мне посещение секретных зон Мордовии", иронией снимая парадокс, состоящий в том, что всю жизнь человек жил около тюрьмы, мыслью о тюрьме, для тюрьмы, и вот — наконец, дорвался, попал, удостоился и живет в ней, как рыба в воде. Чтобы не было у читателя рецензии сомнений — вот цитата: "Отчетливо помню, когда вели на первый в жизни личный обыск, я радостно впитывал каждую деталь, каждую секунду моей новой жизни. Интересно-то как!"

Поразительно, что такой, в сущности, детский тип личности очень часто встречается среди нас. Как это возможно среди старого, умудренного тысячелетиями народа, я не понимаю, но при обсуждении любых еврейских проблем, грехов и подвигов эту детскость, это неуверенное отношение к жизни,

эту неокончателность нашего облика необходимо помнить и учитывать. Мы все еще в переходном возрасте...

*А. Воронель*

## ГРАФОМАНИЯ ОТЧАЯНИЯ

"На площади Космонавтов при въезде на проспект Марксизма-Ленинизма воздвигли стационарный лозунг: "Да здравствует коммунизм — светлое будущее всего человечества!" Лозунг построили по просьбе трудящихся..."

Спросим себя: кто автор произведения, начинающегося столь многообещающе? Ответ может быть только один — Александр Зиновьев, один из самых недавних наших литературных знакомцев. Знакомство было все редкость счастливое. Успех книги "Зияющие высоты" проложил дорогу к изданию новой его книги "Светлое будущее" и обеспечил внимание критики и читателей к ней.

Между тем новая книга и похожа и непохожа на первую. Только частично она связана с "Высотами" стилевым и жанровым сходством и тем качеством, которое есть качество не собственно литературное, но бывает чрезвычайно привлекательно и в литературе — безоглядной, расшибающей все вокруг смелостью. Степень риска, на которую решился автор, ошеломительна. В его книгах отброшены последние фиговые листки застенчивой как-бы-лояльности по отношению к советской жизни, являющейся предметом изображения и материалом исследования. Исследование же ведется путем прямого издевательства, не знающего из себя никаких исключений. Выясняется, что искажений при этом не происходит, что издевательский способ отражения дает самые точные проекции. В фантастических книгах Зиновьева смелость, — может быть, самое фантастическое качество. Она, несомненно, порождена отчаянием, тягой к разрыву любой ценой, желанием изъять самого себя из жизни, протекающей в столь недостойных, непоправимо порочных формах. По-видимому, именно смелость решительной защиты автора от судебной расправы. Совершенно невозможно представить себе самое наглухо закрытое судебное заседание, где хотя бы двум народным заседателям пришлось выслушивать и обсуждать в качестве вещественных доказательств зиновьевские тексты. По недавним сообщениям, Зиновьев получил разрешение на выезд из СССР, и мудрость этого решения не может не радовать: в столь хорошо изученной им действительности исследователю и в самом деле нечего больше делать.

В нашем сознании Зиновьев занял с собою, четко очерченное место. Кажется, что именно его и не хватало новейшей русской литературе, что место это давно уже было готово и ожидало его — место сатирического публициста, автора социальных трактатов и носителя памфлетного ядовитого стиля. В литературный ряд Зиновьев ввалился с методом, знаниями и способами разработки темы, полученными в другом месте — в области его профессиональных занятий наукой.

Ал. Зиновьев. Светлое будущее. L'Age d'Homme, Lausanne, 1978.

Первая его книга не могла не казаться чрезмерной по обилию стилей, захвату разных житейских пластов, да и просто по объему. Авторские аппетиты явно превосходили его возможности художественно усвоить и освоить проглоченные куски действительности. Читательское восхищение и благодарность да и специфическое положение автора мешали рядом с перечнем одержанных им литературных побед представить и список частичных неудач. Казалось, что сверх меры разбухшая книга очевидно вызывает необходимость сокращений, но и на чрезвычайную слабость всех стихотворных текстов, которые не могут быть приняты всерьез ни с какими поправками на их пародийную, сатирически-сниженную природу. Обнаруживались границы его дарования — контурное письмо, сатирическое моделирование, обнаженное умствование — то есть, собственно, границы памфлета и трактата. Любому писателю полезно знать свои жанровые рубежи: либо он останется в их пределах, либо сознательно раздвинет их. Зиновьев во второй книге "Светлое будущее" с присущей ему решительностью и смелостью попросту ими пренебрег. Но на этот раз смелость нового города не взяла, и вторая книга сильно проигрывает рядом с первой.

Не так давно газета "Русская мысль" опубликовала интервью с Зиновьевым, в котором он сделал замечательное признание: оказывается, книга "Зияющие высоты" была написана очень быстро, просто в несколько месяцев, но, перечитав ее, автор практически не нашел ничего, что он мог бы хотеть поменять или исправить. Такое признание обнаруживает недостаточную степень профессионализма автора. С другой стороны, оно свидетельствует об убежденной вере в возможности своего искушенного научными задачами мозга решать любые, в том числе специфически художественные, проблемы: ведь не боги, в самом деле, горшки обжигают! И вправду — горшки обжигают не боги, их обжигают горшечники, и это предполагает знание ремесла и владение некоей технологией. Когда же небожитель-философ отбрасывает эту технологию как ненужную и несуществующую, не желает даже задуматься, какая форма удастся ему больше, какие особенности его дара принесли ему успех в первом случае, — тогда отчаянная и дерзостная вторая книга обращается в произведение, отмеченное чертами графомании, потому что графомания есть способность к писанию без способности с писанием справиться.

Родство второй книги Зиновьева с первой наличествует: оно явлено элементами памфлета и фрагментами трактатов, наличием многочисленных обсуждений, в которых герои добывают знание о мире, где протекает их жизнь. Эти рассуждения Димы, Безымянного, куски из книги Антона выглядят цитатами или ближайшим развитием похожих отрывков из предыдущей книги. Как сатира и памфлет, вторая книга безнадежно ослаблена по сравнению с первой, потому что никакое новое знание в ней не добывается. Но и трактат и памфлет сразу сдвинуты автором в глубь повест-



вованая, оттеснены на задний план — и потому обессилены — ради заурядного сюжетного развития, ставящего эту книгу в ряд и разряд производственных роман-газетных повестей, на сей раз из жизни советских философов-марксистов.

Сюжет легко доступен пересказу. Герой — повествователь, либерал-конформист, поднявшийся на высокие ступени успеха в служении марксистской идеологии, но ощущающий по временам некое неудобство от расхождения его житейских новыков с идеологически оформленной картиной советского общества, предстающей в его писаниях. В его домашнем быту обозначены разлад с женой, младенчески-незамутненный цинизм сына и дочери, изначально не верящих тому, чему услужает их родитель, но привычно следующих правилам игры, хотя и с многими желаниями их когда-нибудь сбросить. Набросаны приятельские связи, институтское окружение, перипетии закулисной интриги. Главному герою выделена роль искреннего приятеля и послушного доносчика при Антоне Зимине, персонаже наиболее близком к автору своими взглядами на действующую идеологию и ее власть в советском обществе. Трактат Зимина прочитан другом-рассказчиком в КГБ и по заданию этой организации. Его дальнейшая роль — не допустить или хотя бы оттянуть появление этой книги на Западе. Эта роль, похоже что не скрытая от самого Зимина, не мешает развитию их бесед и дружеских отношений. Сюжет включает поездку героя на заграничный конгресс, описание провала его избрания в Академию, тяжелую болезнь и завершающий удар — самоубийство дочери, которой становится ясна служебная доносительская роль отца при Антоне.

Воплощение такого развитого сюжета требовало от автора умений в создании литературного иллюзиона, которыми он не располагает. Зиновьев не видит лиц, не чувствует психологических мотивировок поведения. Возможно, он полагает, что их просто нет, или намеренно вытесняет все психологическое социально обозначенным. У его героев нет походки, повадки, гонора. Их контуры ничем не заполнены. Наметив сюжет, требующий трехмерного пространства, автор выпустил на объемную коробочку литературной сцены плоские фигуры театра теней — контурные абрисы в духе своей предыдущей книги. Они отлично жили бы в пространстве трактата и памфлета — но они увядают, снижают, бессильно оползают в рамках нечаянно пародийного реалистического повествования.

Вообще говоря, Зиновьева подвел не только не до конца осмысленный успех его первого произведения, но и особенности русской общественной традиции, по которой каждая яркая мысль для того, чтобы быть услышанной, должна облечься романной плотью. Молчаливо предполагается, что Россия ничего, кроме романов не читает, что плохой роман доступнее и массово значительнее глубокого философского трактата. Облекая свои мысли об обществе, двигательной пружиной которого стала борьба за социальные привилегии, в одежде заурядного фабульного повествования, писатель в то же время не удержался выразить недоверие тем самым литературным формам, которым он поручил развитие любимых идей. В "Светлом будущем" есть особая глава "О литературе". В ней обсуждается не названное произведение писателя Тикшина, в котором без труда можно узнать повесть Юрия Трифонова "Дом ча набережной". Тут Антон, несо-

мненный носитель авторских пониманий, отказывает советской жизни в праве быть частным случаем жизни вообще, с проблемами, не сводимыми к проблемам чисто социальным, более коренным, чем проблемы просто советские. Адрес для этих нападков выбран очень точно. Трифионов — именно тот писатель, который умеет в homo soveticus обнаружить человека просто, и увидеть в его “советских проблемах” старые человеческие болезни отчаяния, отъединенности от себе подобных, древнее наследие греха и неизбывную муку борьбы с самим собой. Антон же и советскому человеку, и советской жизни отказывает в сложности и доступности психологическому анализу средствами глубокой литературы: “В нашей жизни все прозрачно, как в казарме или в конторе... Надо описать общий механизм дела — это и будет правда. А описывать жизнь муравейника или скопища мышей через психологию отдельного муравья или мыши...” Здесь в многоточии кроется безнадежный жест — взмах руки, отрицающий самую возможность такого постижения жизни. Неожиданно за этим жестом нам открывается знакомая тоска по литературе типов, по “типическим характерам в типических обстоятельствах”, по литературе — “учебнику жизни”. Возможно, здесь и ответ на вопрос, почему вдруг сам Зиновьев вышел к нам в романном облике.

Возможно, что следующие наши встречи с Зиновьевым, уже перешагнувшим не только черту “социалистической законности”, но и советской государственной границы, произойдут в более органических его дарованию формах. Возможно, он не будет более нуждаться в посредничестве персонажей, чтобы появиться перед читателем с книгой трактатов о советской идеологии и сборником памфлетов о советской жизни. Плохих романистов и без него достаточно, а сатирик он у нас пока один.

*Н. Рубинштейн*

## БЕСПАМЯТСТВО...

Есть тяжкое заболевание —  
потеря памяти...

*Сб. “Память”*

“... излюбленный прием — посадить группу на травке под стенами храма в Кидекше — первого русского белокаменного храма — и рассказывать о грузном, кособрюхом, сластолюбивом и жадном князе Юрии Долгоруком. А то еще — на пригорке напротив храма Покрова на Нерли, да закатить на полчаса лекцию о том, как Андрей Боголюбский соревновался — не с Киевом, не с Византией даже, а с Иерусалимом. Как продуманно строил новую религию, общество, государство.

Слушали, раскрыв рты. Все равно кто — работяги или так называемая столичная интеллигенция, слушали всегда одинаково — словно о совершенно незнакомом.

“Память”, исторический сборник, вып. 1, Москва—Нью-Йорк, 1978.

Так и пошло. Едешь с группой в Москву — про Петра им, про смысл петровских реформ; в Загорск — о Сергии Радонежском, о монастырях на Руси, о нестяжателях и иосифлянах; в Александров — об Иване, его поминальном списке и загадках опричнины. А уж если по Золотому кольцу — всю историю России переберешь, все споры, все догадки, от древности и до наших дней.

И всегда одно и то же: слушают, как о совершенно незнакомом.

А в последний раз меня это даже испугало. В Тутаеве, в храме, стал объяснять спутнику своему, тоже еврею, сюжеты и композицию росписей, да так увлекся, что не заметил — целой группой оброс, пока говорил. Все сплошь люди в годах. Стоят, слушают, разинув рты. Потом одна старушка, помолчав, сказала: “Благослови тебя Господи, милоч. Уж так ты рассказы-ваешь — никто из нынешних этого не знает...” И перекрестила меня”. (Из воспоминаний экскурсовода.)

\* \* \*

И по этим дням,  
как и я,  
Вся страна сидит  
в кабаках,  
И нашей памятью  
в те края  
Облака плывут,  
облака.

*А. Галич*

“Никто из нынешних не знает...”. Словно беспамятство поразило Россию, поразило целый народ — ничего не хранят, ничего не помнят. Прошлое страны виднеется, как сквозь туман: какие-то князья, какие-то бояре, кто раньше жил — Петр Первый или Иван Грозный? — обрывки школьной истории, обрывки прочитанного. Культура? — кто знает, как сложить русскую печь, построить избу, выкопать колодец? В Ростове Великом умирает (если не умер уже) последний звонарь, в Суздаль не могли найти человека, чтобы запустить музейную ветряную мельницу. На сцене Кремлевского дворца съездов лихо пляшут заново выдуманные “народные пляски” и распевают сочиненные столичными евреями “русские народные песни”. Религия? Лосский утверждает на первой же странице своего “Характера русского народа”, что основная черта этого народа — религиозность. Я смею в этом сильно сомневаться. Видел, видел и я толпы вокруг Успенского собора во Владимире на Пасху, — да только **верующих** было там раз-два и обчелся. Солженицын (и вслед за ним) по традиции, пошедшей, наверное, еще от славянофилов, возлагает надежды на народ — он-де “хранит”. Что хранит? Кто? Честное слово, порой кажется, что все эти милые и несомненно болеющие за Россию люди живут где-то в XIX веке: “великий, терпеливый, молчаливый народ”, “дворянство”, “интеллигенция”... Всего треть России еще живет сегодня в “деревне”. да и та наполовину — старики и старухи. “Народ” сегодня — в учреждениях и на заводах, а что он говорит — об этом можно узнать в винном отделе любого магазина часу в пятом вечера, когда “народ” идет со смены.

\* \* \*

Кто владеет прошлым,  
тот владеет будущим.

*Дж. Орвелл*

Беспамятство с тупым упорством из века в век поражает Россию. Сколько раз обрывались нити ее исторической памяти — не перечтешь. С монголами, с Иваном 1У, с Петром, с большевиками. Но прежде хоть всякий раз какая-то нить оставалась — оставался “народ”, оставалась религия. Помнили, что “хрестьяне”, что воюют с басурманами, с неверными, с нехристями. 17-й год оборвал и эти нити. Ничего не помнят. Не помнят себя. Думая о том, прочна ли советская власть, нельзя забывать этого всенародного беспамятства. Рубрика в газетах так и называется: “С экскурсией по родной стране”. По своей стране — экскурсанты. В своей истории, культуре, религии — чужие. Что помнят? Что “хранят”? “Капиталисты — эксплуататоры”, “сионисты — империалисты”, “вся история человечества есть история классовой борьбы”, “шестая часть мира”, “жиды во всем виноваты”, “при Сталине хоть порядок был”, “пили, пьем и пить будем”, “чучмек косоглазый”, “хрена мы китайцам Сибирь отдадим”, “так этому Дубчеку и нужно”, “мы всех кормим...”.

С таким идейным запасом неудивительно, что и Рой Медведев в теоретиках ходит. Нет, советская власть прочна! Уж во всяком случае прочнее “религиозности” русского народа...

\* \* \*

Это было  
при нас,  
это с нами вошло  
в поговорку...

*Б. Пастернак*

Сборник “Память” насчитывает 600 страниц убористого текста. На них уместилось 19 статей разного размера — от длинных воспоминаний о лагерях и процессах до небольших заметок. Читаешь, как примечания к собственной биографии. Вот Револют Пименов язвительно комментирует воспоминания Авраама Шифрина (“Четвертое измерение”), — Шифрин живет рядом со мной, в Зихрон-Якове. Из того же Пименова: “Меклер, бесспорно, выдающийся ученый, хотя и сноб... Моя тогдашняя жена Ирина Вербловская влюбилась в Меклера”. Зачем мне эти детали из семейной жизни Революта Пименова? Или они тоже составляют, как утверждает во вступлении редакция, те факты, которые “никто не вправе закрыть, утаить от “непосвященных”? Меклер тоже живет рядом со мной, недавно я его провожал на “шабатон”. Н. Песков, рассказывая о “деле Ронкина-Хахаева”, мельком упоминает: “Той же зимой (1965 год. — Р. Б.) КГБ напал на следеще одной группы (Гладковский и др.)”. Я до сих пор ношу часы, подаренные мне при отъезде Гладковским — замечательный, интереснейший человек...

За многое “Памяти” спасибо — и прежде всего за самого себя. Лучше начинаешь видеть, в какое время жил, что с тобой на самом деле было.

\* \* \*

Правду, только правду!

*Вопль души*

“Память” создана в России, издана на Западе. Она провозглашает своей задачей восстановить историческую правду, связь с прошлым. На первых порах она ограничивается только правдой политической, оно и понятно — эта правда самая “закрытая”. Многие воспоминания (Шапиро об аресте русских эмигрантов в Харбине, Ясевич — о том, как сидели в 20-х, Шульмана — о трудностях “реабилитации” бывшего директора Краснознаменного ансамбля) добавляют мало нового к обширной лагерной литературе. Есть в сборнике потрясающие материалы (для меня во всяком случае): “Этап во время войны”, “Дело “Колокола”, “Девочка в матроске”, “Имена и судьбы”... Интересны многие документы, письма, новообетенные факты. Раздражает натужным “острачьеством” “Судьба “нищих сибаритов””: дела там, насколько можно понять, на копейку, а остриет автор 37 страниц, да еще с продолжением. Но это мелочи. В целом все проглатывается с интересом.

\* \* \*

История повторяется  
дважды: один раз как  
трагедия, другой раз —  
как фарс.

*К. Маркс*

Как всегда, вопросы приходят потом. Что означает появление “Памяти”? Почему именно сейчас? Где ее место в “контексте”?

Вот уже второе десятилетие в России самовольно строится “государство в государстве” — вольная печать, искусство, даже пресса” (“Хроника текущих событий”). Сейчас к этому добавился еще один штрих — вольный архив, претендующий заменить десятки научных институтов по “восстановлению прошлого”. Количественный размах всего этого ничтожен, но сам факт существования значителен. Я не думаю, что “вольнице” суждено пережить “государственность” или стать зародышем того, что ее сменил. Но даже на тонущем корабле кто-то должен стоять на мостике. Русская интеллигенция в очередной раз вызвалась быть этим “кем-то” — служить народу, который, как всегда, ее “не хочет”, быть хранительницей его чести, свободы и памяти. Чувствуется то же самое отчаяние, которое повело семерых человек — из 250-миллионного “народа”! — на Красную площадь: протестовать против вторжения в Чехословакию.

Во мне говорит не пессимист. Почему из всех видов деятельности русская “воля” занялась сейчас именно изданием “Памяти”? Потому что “Память”, как она задумана и осуществлена, — это именно архив, склад сырья, пестрый сборник фактов, воспоминаний, документов — “всего”. Огромная работа по добыванию, огромный риск, огромное значение — все верно. Нет одного — осмысления. Осмысление предоставлено другим. Кому? Грядущим поколениям?

Самиздат начинался с воспоминаний: Гинзбург, Олицкая, Солженицын, Гладков, Мандельштам... Потом он поднялся до обобщения, до мысли (в худшем случае — до эпических обзоров: Медведев, Солженицын). Быстро вырос до “государства в государстве” — со своими учеными, юристами, политиками, художниками, музыкантами, журналистами, жуликами и стукачами. Все было, — кроме, разве что, “народа”. Кажется, впервые в истории промелькнуло перед нами на миг государство “чистой интеллигенции”. И — сошло на нет. Кого посадили, кого запугали, кто продал, кто предал, остальные уехали на Запад. Остался один Сахаров, ну, еще, пожалуй, с десяток “активистов”. Но это уже не “государство в государстве”, это уже — люди против власти. Вдруг обнажилось, что слой был безумно тонок, беден, скуден.

Самиздат сошел на нет — в беллетристике, в заумном “философствовании”, во взаимных дрязгах: кто герой, кто стукач? Вместо воспоминаний Надежды Мандельштам — воспоминания Довлатова: чужие остроты и тайны собственных друзей. Протоптали, накатали дорожку: диссидент, Самиздат, скандал, Европа! А там “третья волна” вдруг обнаружила скудость духа и мысли, изолированность свою даже от того “народа”, который еще есть. А тем, кто еще остался в России, почти всех лишившейся, — уже не до обобщений, не до программ, не до культуры, не до терпеливого строительства **жизни**, к которому когда-то призывали “Вехи”. К ним, как к одинокому путнику в глухом лесу, уже подбирается бездонная, вязкая трясина — беспамятство... И никого вокруг. Только лес шумит. Тогда хватаются за “Память”.

*Р. Блехман*

\* \* \*

Три рецензии в библиографическом разделе посвящены книгам, написанным за железным занавесом. Мы отдаем должное Хейфецу, Зиновьеву, авторам сборника “Память”. Мы преклоняемся перед пафосом их риска, гражданской и человеческой смелостью, стремлением к правде, заставившем их — в российских условиях — написать и издать свои беспредельно смелые книги. В этом стремлении к правде мы — с ними. Но именно уважение составляет и нас, в свою очередь, говорить с ними так, как они того хотят и заслуживают — как с авторами, а не как с героями или, того хуже, с покойниками, о которых “либо хорошо, либо ничего”.

TWENTY TWO

("Moscow -Jerusalem")

Journal of Jewish intelligentsia from USSR in Israel

N 3 ("Gimel")

August 1978

CONTENT

EDITOR'S NOTE . . . . .	2
PROSE-POETRY:	
Vladimir Gusarov. A Letter To A Friend. . . . .	3
Yuri Miloslavsky. Gather Yourself And Go! (a novel) . . . . .	13
Michael Gendelev. Poetry . . . . .	75
DOCUMENTARY PROSE:	
Aharon Amir. The Sword And The Violin (part II). . . . .	82
Vladimir Markman. On The Edge Of The Geography (a novel) . . . . .	104
ISRAEL TODAY:	
Dan Segre. "Pre-Rissorgimento" And "Past-Rissorgimento" Zionism . . . . .	135
RUSSIA AND JEWRY:	
Soviet Antisemitism - The Reasons And Prognosis. . . . .	143
NATIONAL MOVEMENT AND THE WORLD:	
Leonid Plushch. Ukrainians-Russians-Jews . . . . .	183
THE FATE OF IDEAS:	
Naftali Prat. Once More On "Russian Idea" (an answer to A. Yanov) . . . . .	197
THE PAST - TO THE PRESENT:	
Artur Koestler. Seven Deadly Sins . . . . .	210
CONTEMPORARIES FROM YESTERDAY:	
Natalya Rubinstein. The Lesson of Margolin . . . . .	215
ART AND REALITY:	
Galina Kellerman. Exist There The National Art In Israel? . . . . .	239
AMONG THE BOOKS:	
(on books by M. Heifetz, A. Zinoviev and collection of essays "Memory") . . . . .	242

PUBLICATION

Of Public Cultural Foundation "Moscow-Jerusalem" Under The  
Sponsorship Of The Committee Of Israel Scientists.  
"22", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

© All Rights Reserved

1978

**ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ  
октябрь 1978) :**

- В. Алексеев.** Смерть на заводе. — Из повестей ленинградского Самиздата.
- А. Апельфельд.** Хожение в Качинск. — Рассказы одного из ведущих израильских прозаиков впервые знакомят русскоязычного читателя с творчеством этого тонкого психолога и стилиста.
- В. Маркман.** На краю географии. — Окончание повести, правдиво и без дешевой "блатной романтики" рассказывающей о "расчеловечивании" человека в советских лагерях.
- Религия в современном мире.** — Статьи И. Орена (Наделя), М. Огурского, новые главы из полемической книги Г. Галкина и др.
- С. Кьеркегор.** Страх и трепет. — Впервые на русском языке одно из главных философских эссе основоположника современного экзистенциализма, блестяще формулирующее "парадокс веры".
- И. Якерсон.** Художник об искусстве. — Рассказ о путях развития мирового искусства, сравнительный анализ его исторически повторяющихся фаз — натурализма, реализма и модернизма, раздумья о его перспективах.

Статьи, стихи, очерки, эссе, рецензии и другие материалы — 256 страниц.

**ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ  
"ДВАДЦАТЬ ДВА" ("Москва-Иерусалим")**

Журнал выходит раз в два месяца. Подписка принимается с любого номера на 3 и 6 номеров вперед. Цена подписки в Израиле: на 3 номера — 120 лир, на 6 номеров — 200 лир (можно в два чека). В цену подписки включен налог и пересылка. Цена подписки за границей (с пересылкой): на 3 номера — 10 долларов, на 6 номеров — 18 долларов; цена номера в розничной продаже — 5 долларов. (Желающие могут приобрести также вышедшие ранее №№ 1 и 2 по цене 30 изр. лир — или 2 доллара — за каждый номер).

**ОТРЕЗНОЙ КУПОН**

Фамилия . . . . . Прошу подписать меня на журнал  
Имя . . . . . "Двадцать два" на ---- номеров,  
Улица, дом . . . . . начиная с № ---- (а также выслать  
Город . . . . . мне ранее вышедшие номера ----  
Страна . . . . . Чек на сумму -----  
номер----- банка -----  
Подпись . . . . . прилагаю.



ИЗДАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДА  
"МОСКВА – ИЕРУСАЛИМ" ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ  
ИЗРАИЛЬСКОГО КОМИТЕТА УЧЕНЫХ ПРИ  
ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ СОЛИДАРНОСТИ С ЕВРЕЯМИ  
СССР

редакционная коллегия:

В. Богуславский, А. Воронель, И. Гольденберг, Р. Нудельман  
(гл. редактор), Н. Рубинштейн, Я. Цигельман (отв. секретарь)

ответственный за выпуск:

Э. Сотникова  
корректор:  
С. Бар-Ор  
оформление:  
В. Богуславский

Адрес редакции: п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль

Все права на опубликованные в журнале материалы сохраняются за фондом "Москва–Иерусалим" за исключением специально оговоренных случаев.

типография "Графопринт" Тель-Авив

МОСКВА – ИЕРУСАЛИМ

1978



*Моше Кастель и его работа "Золотая книга"  
в Президентском дворце в Иерусалиме.*